

Annotation

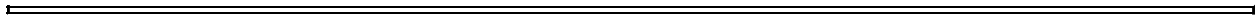
Историк С. В. Волков, составитель, научный редактор, автор предисловия и комментариев к книгам серии «Белое движение» — самого капитального издания такого рода, в котором собрано большое количество воспоминаний, в том числе публиковавшихся в малотиражных эмигрантских изданиях и практически неизвестных в России.

Статьи написаны в период 1995–2006 годов.

- [Сергей Волков](#)
 - [Пришла ли к власти в России новая элита?](#)
 - [Традиционная государственность и тоталитаризм](#)
 - [Социальный статус интеллектуального слоя в XXI веке:](#)
 - [Исторический опыт Российской империи](#)
 - [Русское освободительное движение на весах истории](#)
 - [Советский хам о российском дворянстве](#)
 - [Российское служилое сословие и его конец](#)
 - [Необходимый шаг](#)
 - [К вопросу](#)
 - [«Внуки Суворова, дети Чапаева»](#)
 - [Соблазн изоляционизма](#)
 - [Вторая мировая война и русская эмиграция](#)
 - [К вопросу](#)
 - [В каком государстве мы живем](#)
 - [Белое движение на современном этапе](#)
 - [На одну доску](#)
 - [Неуместная полемика](#)
 - [Белое Движение и Императорский Дом](#)
 - [Россия не виновата](#)
 - [«Цивилизованный патриотизм»](#)
 - [Российское монархическое движение:](#)
 - [Кому мы наследуем](#)
 - [О характере современной политической элиты](#)
 - [Белое движение и современность](#)
 - [Монархизм и монархисты в РФ](#)
 - [Тупик «антиевропеизма»](#)
 - [Забытая война](#)

- [Украина и Белое движение](#)
- [Россия и США](#)
- [Мародерство на марше](#)
- [К вопросу о «европейских ценностях»](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)



Сергей Волков

•

Статьи

Пришла ли к власти в России новая элита?

В связи с событиями, происходящими на протяжении последних пяти лет в России, которые обычно трактуются как революционные по своему характеру и значению, часто говорят и о появлении новой элиты общества (что выглядит в этом случае вполне логично). Действительно, революционный характер перемен предполагает обычно и новых действующих лиц — не только в персональном плане, но и как массовое явление — в масштабах замены целого социального слоя. И наоборот — по тому, имело ли место это явление, можно судить, насколько на самом деле радикальны и значительны были перемены, действительно ли имела место революция. Поэтому попробуем взглянуть на нынешнюю ситуацию в контексте общеисторических закономерностей, посмотреть, чему в мировой истории она приблизительно соответствует, что такое вообще смена элит, как и при каких обстоятельствах она может происходить.

Прежде всего следует уточнить, что имеется в данном случае в виду под термином «элита», поскольку этим словом, как нетрудно заметить, пользуются весьма произвольно. Речь идет о высшем для данного общества социальном слое, в целом передающем свое положение по наследству (хотя практически всегда он открыт для новых членов) и воспитанном в определенных понятиях и культурно-исторических традициях. Этот слой может включать ряд социальных групп, выделяющихся по принципу причастности к государственному управлению, уровню образования и благосостояния (в традиционных обществах эти стороны обычно бывают нераздельно связаны), но, так или иначе, качественно отличающихся хотя бы по одному из этих показателей от основной массы населения и занимающих положение выше нее. Вследствие этого доля элитных слоев в обществе более или менее константна и, как правило, не превышает 10 %, а чаще составляет еще меньшую величину — 2–3 %. Это обстоятельство обусловлено как биологически, так и тем, что доля материальных благ, перераспределяемых для обеспечения их существования, также не беспредельна.

Существование и положение элиты в каждом конкретном обществе объективно. Рассуждать о том, что она «плоха» или «хороша» можно только, сравнивая ее с другими странами или другими периодами истории той же страны. Но в данном обществе ничего «лучше» нее в принципе быть не может, потому она и является в нем элитой. Можно, например, быть

сколь угодно скверного мнения о французском духовенстве XVIII в., но это не отменяет того бесспорного факта, что никакого другого социального слоя, способного с большим успехом выполнять ее функции во Франции того времени не было, можно говорить, что австрийские офицеры конца XIX в. никуда не годились, но на их место некого было бы поставить, можно констатировать, что советская номенклатура брежневских времен чудовищна, но никакого другого слоя, лучше нее пригодного для управления страной тогда не было, можно признать, что советская интеллигенция малообразованна и невежественна, но ни один другой слой в стране более высоким уровнем образования не обладал, и т. д.

Важно подчеркнуть, что элита — это не несколько сот или даже тысяч человек высшего персонала. Это слой (из среды которого и комплектуется высший персонал), и чтобы быть социальным слоем, она должна насчитывать по крайней мере десятки тысяч людей. О качестве элиты, кстати сказать, можно судить только по среднему уровню всего слоя. Наиболее же высокопоставленные ее представители как раз не показательны в этом смысле, потому что на их положении сказываются факторы чисто личностные и, значит, неизбежно пристрастные: если при вхождении в состав элиты действуют достаточно формальные и объективные факторы (объективный уровень знаний, способности к выполнению определенных функций и т. д.), то на высших ступенях, когда выдвижение идет строго индивидуально, оно зависит от воли одного (монарх) или нескольких лиц, а, стало быть, преобладают случайные симпатии, приобретает значение умение угодить и т. д. Вот почему, например, о качестве военного компонента элиты (офицерского корпуса) следует судить не по генералитету, а по уровню полковых и батальонных командиров: дальше начинается индивидуальный отбор с широким полем для субъективных предпочтений, в ходе коего выдвигаются если не худшие, то и далеко не все лучшие. Так, скажем, средний уровень научной компетенции советских академиков (многие, если не большинство которых с 30-х годов обязаны своим положением не столько научным заслугам, сколько должностному положению и близости к партийному руководству) ниже среднего уровня следующего за ним слоя ученых.

Но если высший слой не является показательным для оценки качества элиты, то он весьма показателен для определения характера самой элиты — принадлежности к тому или иному историко-культурному типу, потому что если личные качества его могут не совпадать со средним уровнем основной массы, то по социально-психологическим характеристикам он представляет ее слепок. Не бывает так, чтобы элита в целом имела одни характеристики,

а ее высший слой — настолько иные, что представлял бы совсем другую элиту. На самый верх попадают если и не самые лучшие из этого слоя, то, тем не менее, его типичные представители.

Кроме того, разница между поколениями одной и той же по культурно-исторической принадлежности элиты — создавшим данный режим и выдвинувшимся в условиях устоявшегося режима, бывает в целом гораздо более велика, чем между элитой наследственной и элитой «первого поколения» в рамках одной государственности. Люди, добившиеся своего положения в борьбе со старой элитой, по всем своим качествам не те, что выдвинулись в ходе конкуренции себе подобными или даже вовсе без нее (как например, произошло в СССР после массовых чисток 30-х годов).

В смене элиты могут, в принципе, сыграть роль явления самого разного порядка: смена политического режима (династии), катаклизмы, грозящие физическим уничтожением элиты (война, мор, внутренний террор, взаимоистребление), радикальные реформы, приводящие к наступлению новой культурно-идеологической эпохи, наконец, такой характер персональной замены состава элиты, который качественно меняет ее облик.

Следует сразу же оговориться, что обычное пополнение элиты (приход новых людей в ее состав) не имеет ничего общего с тем явлением, о котором идет речь — «сменой элиты». Такое пополнение — вещь совершенно рутинная не только тогда, когда дети замещают своих родителей, но и когда в этот слой вливаются люди, по рождению к нему не принадлежавшие. Селекция элитного слоя обычно сочетает принцип самовоспроизводства и постоянный приток новых членов по принципу личных заслуг и дарований, хотя в разных обществах тот или иной принцип может преобладать в зависимости от идеологических установок. При этом важным показателем качества и устойчивости этого слоя является его способность полностью абсорбировать своих новых сочленов уже в первом поколении. Принимая этих людей и формируя их по своему образу и подобию, элита остается той же самой. «Смена» же элиты таким путем — в результате изменения состава, происходит только тогда, когда обновление персонального состава сопровождается сменой всего ее облика. А это происходит в том случае, если она (при засорении ее рядов слишком большим числом лиц, не отвечающих по своему уровню задаче поддержания культурной традиции), оказывается не способной «переварить» такое пополнение, и в результате не она их, а они сами преобразуют элиту по своему образу и подобию.

Для того, чтобы сложилась новая элита, необходим период времени

жизни хотя бы одного поколения. То есть о сложившейся элите можно говорить только тогда, когда люди, ставшие ею даже внезапно (например, в результате переворота или завоевания), не только станут ею, но и останутся в этом качестве на протяжении жизни своего поколения — так, что имеют хотя бы теоретическую возможность передать свое положение детям. Кроме того период менее четверти века слишком мал, чтобы новый слой мог консолидироваться и обрести общие черты. И вообще элита обычно меняется не в одночасье (разве только при иноземном завоевании с истреблением местной и заменой ее на завоевателей), а постепенно — как раз примерно в течение жизни одного поколения. Причем как правило, в составе новой элиты всегда остается и какая-то часть прежней, но такая, которая не может уже существенно влиять (тем более определять) на ее характер и основные черты. О смене элиты можно, видимо, говорить тогда, когда не менее 50–60 % ее составляют люди совершенно другого происхождения и других социальных характеристик.

Действительная смена элиты в истории государства происходит нечасто, и, как правило, означает смену культурно-исторической эпохи. Всякая конкретная государственность, цивилизация есть творение конкретной элиты, определенного слоя людей, связанных общими культурными, политическими и идеологическими представлениями и обладающих характерными чертами и понятиями. Сходит слой людей, воспитанных определенным образом и в определенных понятиях, — сходит и связанная с ним культура, форма государственности. При этом не имеется в виду смена политического режима в стране (династии, правительства), а именно культурно-историческая эпоха, которая шире чем режим и может включать период правления двух-трех династий и множества правительств, иногда же культурно-исторические эпохи могут смениться в течение правления одной династии (в России, например, три отличных эпохи — «киевская», «московская» и «петербургская» прошли в рамках правления фактически двух династий — Рюриковичей и Романовых).

Любая страна, имеющая непрерывную хотя бы тысячелетнюю государственную традицию, прошла в своем развитии несколько крупных культурно-исторических эпох, иногда отделенных друг от друга периодами смут. Для Англии, скажем, таковыми были после нормандского завоевания (и до перехода к «настоящей демократии» в середине нашего столетия) — эпоха нормандской династии и Плантагенетов, монархия Тюдоров-Стюартов, правление Виндзорской династии. Для Франции — период правления старшей линии Капетингов и Валуа (до конца XVI в.), монархия Бурбонов, период квазимонархических режимов (1804–1870 гг.), для

России — «киевский», «московский» и «петербургский» периоды. При смене режима (конкретного правления) элита может не меняться (хотя обычно тесно связана с ним), и наоборот — смена элиты может произойти в рамках одного режима, но при совпадении этих факторов смена бывает особенно радикальна.

В целом можно выделить три вида смены элиты. В первом случае такая смена происходит в рамках одной культурно-исторической эпохи и вызвана чрезвычайно большой физической убылью старой элиты. Именно такие последствия имели, в частности, Столетняя война во Франции и Смуты начала XVII века в России. И в том, и в другом случае высшее сословие общества — дворянство понесло столь тяжелые потери, что пресеклось абсолютное большинство имевшихся к тому времени дворянских родов, место которых заняли совершенно новые. В результате во Франции к 1500 г. по данным некоторых местностей родовитые дворяне (такowymi тогда считались насчитывающие более четырех поколений дворянских предков, или 100 лет дворянства) составляли лишь 20 % всех сеньеров. В России также подавляющее большинство дворянских родов, официально считавшихся «древними» (вносившихся в 6-ю часть родословных книг), вели свое происхождение от лиц, испомещенных в XVII в. после Смуты.

Во втором случае смена происходит в связи с наступлением новой культурно-исторической эпохи (и обычно связана со сменой режима) и также сопровождается значительной физической убылью или почти полным истреблением старой элиты — таковы в нормандское завоевание Англии, монгольское нашествие на Русь, войны Алой и Белой розы в Англии (когда за 30 три десятилетия 1455–1485 гг. погибла в междоусобицах почти вся старая знать), французская (конца XVIII в.) и русская революции. В ходе французской революции физическая убыль дворянства была относительно не так значительна (за 1789–1799 гг. от репрессий погибло 3 % всех дворян, эмигрировало два-три десятка тысяч человек), но в составе элиты следующей эпохи (даже в период реставрации 1815–1830 гг.) они составляли абсолютное меньшинство — в разные периоды 15–30 %; это была уже иная элита.

Гораздо более радикально покончила с прежней элитой революция в России. Во-первых, гораздо более высокий процент ее был физически уничтожен. Из 2–3 млн. человек (около 3 % населения), принадлежащих к элитным (и вообще образованным) слоям в 1917–1920 гг. было расстреляно и убито примерно 440 тысяч и еще большее число умерло от голода и болезней, вызванных событиями. Причем те из этих слоев, которые имели

прежде наиболее высокий статус, пострадали особенно сильно (как показывают данные родословных росписей, численность послереволюционного поколения дворян, считая и эмигрантов, составляет в среднем менее 40 % от последнего дореволюционного). Во-вторых, несравненно более широкий масштаб имела эмиграция представителей этих слоев, исчисляемая не менее чем в 0,5 млн. чел., не считая оставшихся на территориях, не вошедших в состав Совдепии. (В частности, из примерно 276 тыс. офицеров, имевшихся к концу 1917 г., в гражданской войне погибло до 90 тыс. и 70 тыс. эмигрировало, а из оставшихся большинство было истреблено до 1932 г.). В-третьих, в отличие от французской революции, где время репрессий и дискриминации по отношению к старой элите продлилось не более десяти лет, в России новый режим продолжал последовательно осуществлять эту политику более трех десятилетий. Поэтому к моменту окончательного становления новой элиты в 30-х годах лица, хоть как-то связанные с прежней, составляли в ее среде лишь 20–25 % (это если считать вообще всех лиц умственного труда, а не номенклатуру, где они были редкостью). Характерно, что если во Франции спустя даже 15–20 лет после революции свыше 30 % чиновников составляли служившие ранее в королевской администрации, то в России уже через 12 лет после революции (к 1929 г.) таких было менее 10 %.

В третьем случае смена элиты также связана со сменой культурно-исторической эпохи (обычно без смены режима), но не сопровождается уничтожением старой элиты, которая либо оттесняется, либо видоизменяется в результате эволюции, ставшей результатом реформ (причем процесс этот растягивается на полвека и более). Очень характерный пример такого рода — реформы в России начала XVIII в., связанные с именем Петра Великого. Эпохальное значение принесенных ими перемен очевидно, а между тем, они были проведены при господстве абсолютно той же элиты. Состав ее (дворянства в целом) во время их проведения и после оставался тем же самым. Люди, являвшиеся опорой реформатора, принадлежали за единичными, хорошо известными исключениями (Меншиков, Ягужинский, Шафиров и др.), к тем же самым родам, которые составляли основу служилого дворянства и в XVII веке (была нарушена разве что монополия нескольких десятков наиболее знатных родов — самой верхушки элиты на занятие высших должностей). Состав Сената, коллегий, высших и старших воинских чинов практически полностью состоял из прежнего русского дворянства (не считая иностранцев, пребывание коих на русской службе тогда в подавляющем большинстве случаев было временным). Так что прежняя элита

(насчитывавшая на рубеже XVII–XVIII вв. примерно 30 тыс. человек) в полном составе и стала «новой».

Однако же реформы коренным образом изменили принцип комплектования высшего сословия (грань между которым и массой населения была практически непреодолимой), широко открыв в него путь на основе выслуги и положив начало процессу его постоянного и интенсивного обновления (в начале 1720–х годов недворянское происхождение имели до трети офицеров, во второй половине XVIII в. около 30 %, в первой половине XIX в. примерно 25, в конце XIX в. — 50–60, среди чиновников недворянского происхождения в середине XVIII в. было более 55 %, в начале — середине XIX в. — 60, в конце XIX в. — 70 %), так что к началу XX в. 80–90 % всех дворянских родов оказались возникшими благодаря этим реформам. Все неофиты полностью абсорбировались средой, в которую вливались, и не меняли ее характеристик в каждом новом поколении, но в целом это была уже новая элита, отличная по психологии и культуре от своих предков XVII в. Кроме того, на состав элиты оказало сильнейшее влияние включение в состав России в XVIII — начале XIX вв. территорий с немецким (остзейским), польским, финским (шведское рыцарство), грузинским и иным дворянством, а также то, что с середины XIX в. она далеко не ограничивалась дворянством (если ранее понятия «дворянин», «офицер» или «чиновник» и «образованный человек» практически совпадали, то затем лишь до половины и менее членов элитных социальных групп относились к личному или потомственному дворянству). В результате элита XVIII — начала XX вв. — совершенно иная, чем элита «московского периода».

К этому же типу смены элиты относится переход к «настоящей» демократии в европейских странах. На рубеже XIX и XX вв. и особенно после 1–й мировой войны произошел качественный перелом в составе элитных слоев всех основных стран Европы (не только пережившей бурные события 1871 г. и падение последнего монархического режима Франции, или рухнувших в результате поражения Германской и Австрийской империй, но и мирно эволюционировавшей Англии) окончательно завершившийся после 2–й мировой войны. В течение периода жизни примерно трех поколений элита всех этих стран радикально сменилась по составу и основным характеристикам.

Изменения в составе элиты нынешней России, могущие быть следствием происходящих в последние годы перемен, оставалось бы также отнести к этому — третьему типу смены элит. Если бы только о смене

элиты вообще в данном случае могла идти речь. Но в том-то и дело, что говорить о такой смене как свершившемся факте нет никаких оснований. Во-первых, потому, что прошло слишком мало времени, чтобы можно было говорить о сложении действительно новой элиты со своими специфическими чертами и свойствами. Во-вторых потому, что никуда не делась старая, никакой реальной смены не произошло. Более того, пока незаметно даже, чтобы тенденция эта получила сколько-нибудь серьезное развитие. Для уяснения этого обстоятельства достаточно рассмотреть состав той части «постсоветской» элиты, которая всегда при смене элит бывает подвержена перемене в первую очередь — политической элиты, причем в ее высшем звене (которое, в свою очередь, обычно меняется еще быстрее и радикальнее, чем вся политическая элита в целом). При сколько-нибудь действительно значимых социально-культурных переменах, даже если в целом сохраняется господство прежней элиты, в верхних эшелонах администрации обычно преобладают не просто новые люди, но представители других, более низких по прежнему статусу слоев этой элиты (как и было, в частности, при Петре Великом).

В советский период высшим слоем элиты была так называемая номенклатура — достаточно узкий слой лиц, облеченных абсолютным доверием партии и могущих в силу этого назначаться на руководящие должности самого разного профиля, но достаточно высокого ранга. Иногда говорят о «высшем», «среднем» слое, имея в виду, допустим, членов Политбюро и секретарей обкомов, однако такая дефиниция констатирует лишь служебное положение конкретного лица в конкретный момент. Между тем никаких социальных различий между 1-м и 3-м (со временем становившимся 1-м) секретарем обкома, членом Политбюро, министром, председателем облисполкома и т. д. (образующими единую общность) не существовало, и в плане социальной структуры вся номенклатура была высшим слоем по отношению к другим элитным (профессиональным) слоям (научно-технический, военный, гуманитарно-идеологический и др.), избранные представители которых (активные члены КПСС) имели возможность в нее попасть.

Так вот, одно время получило широкое распространение мнение о событиях последних лет как о «революции младших научных сотрудников» и представление о том, что состав властвующей элиты «демократической власти» обновился за счет этой категории (то есть произошла, по крайней мере, хотя бы смена того рода, о котором шла речь выше). Посмотрим, насколько это верно, проанализировав состав правящей верхушки к моменту высшего пика «демократического правления» — на весну 1993

года (до первых выборов глав администраций и до уступок Ельцина оппозиции в отношении состава правительства). Власть ведь всегда конкретна, в реальности у власти всегда стоят не марксистские абстракции («буржуазия», «рабоче-крестьянская власть» и т. д.) а совершенно конкретные люди, каждый из которых имеет не только имя, но и совершенно определенный багаж опыта, знаний, представлений и взглядов, которые и определяют их сущность. И поэтому в какой бы форме ни осуществляли они свою власть — это всегда будут те же самые люди, люди «одной породы», связанные между собой тысячью нитей, отчетливо осознающие свою общность и испытывающие естественное тяготение к себе подобным.

Если рассмотреть состав четырех основных властных структур: аппарат президента (руководящий состав аппарата и советники президента), Президентский Совет, правительство (Совет министров) и корпус глав местной власти (губернаторы краев и областей и высшие руководители — президенты и главы правительств республик) по двум основным показателям: членство в КПСС (т. е. обладание потенциальной возможностью войти в номенклатуру для представителей других элитных слоев) и принадлежность к партийно-советской номенклатуре (то есть занятие ответственных должностей в партийных, советских, государственных органах, требующих утверждения партийными инстанциями) до августа 1991 года, то обнаруживается следующее. Из 23 человек верхушки президентского аппарата коммунистов — 23 человека (100 %), а к номенклатуре принадлежали 15 (65,2 %), среди 24 членов Президентского Совета членов КПСС 15 человек (65,2 %), номенклатуры 9 (37,5 %), из 35 членов правительства коммунистов 33 человека (94,3 %), членов номенклатуры — 23 (65,7 %). Наиболее впечатляюще выглядит состав местных властей: здесь из 112 человек коммунистов 103 (92 %), причем представителей номенклатуры 93 (87,5 %).

В общей сложности, таким образом, среди двух сотен человек, управлявших страной на момент «расцвета демократии», три четверти (75 %) были представителями, старой коммунистической номенклатуры, а коммунистами были 9 из 10 (90 %). Доля тех, кого принято относить к «младшим научным сотрудникам» (в действительности это, как правило, заведующие отделами и лабораториями), как видим, всего лишь четверть, да и из них большинство было членами партии (лишь 10 % не состояли в КПСС). Впоследствии «номенклатурность» местной власти еще усилилась (вплоть до того, что до десятка областей возглавляли не просто представители номенклатуры, а даже именно первые секретари тех же

самых обкомов КПСС, то есть бывшие «хозяева» этих областей), эволюционировал в ту же сторону и состав правительства (любопытно, что и Верховный Совет с его более чем половинным номенклатурным составом при трех четвертях коммунистов выглядел еще более «советским», чем в «классические» советские времена, когда туда по разнарядке подбирали статистов «из народа»). Если же посмотреть на состав руководства «силовых структур», дипломатического корпуса, прокуратуры и других государственных органов, то тут никаких изменений вообще не произошло: никаких новых людей, не принадлежавших к кадрам этих структур и раньше, там практически не появилось (за единичными исключениями). Неизменным остался состав научной и культурной элит. Характерно, что прежняя элита доминирует даже в составе самого «нового» из элитных слоев — экономического. Так что говорить о появлении какой-то новой «постсоветской» элиты нет оснований. Это пока что та же самая советская.

Едва ли в обозримом будущем состав ее сменится настолько, что в нем будут преобладать лица (или их дети), не принадлежавшие к советскому истеблишменту, учитывая отказ от люстрации и особенно наметившуюся тенденцию к ограничению доступа новых людей в состав административного аппарата. Возникновение действительно новой элиты возможно лишь в случае таких политических изменений, которые будут означать формирование совершенно новой российской государственности (тогда как нынешняя берет свое начало в 1917 г. и даже официально является прямым продолжением советской).

1995 г.

Традиционная государственность и тоталитаризм

В последние годы рассуждения о характере государственной власти получили широкое распространение. При большом количестве публикаций на эту тему бросается в глаза отсутствие у пишущих ясного представления о реальном содержании тех терминов, которыми они оперируют. Легковесность подхода не должна удивлять, учитывая, что в массово-интеллигентском сознании отсутствует даже разница между тоталитаризмом и авторитаризмом: само отождествление этих понятий является наследием господства тоталитаризма и тоталитарной идеологии.

Примитивность представлений об общественном и государственном строе, порожденная и сочетающаяся с крайне слабым знанием исторических реалий, а то и полным невежеством в этом отношении свойственны, впрочем, не только советской интеллигентской среде. Пресловутая теория «конца истории», наступающего с торжеством демократии во всем мире, например, порождена сходными причинами, и идеально подходит для восприятия публики с соответствующим менталитетом. Для нее закономерно представление о том, что все, не являющееся или не могущее быть названным «демократией», есть тоталитаризм, с которым отождествляется понятие «деспотия», а далее часто делается и вывод о том, что эта самая «деспотия» («восточная» или «азиатская») и есть непосредственная предшественница тоталитаризма. В тот же ряд ставятся противоречащие демократии понятия империализма, авторитаризма и консерватизма. Причем самое ожесточенное сопротивление встречает обычно упоминание о том, что эти понятия противоречат в равной мере и тоталитаризму. Потому что в этом случае обнаруживается фальшивость приведенной выше «родословной» тоталитаризма и выясняется, что он и демократия стоят по одну сторону водораздела, на другой стороне которого находятся традиционные — «нормальные» формы социально-государственной организации.

Вопрос о том, что в формах социально-государственной организации является нормой, также извращен чрезвычайно. Памятуя о том, что человеческая история насчитывает тысячелетия, судить о ее глобальной направленности по событиям нескольких десятилетий или даже одного-двух столетий было бы опрометчиво. Тем более нелепыми выглядят суждения и исторические обобщения, вызванные к жизни конъюнктурными обстоятельствами. Когда несколько лет назад перешла в

практическую плоскость задача разрушения СССР, это сопровождалось рассуждениями о «неизбежности и закономерности» такого хода событий, ибо «время империй» было объявлено раз и навсегда прошедшим. Оставим пока вопрос о том, что СССР к этому «времени» вообще никакого отношения не имел, будучи образованием совершенно иного типа. Заметим лишь, что говорить о каком-то особом «времени империй» неуместно: империи существовали в самые разные времена, так что их «время» охватывает всю человеческую историю; по этой же причине нет никаких оснований полагать, что они не будут существовать и в будущем. Империализм есть естественная и единственно возможная политика великих держав, и формирование враждебного отношения к «чужому» империализму (который единственно и принято так именно называть) тоже совершенно нормально и связано с тем, что, по выражению Ницше, «тщеславие других не нравится нам тогда, когда идет против нашего тщеславия».

Если встать на точку зрения, трактующую тоталитаризм как «недемократизм», то окажется, что при нем прошла практически вся история человечества, и, следовательно, именно он ей свойствен в наибольшей степени. Однако традиционные общества были, конечно, не тоталитарными, но авторитарными. И разница между ними и обществами «нового типа» — тоталитарными и демократическими — принципиальная. Как правило, поводом для их отождествления служит представление о «диктатуре», но если авторитаризм — диктатура лиц, то тоталитаризм — диктатура идеи. Кроме того, тоталитаризм хотя и невозможен без таковой, но не только не сводим к ней, но наличие диктаторской власти не может быть само по себе его признаком. Тоталитарная система характеризуется не степенью силы государственной власти и ее «деспотичности», а качеством, лежащим совсем в другой плоскости — ее всеохватностью. Не является индикатором тоталитаризма и гипертрофированная роль государства; важнейшее значение при этом имеет социальная структура, особенно права и положение высших ее слоев. Вообще, ни один из критериев тоталитарности системы (степень регламентации быта, идеологическая нетерпимость, определенная социальная структура и социальная политика, характер власти) не может, взятый сам по себе (в какой бы сильной степени ни был развит) свидетельствовать о тоталитарности данного общества. Таковая достигается именно совокупностью всех этих качеств, в тоталитарном обществе наличествует обычно весь набор соответствующих явлений.

Для того, чтобы стало ясно, насколько вульгарные представления о

родстве «восточного деспотизма» с тоталитаризмом и о происхождении одного от другого, получившие столь широкое распространение в либерально-интеллигентской среде, далеки от действительности, достаточно сопоставить хорошо известное тоталитарное общество (характерным примером которого было советское) с классическим традиционным имперским обществом, дающим, казалось бы, максимальный повод для отождествления с тоталитарным — бюрократической деспотией дальневосточного типа. Постараемся пренебречь даже тем, что сравнивать тоталитаризм (явление нашего века) с «восточными деспотиями», вообще довольно трудно, ибо чисто исторически эти явления принадлежат разному времени с принципиально отличным уровнем технологии, информативности, вовлеченности в общемировой политический процесс и т. д.

Если обратиться к идеологической сфере (идеология каждого традиционного общества была представлена какой-либо религией), то сразу же обнаружится, что идеология традиционных империй несопоставима с идеологией тоталитарных обществ по главному и решающему признаку — обязательности данной идеологии для всех членов общества. В древних деспотиях Ближнего Востока этот вопрос вообще не стоял, поскольку многобожие делало его бессмысленным, и статуи богов завоеванных областей с почетом привозили в столицу победителей. С распространением мировых религий, когда, казалось бы, появилась почва для религиозно-идеологической нетерпимости, она, тем не менее, не приобрела характера государственной политики. Скажем, мусульманские правители Индии совершенно спокойно смотрели на наличие индуистов и представителей других вероисповеданий не только среди своих подданных, но и среди подвластных им правителей отдельных территорий.

Веротерпимость, а, следовательно, и идеологическая терпимость была нормой практически всех традиционных обществ Востока и Запада. Как пример идеологической нетерпимости обычно приводят инквизицию и крестовые походы. Но следует помнить, что инквизиция была направлена не против иноверцев, а против еретиков, т. е. отступников внутри самой господствующей религии. При преследовании таковых, допускалось, тем не менее, существование целых групп населения, находившихся вообще вне этой религии. Крестовые же походы преследовали цель освободить от мусульман христианские святыни, а вовсе не ликвидацию ислама как такового. По отношению к иноверцам могла существовать дискриминация (повышенные налоги, ограничения в правах и т. д.), проводится политика на привлечение их в лоно господствующей идеологии, но на практике

никогда не ставилась задача тотального единства в вере всего населения страны. Могло быть и так, что какая-то религия категорически не допускалась, но это не меняло всей картины, коль скоро допускались другие.

Причем наиболее характерный пример в этом отношении дают как самые классические — «бюрократические» восточные деспотии. Как хорошо известно, основой идеологии стран, входивших в ареал распространения китайской политической культуры было конфуцианство, т. е. именно то учение, в центре внимания которого стояло государство и вопросы государственного управления. И в то же время в странах региона успешно распространялся буддизм — религия предельно «антигосударственная», характеризующаяся прежде всего индивидуальным началом, рассматривавшая объективный мир со всеми существующими там отношениями как иллюзорный, а всякие связи, в т. ч. и социальные, как зло. Между тем буддизм мог быть там (как в Корее VI–XIV вв.) государственной религией (правители и их ближайшие родственники становились монахами, погребались по буддийскому обряду, монастыри приравнялись к государственным учреждениям, получая соответствующее содержание), в то время как сама государственность продолжала базироваться на конфуцианстве (будущие чиновники обучались в конфуцианских учебных заведениях, а виднейшие государственные деятели могли относиться к буддизму чрезвычайно отрицательно). Свобода выбора даже между столь различными идеологиями не ограничивалась (в летописях есть характерный эпизод, когда сын, отвечая на вопрос отца, что он желает изучать — конфуцианство или буддизм, говорит: «Я слышал, что буддизм — далекое от житейской суеты учение. Почему же я должен изучать такое учение? Я буду изучать конфуцианские принципы.») Тот факт, что в классической бюрократической деспотии предельно «государственная» идеология мирно сосуществовала с предельно «антигосударственной», причем последняя могла быть государственной религией (опять же никого ни к чему при этом не обязывая), сам по себе достаточно красноречив (особенно при сравнении с тем, как поступлено было с буддистами в СССР, Монголии и Северной Корее).

Совсем иное мы видим в тоталитарных системах, отношение которых к религиям тем более закономерно, что это системы прежде всего идеологические, и идеология поэтому есть та область, в которой они менее всего склонны терпеть альтернативы. Тоталитарным режимам иногда свойственно стремление создать в противовес старой новую религию —

будь то культ «верховного существа», попытки реанимации язычества или советское «богостроительство», но они обычно бывают неубедительны и кончаются неудачей по той причине, что превращается в религию сама основная идеология тоталитарного режима, не нуждаясь больше ни в какой другой. Все известные тоталитарные режимы со своими «священными писаниями» в виде произведений основоположников учения, «житийной литературой» в виде биографий их сподвижников («апостолов»), «богооткровенными» цитатами и изречениями на все случаи жизни, «моральными кодексами», догматикой, носящими целиком комментаторский характер «общественными науками», «падшими ангелами» в виде уклонистов и ревизионистов и т. п. до смешного копируют мировые религии. И это сходство тем комичнее, что рождено не осознанным стремлением к подражанию, а объективной логикой функционирования тоталитарного режима.

Некоторое сходство с положением господствующей идеологии в тоталитарных обществах можно усмотреть разве что в теократических государствах, само возникновение которых обязано идеологии. Но весьма характерно, что в чистом виде такие государства практически не встречаются (некоторое время такой характер носило арабское государство, но вскоре его утратило). Тем более не являются теократическими христианские государства (ни православные, где взаимоотношения между духовной и светской властью определяются понятием «симфонии», ни католические, где высшая духовная власть находится вне государства, ни протестантские, где главой церкви может быть светский правитель). Даже самая воинственная религия традиционного общества — ислам, при господстве в государстве допускает веротерпимость, «религия» же тоталитарного режима абсолютно нетерпима.

Вообще дело не в форме организации священнослужителей (конфуцианским обществам тоже иногда пытались приписать теократический характер на том основании, что чиновная иерархия при господстве конфуцианской идеологии совпадает с иерархией священнослужителей, поскольку другой не имеется), а в характере связи власти и идеологии. То же конфуцианство всегда существовало для государства, а не государство для него, оно не было намертво связано с конкретным правителем в том смысле, что государственная мораль, воплощенная в конфуцианстве, стоит выше конкретной власти и может осуждать «недостойного» правителя при его жизни. В тоталитарном обществе существующая в данный момент власть всегда выше любой морали.

С другой стороны, связь правителя со своей «религией» в тоталитарном обществе несравненно теснее. В конфуцианском обществе вполне возможны гонения на конфуцианство со стороны «недостойного» правителя, причем не на конкретных идеологов (что возможно и при тоталитарном режиме), а на конфуцианство как таковое (бывали случаи, когда отдельные критикуемые им правители в пику ему возвышали буддизм). В тоталитарном правитель может сколь угодно далеко отойти на практике от догм и заветов своей «веры», но совершенно немыслимо, чтобы он мог порвать с ней идейно, совершенно отбросив ее или хотя бы открыто покуситься на основные положения: это был бы уже другой режим — либо другой тоталитарный, если идеология заменяется на другую (что на практике не встречалось), либо означает переход к авторитаризму.

В социальных аспектах несходство традиционных авторитарных режимов с тоталитарными наиболее существенно, хотя и не так очевидно. Тоталитарный режим выражается обычно формулой «вождь и народ», и основой является полное равенство всех, кто стоит ниже вождя (воистину, «в обществе, где все равны, никто не свободен»). Он в принципе не терпит такого понятия и тем более элемента социальной структуры, как аристократия, вообще не допускает существование более или менее независимого и консолидированного высшего сословия, тем более каких-либо форм его организации. Между тем практически во всех традиционных обществах аристократия или иное высшее сословие существовали, и вообще это были сословные общества. Правда, одной из характерных черт дальневосточных «бюрократических» деспотий, отличавшей их от европейских (в т. ч. и российской) «аристократических» монархий было то, что высшее привилегированное сословие — чиновничество предполагалось как сословие ненаследственное. Привилегированный статус человека был связан не с происхождением, а социальным положением, причем никто не мог получить такой статус иначе, как из рук государственной власти. Принцип полной зависимости статуса каждого члена чиновничьего сословия от существующей в данный момент власти серьезно отличал таковое от положения европейского дворянства и порождал совершенно иные понятия личного достоинства. Однако следует помнить, что и «бюрократические» дальневосточные общества были сословными, и (при одинаковом бесправии перед лицом высшей власти) мысль о равенстве всех подданных никогда не была присуща политической мысли этих стран.

Есть и еще одна очень показательная принципиальная черта социально-идеологического плана. Непременным атрибутом тоталитарного

режима является культ «простого человека», пренебрежение к умственному труду вообще и к его носителям в частности. Считается, что человек физического труда обладает высшей нравственностью по сравнению с интеллектуалом, лучшей способностью к управлению государством и даже большим художественным вкусом. «Пролетарское происхождение» представляет в таком обществе самостоятельную ценность, причем такого достоинства, которое обычно предпочитается всем прочим. Так вот и по этому вопросу установки традиционно-деспотического и тоталитарного режимов противоположны. Положение, по которому управлять должны именно образованные, было краеугольным камнем китайской политической доктрины, возникнув в глубокой древности (как говорил Мэн-цзы: «Есть дела больших людей, и есть дела маленьких людей. Есть люди, напрягающие ум, и есть люди, напрягающие силу. Тот, кто напрягает ум, управляет людьми, тот, кто напрягает силу, управляется людьми. Тот, кто управляет людьми, кормится за счет других, тот, кто управляется людьми, кормит других. Это — всеобщая истина Поднебесной»). В Китае были периоды (как раз наиболее «деспотические»), когда среди чиновничества считалось хорошим тоном подчеркивать свое незнатное происхождение, но это имело совершенно иной характер — тем самым подчеркивались личные заслуги на ниве учености, которыми и обеспечивался разрыв с низшим социальным слоем и приобщение к высшему. Характерно, что именно постулат о приоритете умственного труда стал основным объектом критики при тоталитарном режиме и в самом Китае («перевоспитание» физическим трудом, «наполовину рабочие — наполовину писатели, наполовину крестьяне — наполовину ученые» и т. д.). И если интеллектуалы как социальный слой и там, и там не противостоят государственной власти, то происходит это по прямо противоположным причинам: в первом случае они и являются правящим слоем, а во втором — либо уничтожены с заменой полуграмотными «образованцами», либо затерроризованы до полной невозможности выступать от собственного имени.

Сходство тоталитарных режимов с «деспотиями» видят и в гипертрофированной роли государства. Но роль государства в обществе вообще не имеет отношения к проблеме тоталитаризма. Последний непредставим без вмешательства государства в экономику. Но такое вмешательство в тоталитарном обществе именно потому так велико и всеобъемлюще, что это вмешательство не столько самого государства, сколько идеологии данного режима, органом которой государство при тоталитаризме и выступает. Если считать вмешательство государства в

экономику тоталитарной чертой, то следует признать, что все западные государства в течение последних полутора столетий эволюционировали к тоталитаризму. В восточных деспотиях всегда имелся сильный государственный сектор, но он по масштабам вполне сопоставим с тем, какой существует последние десятилетия в западных странах. В коммунистическом же, например, обществе экономика огосударствливается не потому, что должна быть именно огосударствлена, сколько потому, что должна быть обобществлена, как того требуют идеологические установки. Принципиальная грань тут не между государственным и частным, а — между общественным и личным. А это совсем не одно и то же. Если первая пара различается только юридически, то вторая — носит характер идеологического противостояния. Сколь бы суровые ограничения не накладывались в традиционных обществах на отдельные виды предпринимательской деятельности, но никогда таковая не считалась преступлением, как то было в СССР. В этом состояла вся суть режима: частное предпринимательство и частная собственность запрещались не потому, что противоречили интересам государства (наоборот, они могли только способствовать увеличению его мощи), а потому, что были неприемлемы идеологически, затрагивая его «святая святых».

Другой аспект, связанный с ролью государства — так называемый «бюрократизм», под чем обычно понимается или многочисленность государственных служащих, или усложненную процедуру управления. Но ни то, ни другое не имеет отношения к тоталитаризму. Традиционные империи в этом отношении весьма разнообразны. Они могут быть вообще слабо централизованы и обходиться минимальным числом чиновников при дворе верховного владыки, или сильно централизованными, и тогда чиновников требуется больше. Между прочим, в наиболее бюрократических традиционных обществах число чиновников не превышало 2–3 % населения, многократно уступая по этому показателю современным западным странам. В большинстве случаев все зависит от конкретной организации государственного управления (например, ярчайший пример бюрократизма дает Шумеро-Аккадское царство при III династии Ура в конце III тысячелетия до н. э., не имеющее себе равных по тщательности фиксации мельчайших хозяйственных документов, но не более «тоталитарное», чем другие деспотии той эпохи).

В интеллигентских кругах распространено вульгарное представление, что «все зло от чиновников», (которые, в частности, «всегда Россией правили») вплоть до того, что тоталитарным склонны считать такой режим, где «управляют чиновники». Но чиновники управляют любым обществом,

на то они и существуют. Они суть агенты государственной власти, вне которой не существует ни одно общество (впрочем, от «демократического помешательства» чего только не встретишь ныне на газетных страницах — доводилось читать, что «общество» может-де «решать, нужно ли ему государство»). Власть вообще всегда первична — даже в звериной стае есть вожак. Разница в том, чью власть они представляют — монарха, олигархии, диктатора, идеократии и т. д.

В тоталитарных обществах численность госслужащих действительно резко возрастает за счет роста объектов управления при «обобществлениях» и желания включить в процесс управления «простого человека», что связано с необходимостью компенсировать недостаток компетентности и профессионализма числом управляющих. При этом обращает на себя внимание, что для тоталитарных режимов характерно как раз отсутствие, либо очень слабая развитость формального оформления государственной службы (в виде четких законов о государственной службе, правового оформления чиновничества, ранговых систем, формы, знаков отличия и т. п.). Это, в общем, закономерно, ибо в таком обществе наиболее важные распорядительные функции (выполняемые в других обществах собственно чиновниками) принадлежат функционерам носителя тоталитарной идеологии — партии (как бы жрецам). Поэтому партийный аппарат заменяет собой собственно государственный, играющий второстепенную «хозяйственную» роль.

В абсолютном большинстве нетоталитарных обществ — от дальневосточных деспотий до современных европейских стран четко оформленное, разделенное на ранги, с особым правовым статусом, порядком прохождения службы и т. д. чиновничество существует. В большинстве тоталитарных его нет. Вместо него имеется категория людей, объединяемая понятием «кадры» или «номенклатура» и включающая лиц, чья преданность режиму и, главное, идеологическая правоверность не вызывает сомнений, так сказать, «проверенных». Не случайно вхождение в ее состав не подвержено никакому формальному порядку: экзамен, окончание определенного учебного заведения и т. д. Человек отбирается и выдвигается неформально, на основе проявленных им свойств, действует нечто вроде «классового» (или иного) чутья. Именно на основании трудноуловимых, но четких критериев из двух инженеров, преподавателей или научных сотрудников один вдруг становится инструктором райкома и начинает путь по номенклатурной лестнице политического руководства, а другой до конца жизни остается на своем месте, разве что став из «младших» «старшим» инженером и т. д. Отсутствие конкурсного начала,

как и любого другого формального и независимого от политической конъюнктуры способа выдвижения и занятия должностей (хотя бы по выслуге, образованию и т. д.) определяет и отсутствие ранговой системы, что позволяет перемещать «кадры» совершенно свободно, руководствуясь только политической волей. Поэтому-то в тоталитарных обществах так нечетка, смазана вся формальная сторона общегражданского управления. Всячески маскируется система льгот и привилегий, а иерархия постов и должностей, очень четко существующая в реальности, никогда не оформляется внешне. Весьма характерно, что попытки даже чисто внешне формализовать эту систему обычно не приживаются (в советское время даже в специализированных гражданских ведомствах форменная одежда, классные звания и знаки различия продержались лишь несколько лет, а в основных управленческих органах никогда и не вводились). В Китае в момент наивысшего подъема «культурной революции» были упразднены знаки различия даже в армии. В тоталитарном обществе всякая другая власть, кроме власти верховного вождя должна быть, по возможности, деперсонализирована. Развитая бюрократия как правовой институт противостоит самому духу тоталитаризма, основанного на идейно-политической («революционной») целесообразности.

Опутывая сеть регламентаций экономику, тоталитарный режим абсолютно нерегламентирован политически. Что же касается регламентаций в одежде, быте и образе жизни населения, то если «деспотии» делали это ради различия — с целью обособить друг от друга слои и группы населения, то тоталитарный режим осуществляет свою регламентацию с целью всеобщего единообразия. В обществе, где, по идее, есть лишь вождь и народ, демонстрация наличия различных слоев народа противоречит тезису о «единстве» последнего (демонстрируя единство с народом, вожди в большинстве случаев стремятся также одеваться непритязательно). Нарушения этих принципов свидетельствуют обычно о разложении режима.

Наконец, есть еще ряд бросающихся в глаза черт, в корне отличающих тоталитаризм от традиционных «деспотий». Идеологическим обоснованием последних является воля Неба, тоталитарного всегда — «воля народа». Традиционные режимы базируются на традициях, легитимизме и потому по определению консервативны, тоталитаризм, вполне осознавая свою ублюдочную суть, в определенной мере истеричен, постоянно «мобилизовывая» своих подданных на какие-либо «свершения», живя от «победы» до «победы», от «битвы» до «битвы». Идеал, «золотой век» формирующегося столетиями традиционного режима всегда в

прошлом, тоталитарный, рожденный переворотами, отряхающий со своих ног прах «старого мира», постулируя свою оторванность от корней, — всегда устремлен в будущее. Кстати, такое существенное отличие, как разница в характере «происхождения» режима во многом определяет и его карательную практику. Традиционные режимы, для которых все слои населения «свои», не имеют потребности в постоянном превентивном массовом терроре и карают лишь отдельных лиц, идеология тоталитарного режима направлена обычно против целых групп населения. Террор неизбежно является массовым и носит превентивный характер, ибо он карает противников не только реальных, но потенциальных и воображаемых. Различия такого рода, казалось бы, трудно не заметить, но гипноз «твердой власти», «диктатуры» оказывается сильнее.

Имперская бюрократическая деспотия есть лишь разновидность более общего, глобального явления человеческой истории, могущего быть названным «традиционным авторитаризмом», который, собственно, и составлял ее содержание на протяжении тысячелетий, несколько потеснившись в последние два столетия. Собственно говоря, он и есть норма. Прямым наследником традиционного авторитаризма является современный авторитаризм, господствующий в большинстве стран современного мира. Он может выступать в самых разных формах, в виде военных хунт Латинской Америки, в виде гражданской президентской диктатуры, в виде однопартийных систем, в виде демократически оформленной власти бывшего лидера военного переворота, в виде реально монопольной власти одной партии при многопартийной системе и всех атрибутах демократии и т. д. Независимо от того, носит ли данная власть личный или коллективный характер (хунта, партия, олигархическая группа) существенным является то, что политическая власть надежно ограждена от посягательств на нее со стороны других политических групп и лиц. При этом вовсе не обязательно существует запрет на политическую деятельность (не говоря уже о свободе поведения в экономической, идеологической и тем более частной жизни) — важно лишь, что все устроено различными способами таким образом, что эта деятельность не может привести к смене власти. Например, власть, располагающая надежной военной силой, или твердо опирающаяся на пусть не самые многочисленные, но наиболее дееспособные социальные, конфессиональные или национальные группы населения, вполне гарантирована от падения, хотя бы большинство населения и не одобряло ее, и поэтому вполне может позволить себе допустить многопартийную систему, свободную прессу и сопряженную с этим критику в свой адрес.

Современный авторитаризм по своим формам, разумеется, далеко ушел в большинстве случаев от классической империи, но в той же мере, что и она, отличается от тоталитаризма именно тем, что не нуждается для своего существования во вмешательстве во все стороны человеческой жизни и деятельности.

Современный авторитаризм, таким образом, имеет традиционное и в большинстве случаев ненасильственное происхождение. Отождествление его с тоталитаризмом происходит, как уже говорилось, потому, что и то, и другое противопоставляется демократии. Что, однако, при этом имеется в виду под «демократией»? Если наличие конституционных учреждений, парламента и т. д., то можно вспомнить, что сталинская конституция была одной из самых демократичных. Кроме того, почти все европейские авторитарные режимы последних двух столетий (а афро-азиатские и сейчас) существуют при всех атрибутах демократии (а современные демократии, в т. ч. классические — при монархических). Есть мнение, что Франция, скажем, лишь немногим более десятилетия назад достигла «настоящей» демократии, и с какой-то стороны это вполне правомерно (уж во всяком случае до последней четверти XIX в. она жила при авторитарных режимах).

Но что такое тогда «настоящая» демократия? Судя по тому, что о ней пишут сами демократы, это такая конечная и идеальная форма демократии, которая, наконец-то, несовместима с «империей» и «империализмом». И это, в общем-то, не вызывает возражений, поскольку она представляет собой специфический режим господства транснациональной финансовой олигархии, осуществляющий свою власть не столько по территориальному, сколько по экономическому принципу. Но каково ее реальное место в истории? Ведущие европейские страны перестали быть центрами империй всего три-четыре десятилетия назад. Абсолютное большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки имеют авторитарное правление, демократическое оформление которого значит не больше, чем европейские пиджаки современных африканских племенных вождей.

Приходится констатировать, что «настоящая» демократия весьма ограничена во времени (несколько десятков лет из нескольких тысячелетий мировой истории) и пространстве (помимо нескольких североамериканских великих держав, служащих базой транснациональных монополий, этот режим существует только в мелких европейских странах, фактически не являющихся самостоятельными политическими величинами). Даже в половине европейских стран она держится за счет их военно-политической зависимости от США. В остальном мире она

скопирована лишь формально, то есть так же, как и в нынешней России (и едва ли с ней или, скажем, с Китаем можно будет что-нибудь в этом смысле поделаться). Да и Япония с Германией до сих пор (во всяком случае — духовно) оккупированные и политически неполноправные страны, причем сама необходимость сохранения такого статуса этих экономических гигантов наилучшим образом свидетельствует о непредсказуемости их поведения без этого фактора.

В рамках общечеловеческой истории и демократия, и тоталитаризм выглядят, скорее, отклонениями от нормы (каковой является авторитаризм во всех своих проявлениях), появившимися под влиянием идейных течений двухсотлетней давности и вполне развившимися и выразившимися в государственной форме только в наше время. (Отдельные элементы того и другого можно, конечно, обнаружить в прошлом, начиная с древности, но понятие, допустим «рабовладельческой» или «имперской» демократии с точки зрения «настоящей» есть полная бессмыслица.) Они есть в равной мере явления «Нового Порядка», возникшие как антиподы «Старого Режима» (исторически сложившихся автократий). Тоталитаризм и демократия — близнецы-братья, и оба обязаны своим происхождением не Востоку, а Западу. Непричастность к тоталитаризму восточных деспотий лишний раз подтверждается тем фактом, что все азиатские тоталитарные режимы имели вторичное происхождение и были установлены военным путем под влиянием (или даже прямым образом) извне, со стороны уже существовавших тоталитарных режимов, а не выросли непосредственно из традиционных авторитарных деспотий. Напротив, те режимы, которые непосредственно выросли из таких деспотий — авторитарные режимы современного типа (вроде гоминьдановского) были сметены тоталитарными режимами.

Сами тоталитарные режимы стали возможны лишь благодаря демократической идеологии (в широком смысле слова), разьевшей устои традиционного авторитаризма апелляцией к массе. Традиционный авторитаризм, не имеющий нужды соблазнять массы и заискивать перед ними, не имел потребности в демократии, но и — в тоталитаризме. Тоталитаризм же в любом случае обязан своим установлением «сворачиванию» массы населения: в одних случаях он приходит по результатам голосования (такое, правда, было возможно лишь до появления «настоящей демократии»), в других — по призыву «грабить награбленное» или сходным с ним.

Более того, «настоящая демократия» как ближайшая родственница тоталитаризма не только не является его антиподом, но и несет в себе ряд

тех же самых черт. В частности, она по большому счету почти столь же идеологически нетерпима, рассматривая себя в качестве абсолютной ценности, подлежащей критике только в конкретных проявлениях, но не как идея (если традиционные общества были, как правило, веротерпимы, то в абсолютном большинстве демократических стран публичное выражение антидемократических взглядов законодательно запрещено). Наконец, политический режим «настоящей демократии», теоретически зависящий от волеизъявления населения на выборах, в реальности не может быть изменен таким образом, поскольку при соответствующей угрозе в дело включаются силовые механизмы. Настоящая власть всегда неделима. Поэтому, кстати, понятие «разделение властей» лишено всякого реального смысла. Оно имеет его только в переходные периоды, когда вопрос о власти еще не решен — тогда за каждой из ветвей может стоять одна из борющихся за власть сил. В обществе с «устоявшимся» режимом оно всегда формальность. Что из того, что по закону исполнительная, законодательная и судебная власть будут строго разграничены? Если все они будут состоять из коммунистов, то вся система — работать точно так же, как если бы такого разделения не было, или бы эти органы вовсе не существовали. Точно так же и в демократических странах демократический режим существует только потому и до тех пор, пока все эти органы состоят из его приверженцев.

Вот почему едва ли следует торопиться объявлять о «конце истории». Людям всегда было свойственно придавать решающее значение тому периоду истории, свидетелями которого им самим довелось быть, забывая, что он лишь ничтожная часть жизни человечества, в которой даже самые заметные изменения могут происходить только в рамках свойственного человеческой натуре, неизменной во веки веков. А раз так, то более для нее естественные, опробованные тысячелетиями, формы социо-государственной организации рано или поздно все равно возобладают.

1995 г.

Социальный статус интеллектуального слоя в XXI веке: тенденции и перспективы

В последние годы много было написано и сказано о необычайно тяжелом материальном положении и низком социальном статусе лиц умственного труда в России, особенно массовых интеллигентских профессий. Ухудшение их общественного положения обычно непосредственно связывается с последовавшими за «перестройкой» экономическими реформами с целью перехода к рыночной экономике, т. е. с советской практикой «капиталистического строительства». Дело тут, впрочем, не столько в собственно экономических реформах, сколько в развале государственности, в результате чего, естественно, наиболее пострадали те слои, которые целиком и полностью находились на содержании государства (т. е. абсолютное большинство лиц умственного труда).

Однако, если абсолютный уровень благосостояния большинства лиц умственного труда действительно резко упал за последние годы, то его положение относительно других слоев населения изменилось не столь резко — по той простой причине, что оно давно уже оставляло желать лучшего. Процесс снижения социального статуса образованного слоя начался отнюдь не в начале 90-х годов, а много раньше. Более того, хотя в СССР положение образованного слоя по сравнению с большинством других стран было много худшим, оно, тем не менее, отражало и некоторую общемировую тенденцию.

Говоря сейчас о перспективах положения этого слоя в будущем столетии, следует заметить, что вопрос о социальном статусе интеллектуального слоя — объективно стал актуальным лишь в истекающем столетии, лишь XX век был отмечен такими социальными сдвигами и трансформациями политических структур, которые поставили интеллектуалов перед лицом ломки естественных и привычных для них психологических стереотипов и представлений о своем месте в обществе. Раньше вопрос этот практически не вставал, поскольку во всех традиционных обществах интеллектуальный слой совпадал с составом высших сословий — дворянства и духовенства, либо аналогичных им по статусу социальных групп (варн, каст и т. д.). Традиция отнесения

интеллектуального слоя к высшей в данном обществе категории есть вообще одна из базовых черт социальной организации во всех обществах. Даже в XVII–XIX в., когда умственная деятельность постепенно перестала быть прерогативой высших сословий, сама сословная принадлежность утратила свое общественное значение и возник профессиональный слой интеллектуалов, этот слой, составляя не более 4–5 % населения, в полной мере сохранял свое особое, привилегированное положение в обществе и обладал наиболее высоким социальным статусом.

Особенно это характерно для России. Важной особенностью интеллектуального слоя старой России был его «дворянский» характер. В силу преимущественно выслуженного характера российского высшего сословия, оно в большей степени, чем в других странах, совпадало с интеллектуальным слоем (и далеко не только потому, что помещное дворянство было самой образованной частью общества и лица, профессионально занимающиеся умственным трудом, происходили поначалу главным образом из этой среды). Фактически в России интеллектуальный слой и был дворянством, т. е. образовывал в основном высшее сословие. С начала XVIII в. (в XVIII–XIX вв. возникло до 80–90 % всех дворянских родов) считалось, что дворянство как высшее сословие должно объединять лиц, проявивших себя на разных поприщах и доказавших свои отличные от основной массы населения дарования и способности (каковые они призваны передать и своим потомкам), почему и связывалось с достижением определенного чина на службе, а также с награждением любым орденом. При этом образовательный уровень являлся в силу связанных с ним льгот решающим фактором карьеры.

Так что почти каждый образованный человек любого происхождения становился сначала личным, а затем и потомственным дворянином, и сословные права дворянства фактически были принадлежностью всего образованного слоя в России. Этот слой, таким образом, будучи самым разным по происхождению, был до середины XIX в. целиком дворянским по сословной принадлежности. В дальнейшем, поскольку сеть учебных заведений и число интеллигентских должностей быстро увеличивались, то дворянство по-прежнему в огромной степени продолжало пополняться этим путем, хотя после повышения требований для получения дворянства некоторая часть интеллектуального слоя оставалась за рамками высшего сословия. Учитывая, что на рубеже XIX–XX вв. весь интеллектуальный слой составлял 2–3 % населения, а дворяне (в т. ч. и личные) — 1,5 %, большинство его членов официально относились к высшему сословию (среди тех его представителей, которые состояли на государственной

службе — 73 %).

Старый интеллектуальный слой не представлял собой одного сословия, однако термин «образованное сословие» применительно к нему все же в определенной мере отражает реальность, поскольку образованные люди обладали некоторыми юридическими привилегиями и правами, отличавшими их от остального населения. Этому слою были присущи хотя бы относительное внутреннее единство, наследование социального статуса (хотя он широко пополнялся из низших слоев, дети из его собственной среды за редчайшими исключениями оставались в его составе) и заметная культурная обособленность от других слоев общества. Это внутреннее единство, которое сейчас, после того, как культурная традиция прервалась (большинству советских людей 70–80-х годов никогда не приходилось общаться даже с отдельными представителями дореволюционного образованного слоя), воспринимается с трудом, поскольку литературный образ «маленького человека» вытеснил из общественного сознания тот объективный факт, что и пушкинский станционный смотритель, и гоголевский Акакий Акакиевич принадлежали, тем не менее, к той общности, представитель которой для остальных 97 % населения страны ассоциировался с понятием «барин». Характерно, что после революции большевики, оправдывая репрессии в отношении всего культурного слоя, на возражение, что его нельзя отождествлять с «буржуазией», отвечали, что против них боролась как раз вся масса «небогатых прапорщиков» и указывали в качестве аргумента именно на внутреннее единство слоя, внутри которого безродный прапорщик вполне мог стать генералом, дочь бедного учителя или низшего чиновника — губернаторшей, но этой возможности были лишены представители «пролетариата».

В России в ходе установления коммунистического режима старое «образованное сословие» было практически уничтожено, а статус интеллектуального слоя радикально изменен. Конкретными формами и степенью деградации и унижения этого слоя мы обязаны, разумеется, идеологии, политической практике, нравственному облику и качественному составу новых хозяев страны. Но процесс понижения статуса интеллектуального слоя, пусть и не в таких резких формах, как в СССР, шел на протяжении нынешнего столетия во всех развитых странах: лица основных интеллектуальных профессий лишались своего привилегированного положения, и их благосостояние уравнивалось с таковым основной массы населения.

Явление это, вполне обнаружившееся вскоре после Первой мировой войны, было одним из следствий перехода от традиционного к так

называемому «массовому обществу», ставшему свершившимся фактом уже в 20–х годах XX века. Переход к «массовому обществу» наряду с кардинальными изменениями в сфере политических технологий, психологии и общественных отношений повлек и гипертрофированный рост образовательной сферы (сопровождаясь, естественно, профанацией образования), что, в свою очередь, в конце-концов привело к увеличению на порядок численности интеллектуального слоя и его доли в структуре населения. Коммунистический режим в СССР и демократические режимы XX века в западных странах в сущности представляли собой различные разновидности одного и того же «массового общества». Поэтому тенденция снижения статуса интеллектуального слоя была в завершающемся столетии общемировой. Она же продолжает определять ситуацию в этой сфере и на пороге XXI века.

Столь глубокие изменения в социальной структуре населения не могли не повлиять и на представления о составе самого интеллектуального слоя. Дело в том, что высота статуса и степень материального благосостояния всякого элитного слоя (а интеллектуальный слой неизбежно элитарен по самой своей природе, коль скоро состоит из наиболее квалифицированного меньшинства) обратно пропорциональна численности этого слоя и его доле в обществе. Поэтому доля элитных слоев в обществе более или менее константна, как правило, не превышая 10 % (а чаще — еще меньше — 2–3 %). Что меняется — так это набор социальных групп, входящих в состав элитного слоя. И критерием здесь является не «абсолютный» уровень информированности, а положение данной группы по этому показателю относительно других социальных групп, относительно среднего уровня данного общества.

Доля лиц, чей образовательный уровень существенно отличался бы от общего, всегда будет очень невелика (не превышая нескольких процентов). Понятия «среднего», «высшего» и т. д. образования вообще весьма относительны и в плане социальной значимости сами по себе ничего не говорят (дореволюционная «средняя» гимназия и по абсолютному уровню гуманитарной культуры давала несравненно больше, чем «высший» советский институт). При введении, допустим, «всеобщего высшего образования», реальным высшим образованием будет аспирантура, если всех сделать кандидатами наук, то обладателями «высшего образования» можно будет считать обладателей докторских степеней и т. д.

Закономерно, поэтому, что по мере увеличения в обществе численности социальных групп, члены которых в силу функциональной предназначенности получали какое-либо образование, те группы, для

которых уровень необходимой информированности был наименьшим, постепенно выпадали из элитного интеллектуального слоя и сливались с основной массой населения. Так, если в свое время, допустим, мелкие канцелярские служащие, писаря и т. п., чьи занятия были привилегированны, а численность относительно всего населения ничтожна, входили в этот слой, то в ситуации, когда т. н. «белые воротнички» стали составлять до четверти населения, лишь высшие их группы могут быть к нему отнесены.

В нашей стране этот процесс снижения общественного престижа и статуса интеллектуального слоя отличался наиболее радикальным характером, поскольку и идеология, и практика советского режима были всемерно направлены именно на это. В советском обществе интеллектуальный слой не только не имел привилегированного статуса, но, напротив, трактовался как неполноценная в социальном плане, временная и ненадежная «прослойка» — объект идейного воспитания со стороны рабочих и крестьян. К тому же он, вследствие целенаправленной установки на его гипертрофированный рост, в подавляющем большинстве состоял из «выдвиженцев» и «образованцев», так что преобладающая часть тех, кто формально по должности или диплому входил в его состав, по своему кругозору, самосознанию, реальной образованности и культурному уровню ничем не отличалась от представителей других социальных групп и этот слой действительно был «плоть от плоти» советского народа.

Характерной чертой советской действительности была прогрессирующая профанация интеллектуального труда и образования как такового. В сферу умственного труда включались профессии и занятия, едва ли имеющие к нему отношение. Плодилась масса должностей, якобы требующих замещения лицами с высшим и средним специальным образованием, что порождало ложный «заказ» системе образования. Идея «стирания существенных граней между физическим и умственным трудом» реализовывалась в этом направлении вплоть до того, что требующими такого образования стали объявляться чисто рабочие профессии. Как «требование рабочей профессии» преподносился и тот прискорбный факт, что люди с высшим образованием из-за нищенской зарплаты вынуждены были идти в рабочие. При том, что и половина должностей ИТР такого образования на самом деле не требовала (достаточно вспомнить только пресловутые должности «инженеров по технике безопасности»).

Обесценение рядового умственного труда, особенно инженерного, достигло к 70-м годам такого масштаба, что «простой инженер» стал, как известно, излюбленным персонажем анекдотов, символизируя крайнюю

степень социального ничтожества. К 80-м годам утратила престижность даже научная деятельность. В начале 80-х годов лишь менее четверти опрошиваемых ученых считали свою работу престижной и только 17,2 % — хорошо оплачиваемой.

Собственно, сокрушающий удар по благосостоянию интеллектуального слоя был нанесен уже самим большевистским переворотом. В 20-х годах, средняя зарплата рядового представителя интеллектуального слоя сравнялась или была несколько ниже зарплаток рабочих, тогда как до революции была в 4 раза выше последних. В 40–50-х годах зарплата интеллектуального слоя превышала зарплату рабочих, однако в дальнейшем происходил неуклонный процесс снижения относительной зарплаты лиц умственного труда всех категорий, процесс, не знавший каких-либо остановок и особенно усилившийся в 60-х годах, когда почти во всех сферах умственного труда зарплата опустилась ниже рабочей. В начале 70-х ниже рабочих имели зарплату даже ученые, а к середине 80-х — и последняя группа интеллигенции (ИТР промышленности), которая дольше других сохраняла паритет с рабочими по зарплате. С учетом того, что так называемые «общественные фонды потребления» также в гораздо большей степени перераспределялись в пользу рабочих, уровень жизни интеллектуального слоя к 80-м годам был в 2–2,5 раза ниже жизненного уровня рабочих (зарплата основной массы врачей, учителей, работников культуры была в 3–4 раза ниже рабочей). Таким образом, дореволюционная иерархия уровней жизни лиц физического и умственного труда оказалась не только выровнена, но перевернута с ног на голову, в результате чего относительный уровень материального благосостояния интеллектуального слоя ухудшился по сравнению с дореволюционным более чем в 10 раз.

Так что современное состояние престижа и материальной обеспеченности интеллектуального слоя — следствие не столько последних десяти лет, сколько предшествующих семи десятилетий правления советской власти. Уже ко времени «перестройки» лица интеллектуального труда находились у нас в стране в положении худшем, чем где бы то ни было.

Другое дело, что в ходе реформ не были использованы те возможности для относительного повышения статуса и обеспеченности интеллектуального слоя, которые объективно открывались после формальной ликвидации советской власти и отказа от ее наиболее одиозных идеологических доктрин. Власти этим не озаботились, а сам советский интеллектуальный слой (здесь не имеется в виду пресловутая

столичная интеллигентская «тусовка»), лишенный внутреннего единства и понятий о личном и корпоративном достоинстве не способен был к отстаиванию своих интересов.

Разумеется, некоторые его группы и отдельные представители не только не оказались на обочине жизни, но весьма преуспели. Большая часть управленческого слоя нашла себя в бизнесе и в новом государственном аппарате. Этот же аппарат, еще более разросшийся по сравнению с советским временем, впитал в себя и обеспечил сносное существование еще некоторой части интеллектуалов. Другая их часть нашла свое место в обслуживании бизнеса и (несколько поредев численно после августовского кризиса 1998 года). Однако все эти группы вместе взятые составляют лишь незначительное меньшинство всего интеллектуального слоя, причем качественно — далеко не лучшую его часть.

Высказывалось мнение, что, подобно тому, как в период социалистической трансформации была создана новая «пролетарская» интеллигенция, так сейчас происходит процесс становления новой буржуазной интеллигенции, представители которой, «найдя свое место в системе всеобщего разделения труда», окажутся «крепкими профессионалами, умеющими оказать действительно услугу». Такая перспектива предполагает, по крайней мере, рост абсолютного уровня благосостояния интеллектуалов, хотя и сводит их роль до обслуживания предпринимательских интересов частных лиц, лишая интеллектуальную деятельность самооценности. Но едва ли и она верна для оценки судеб интеллектуального слоя в нашей стране в первые десятилетия XXI века, поскольку не соотносится ни с направлением социально-политического развития страны, ни с наличным составом этого слоя, ни с тенденциями его воспроизводства.

Представить себе будущую Россию страной «капиталистической анархии» довольно трудно. Этот опыт, нанеся экономике страны максимально возможный урон, уже исчерпал себя. Очевидно, что России либо не будет вовсе, либо она при любом экономическом строе будет отличаться традиционно весьма важным местом государства во всех сферах жизни общества. Соответственно играть решающую роль в определении состава, статуса и степени благосостояния интеллектуального слоя будет опять же государство. Вопрос только в том, чем оно при этом будет руководствоваться. Затем, при определении перспектив придется считаться и с тем фактом, что тот избыточный и в целом низкачественный интеллектуальный слой, который был подготовлен советской властью, сам по себе никуда не денется. Наконец, по большому счету, никуда не делась и

сама советская власть, поскольку не только руководящие должности по-прежнему заняты коммунистической номенклатурой, но и базовые взгляды на развитие страны в большинстве сфер жизни (и прежде всего в образовательной) не изменились. Совокупность этих обстоятельств не позволяет в ближайшее время надеяться на улучшение ситуации.

Теоретически, конечно, рационально мыслящая и компетентная государственная власть могла бы в интересах сохранения и развития интеллектуального потенциала провести ряд решительных мер. Например, «отделить козлиц от агнцев» — отобрать компетентную и дееспособную часть ученых и научно-технических работников (т. е. не более четверти имеющихся) и обеспечить государственное финансирование их деятельности на должном уровне за счет радикального сокращения остальных. Оптимизировать сеть высших учебных заведений на базе создания в областных центрах классических университетов и ликвидировать массу неполноценных провинциальных вузов, лишь профанирующих идею высшего образования (это позволило бы существенно изменить число студентов, приходящихся на одного преподавателя, сосредоточить средства в учебных заведениях, действительно дающих качественную подготовку). Заставить руководство вузов ужесточить требования к выпускникам, поставив финансирование учебных заведений в зависимость от успехов их воспитанников на поприще профессиональной деятельности. Изменить систему приема в вузы с целью сосредоточения наиболее талантливой части выпускников школ в наиболее престижных вузах (возможно — с введением для выпускников единого общегосударственного конкурсного экзамена, как это практикуется в ряде стран). Наконец, прием на государственную службу осуществлять не иначе, как по выдержании конкурсных экзаменов, проводимых специальным органом типа ВАК, либо по окончании специальных элитарных учебных заведений (типа французской ЭНА).

Однако со стороны реально существующего руководства на что-либо подобное рассчитывать не приходится. Не говоря уже о том, что люди, находящиеся в плену советских представлений об образовательной политике и социальной мобильности, не могут помышлять о серьезных изменениях в этой сфере, даже при желании их осуществить возникнет неизбежное противоречие между желательным уровнем компетентности отбираемых представителей интеллектуального слоя и компетентностью самих отбирающих. Люди, выдвинутые в свое время советской системой с ее принципом отрицательного отбора, не в состоянии адекватно оценить подлинную образованность, таланты и способности. Критерии же были

безнадежно утрачены еще в конце 50-х годов, когда вымерли последние специалисты, подготовленные в досоветскую эпоху. А пока сама нынешняя властная среда претерпит качественные изменения (для этого в ее составе должна образоваться «критическая масса» лиц нового поколения) пройдет еще немало времени.

К тому же процессы в сфере подготовки интеллектуального слоя не стоят на месте, а продолжают развиваться в прежнем советском духе. Робкие шаги в противоположном направлении намечались было весной 1998 года при правительстве Кириенко (в частности, идея создания классических университетов), но были заброшены. Нынешнее же (стопроцентно советское) руководство министерства образования откровенно исповедует принцип «числом поболее, ценою подешевле», ставя себе в заслугу увеличение приема в вузы «за счет собственных резервов», т. е. увеличения числа студентов, приходящихся на одного преподавателя. Собственно, когда высшее образование рассматривается как средство для предотвращения хулиганства (а министр высказывается в том духе, что пусть лучше учатся, чем без дела шляются по улицам), говорить о повышении статуса интеллектуального слоя просто неуместно.

Как показывает исторический опыт, чтобы даже самые дельные образовательные реформы дали первый результат, с момента их начала должно пройти не менее десятилетия. Поскольку же расширенное производство полуграмотных «интеллектуалов» в дополнение к многим миллионам уже имеющихся будет происходить в России еще неизвестно, сколько времени, то перспективы обретения подлинными интеллектуалами достойного положения в обществе представляются в первые десятилетия будущего века вполне безрадостными. По мере дальнейшего роста численности и удельного веса дипломированных лиц тенденция к снижению статуса всего этого слоя, будет, конечно, только усугубляться.

Как уже говорилось, такая тенденция свойственна в большей или меньшей степени и западным странам. Но там ее очевидное противоречие объективному росту на так называемой «постиндустриальной» стадии развития роли интеллектуального фактора разрешается и, видимо, будет разрешаться впредь на путях последовательной сегрегации внутри самого интеллектуального слоя: средством сохранения элитарного положения интеллектуального слоя выступает ограничение его состава лишь наиболее образованными и компетентными слоями ученых и специалистов (чьи доходы и статус намного выше среднего уровня), тогда как рядовые сливаются со всей массой населения и фактически утрачивают принадлежность к этому слою. В условиях давно действующей и хорошо

отлаженной системы «рынка» с одной стороны и целенаправленной заботы государства о своих кадрах с другой, это происходит достаточно «стихийно», даже без каких-либо формальных установок и показателей. Но в значительной мере сегрегация имеет место уже на этапе поступления в высшие учебные заведения, статус которых резко дифференцирован и в ряде случаев непосредственно обусловлен определенным уровнем «коэффициента интеллектуальности» абитуриентов.

В России же разграничение массы формально равноценных по диплому об образовании, а на самом деле имеющих мало общего между собой по уровню общей культуры и реальным знаниям лиц, представляет собой трудноразрешимую задачу. Собственно, и задачи такой никто не ставит. В условиях, когда государство не проявляет заинтересованности в отборе действительно лучших кадров, а нормальный рыночный механизм, замененный соперничеством номенклатурно-криминальных группировок, тоже не работает, кадровые назначения производятся по принципу клановой принадлежности или случайных знакомств и родственных связей. Поэтому, хотя часть лиц интеллектуального труда и занимает привилегированное положение, охарактеризовать именно их как интеллектуальный слой, подобный существующему в других странах, не представляется возможным. Это достаточно случайная совокупность людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме судьбы, позволившей им занять свое нынешнее положение, и не отличающихся ни более высоким уровнем знаний, ни культурной общностью.

Слабая стратифицированность интеллектуального слоя (который продолжает, как и в советское время, оставаться чрезвычайно разросшейся совокупностью обладателей одинаковых по статусу дипломов) обрекает его в целом на сохранение своего незавидного положения, не позволяя занять достойное место в обществе хотя бы наиболее образованным и компетентным его группам. Такие социально-профессиональные группы в принципе существуют (например, сотрудники Академии Наук, некоторых возникших в последнее время научных обществ и небольших исследовательских институтов, ведущих отраслевых НИИ, особенно оборонного комплекса, вузовская профессура, часть врачебного и преподавательского персонала и т. д.). Но, во-первых, они (в большинстве комплектовавшиеся в советское время) тоже очень сильно засорены недееспособным элементом, а во-вторых, пока отсутствует механизм их государственного и общественного «признания» и статусного отграничения от массы «образованцев». Если со временем установится рациональный порядок комплектования таких групп, а названный механизм будет когда-

нибудь запущен, то эволюция интеллектуального слоя пойдет, как минимум, по образцу нынешних западных стран, а при особой роли государства, возможно, и в русле традиций исторической России. Пока же, к сожалению, ни на то, ни на другое рассчитывать не приходится.

1995 г.

Исторический опыт Российской империи

Двух поколений, выросших при советской власти, оказалось более чем достаточно, чтобы представление о России было полностью утрачено. На фоне общего недоброжелательства даже те, кто искренне симпатизирует старой России, очень плохо представляет себе ее реалии. В сознании таких людей господствует мифологизированное представление о дореволюционной России, причем когда при более близком знакомстве с предметом обнаруживается явное несовпадение реальности с мифом, то реальность отвергается и мифологический идеал ищется в более ранних эпохах — в средневековье (т. е. периоде, о реалиях которого существуют еще более смутные представления), которые, однако, при еще меньшем объеме информации об этом периоде, позволяют более уютно разместить дорогой сердцу миф.

Подобное умонастроение подогревается мощным потоком коммунистической поддержки. Коммунисты, которым реально-историческая Россия (которую они непосредственно угробили и на противопоставлении которой их режим неизменно существовал), охотно хватаются за мифическую Россию (в качестве таковой выступает допетровская, благо про нее за отдаленностью можно говорить все, что угодно), которая якобы отвечала их идеалам, и выступают как бы продолжателями ее, т. е. настоящими русскими людьми с настоящей русской идеологией. Их проповедь тем более успешна, что среднему советскому человеку с исковерканным ими же сознанием реальная старая Россия действительно чужда, себе он там места не видит.

Причина вполне очевидна: революция, положившая конец российской государственности, отличалась от большинства известных тем, что полностью уничтожила (истребив или изгнав) российскую культурно-государственную элиту — носительницу ее духа и традиций и заменив ее антиэлитой в виде слоя советских образованцев с небольшой примесью в виде отрекшихся от России, приспособившихся и добровольно и полностью осоветившихся представителей старого образованного слоя. Из среды этой уже чисто советской общности и вышли теоретики и «философы истории» нашего времени всех направлений — как конформисты, так и диссиденты, как приверженцы советского строя, так и борцы против него, нынешние коммунисты, демократы и патриоты.

Социальная самоидентификация пишущих накладывает на освещение

проблем российской истории сильнейший отпечаток. Реально существовавшая дореволюционная культура абсолютному большинству представителей советской интеллигенции «социально чужда». Эта культура, неотделимая от своих создателей, по сути своей (как и всякая высокая культура) все-таки аристократична, и хотя она давно перестала быть господствующей, подспудное чувство неполноценности по отношению к ней порождает у члена современного «образованного сословия» даже иногда плохо осознаваемую враждебность. Вот почему, даже несмотря на моду на дореволюционную Россию «вообще», как раз тому, что составило блеск и славу ее (государственно-управленческой и интеллектуальной элите, создавшей военно-политическое могущество страны и знаменитую культуру «золотого» и «серебряного» веков) не повезло на симпатии современных публицистов.

Лиц, сознательно ориентирующихся на старую культуру, среди нынешних интеллигентов относительно немного: такая ориентация не связана жестко с происхождением (создающим для нее только дополнительный стимул), а зависит в основном от предпочтений, выработавшихся в ходе саморазвития, а именно условия становления личности интеллектуала в советский период менее всего располагали к выбору в пользу этой культуры. В остальном же взгляды пишущих сводятся к двум позициям или точкам зрения, хотя и враждебным друг другу, но в равной мере советским. Один из современных авторов охарактеризовал их как «местечковую» и «деревенскую», но точнее было бы сказать, что речь идет о советско-интеллигентской и советско-«народной» точках зрения, т. к. социальная обусловленность окрашивает их гораздо больше, чем другие обстоятельства. Их представители одинаково неприязненно относятся к старой культуре, хотя и стараются обычно присвоить себе и использовать те или иные ее стороны.

Эмиграция, в среде которой единственно сохранилась подлинная российская традиция, к этому времени перестала представлять сколько-нибудь сплоченную идейно-политическую силу и подверглась столь сильной эрозии (вследствие естественного вымирания, дерусификации последующих поколений и влияния последующих, уже советских волн эмиграции), что носители этой традиции и среди нее оказались в меньшинстве. Нельзя сказать, что в России совершенно нет людей, исповедующих симпатии к подлинной дореволюционной России — такой, какой она на самом деле была, со всеми ее реалиями, но это именно отдельные люди (обычно генетически связанные с носителями прежней традиции) и единичные организации, не представляющие общественно-

политического течения.

По этой же причине при разложении советско-коммунистического режима, когда появилась возможность свободного выражения общественно-политической позиции, мы увидели какие угодно течения, кроме того, которое было характерно для исторической России. Вот почему современный патриотизм — это либо национал-большевизм (ведущий начало от «сталинского ампира», либо новый русский национализм — при всем уважении и всех славословиях в адрес старой России не имеющий корней в ее культурно-государственной традиции (почему и подвергающий остракизму даже некоторые основные принципы, на которых строилась реально-историческая Россия — Российская Империя — вплоть до отрицания самой идеи Империи). Творчество и деятельность представителей этого направления — от Баркашова до Солженицына олицетворяет и выражает реакцию на ту дискриминационную политику, которая проводилась в Совдепии по отношению к великорусскому населению и довела его до нынешнего печального положения. То есть это национализм такого рода, какой свойствен малым угнетенным или притесняемым нациям и руководствуется (сознательно или бессознательно) идеей не национального величия, а национального выживания. В известной мере вследствие результатов «ленинской национальной политики» это явление имеет свое оправдание, это не вина, а беда нынешнего патриотического сознания. Однако же это печальное обстоятельство может служить оправданием возникновения этого течения, но отнюдь не его убожества и унизости для великой нации как такового. Не говоря уже о том, что победа этой точки зрения означала бы торжество недругов российской государственности, ибо означало бы коренной слом национального сознания: превращение психологии великого народа — субъекта истории в психологию рядового ее объекта.

Подобного рода советским людям-«патриотам» не приходит в голову, что выдающимся достижением была как раз реально-историческая Россия. За все время существования российской государственности только в имперский («Петербургский») период — Россия была чем-то значимым в общечеловеческой истории и имела возможность вершить судьбы мира (излишне говорить, что СССР, игравший в мире не меньшую роль, не имел никакого отношения к российской государственности, будучи образованием принципиально антироссийским, созданным для достижения внегосударственной мировой утопии). Подобно тому, как Греция прославила себя своей античной цивилизацией, Италия — Римской империей, Испания — XVI веком, Швеция — XVII, Франция — XVII–

XVIII, Англия — XVIII–XIX, венцом развития отечественной культуры и государственности стала Российская Империя XVIII — начала XX вв. Именно эта Россия стала таким же значимым явлением мировой истории, как эллинизм, Рим, Византия, империи Карла Великого и Габсбургов в средние века, Британская империя в новое время. Не отвлекаясь здесь на подробный анализ порожденных малограмотностью или злонамеренностью концепций российской истории, попробуем посмотреть на факторы, обеспечившие (очевидное даже для ее недругов) величие и могущество Российской Империи.

Среди «аргументов», выдвигаемых критиками Империи, один из основных и самых нелепых — то, что она рухнула. Рухнула — следовательно, не так уж была хороша, значит — обладала столь существенными недостатками, что они не оставляли ей шанса на выживание. Оставаясь сторонником точки зрения, что исчезновение с политической карты России как страны, как нормального государства (независимо от его внутреннего строя) было делом достаточно случайного совпадения неблагоприятных факторов и произошло под воздействием не столько внутренних, сколько внешних сил (а тем более не органически присущих ей пороков внутреннего развития), я не стану сейчас вдаваться в изучение причин и обстоятельств ее падения — это особая тема. Тем более, что приводящие этот довод имеют в виду не такое исчезновение (многие из них его вообще не признают, почитая Совдепию тоже Россией), а именно внутренний строй России. Обращу лишь внимание на то, что логика этого «аргумента» теряет всякий смысл при взгляде на историю. Когда обнаруживается, что Российская Империя рухнула, как-никак, последней.

Этот бастион того, что именовалось в Европе «старым порядком» пал на 130 лет позже французского, и разве можно найти хоть один, который бы просуществовал дольше и мог бы служить примером? Даже в Турции и Китае традиционные режимы не продержались дольше. И в этом плане — рассматривая страну не как геополитическую реальность, а как образчик определенного внутреннего строя (например, ни Англия, ни Франция не перестали существовать как государства после падения в них традиционных режимов), мог ли он вообще не пасть в условиях, когда под влиянием мутаций, распространившихся в конце XVIII столетия, началось крушение традиционного порядка в мире, каковой процесс завершился в начале XX в. с первой мировой войной (речь идет о феномене смены существовавших тысячелетия монархических режимов демократическими и тоталитарными)? Поэтому вопрос надо ставить не о том, почему Российская империя рухнула, а — почему так долго могла продержаться?

Советское образование, соединенное с наивным мифологизаторством славянофилов XIX в. привело к распространению представлений о том, что Россия рухнула едва ли не потому, что стала империей, «слишком расширилась», европеизировалась, полезла в европейские дела вместо того, чтобы, «сосредоточившись» в себе, пестовать некоторую «русскость». Курьезным образом в качестве недостатков в этих воззрениях называются как раз те моменты, которые как раз и обеспечили величие страны. Характерно, что они особенно развились в последнее десятилетие, когда российская государственность оказалась отброшена в границы Московской Руси и представляют (часто неосознанные) попытки задним числом оправдать это противоестественное положение и «обосновать», что это не так уж и плохо, что так оно и надо: Россия-де, «избавившись от имперского бремени», снова имеет шанс стать собственно Россией, культивировать свою русскость и т. п. Соответственно, допетровская Россия, находившаяся на обочине европейской политики и сосредоточенная «на себе», представляется тем идеалом, к которому стоит вернуться.

Трудно сказать, чего тут больше — глупости или невежества. Во-первых, уже Московская Русь не была чисто русским государством, более того — если куда и расширялась — так именно на Юг и Восток (на Запад, куда больше всего хотелось — слабо было), населенные культурно и этнически чуждым населением в присоединении которого обычно обвиняется империя Петербургского периода. Тогда как приобретенные последней в XVIII в. территории — это как раз исконные русские земли Киевской Руси.

Во-вторых, присоединить их, т. е. выполнить задачу «собрать русских» было немыслимо без участия в европейской политике, поскольку эти земли предстояло отобрать у европейских стран. Наконец, крайне наивно полагать, что какое бы то ни было государство вообще, тем более являющееся частью Европы (а Киевская Русь тем более была целиком и полностью европейским и никаким иным государством — тогда и азиатской примеси практически не было) и в течение столетий сталкивавшаяся в конфликтах с европейскими державами, могло отсидеться в стороне от европейской политики. За редким исключением островных государств (Япония) мировая история вообще не знает примеров успешной самоизоляции. Этого вообще невозможно избежать, не говоря уже о том, что тот, кто не желает становиться субъектом международной политики, неминуемо обречен стать ее объектом. Тем более это было невыгодно России, которая в XVII в. находилась в обделенном состоянии и перед ней стояла задача не удержать захваченное,

а вернуть утраченное, что предполагало активную позицию и требовало самого активного участия в политике. Да она и пыталась это делать (еще в 1496–1497 гг. Иван III воевал со Швецией в союзе с Данией; и Ливонская война Ивана Грозного, и борьба за Смоленск в 1632–1634 гг. были прямым участием в общеевропейской политике, причем в последнем случае — непосредственным участием в Тридцатилетней войне, где Россия оказалась на стороне антигабсбургской коалиции; в 1656–1658 гг. Россия принимала участие в т. н. «1-й Северной войне» на стороне Польши и Дании против Швеции и Бранденбурга), только сил не хватало. Так что принципиальной разницы тут нет, дело только в результатах: в Московский период такое участие было безуспешным, а в Петербургский — принесло России огромные территории.

В-третьих, т. н. «европеизирование» являлось по большому счету только возвращением в Европу, откуда Русь была исторгнута татарским нашествием. Киевская Русь — великая европейская держава, временно превратилась в Московский период в полуазиатскую окраину Европы, и это-то противоестественное положение и было исправлено в Петербургский период. Что же касается появившихся военно-экономических возможностей, то тут едва ли нужны «оправдания». Можно по-разному понимать «прогресс» (я лично склонен вообще отрицать его общеисторическое содержание), но технологическая его составляющая очевидна и не нуждается в комментариях. Заимствование европейского платья на этом фоне — не бездумное и самоцельное «обезьянничанье», а лишь технически-необходимый элемент использования адекватных принципов военного дела и экономико-технологического развития. В условиях, когда враждебный мир обретает более эффективные средства борьбы, грозящие данной цивилизации гибелью или подчинением, для нее, не желающей поступиться основными принципами своего внутреннего строя, может существовать лишь одно решение: измениться внешне, чтобы не измениться внутренне. Так поступила Россия в начале XVIII в., так поступила Япония в середине XIX в. (Именно этот эффект — сочетания европейской «внешности», т. е. культурно-военно-технических атрибутов с собственной более здоровой внутренней организацией и позволил им примерно через сто лет: России к началу XIX, а Японии к середине XX в. стать ведущими державами в своих регионах.) Страны, не сделавшие это, будь это самые великие империи Востока — государство Великих Моголов в Индии, Турция, Иран, Китай — превратились в XIX в. в полуколонии европейских держав (а более мелкие государства — в колонии). Россия и Япония не только избегли этой участи, но в начале XX в. были среди тех,

кто вершил судьбы мира.

В-четвертых, ставить в вину российским императорам какие-то «ошибки», не понимая ни существа стоящих перед ними задач, ни идеалов, которыми каждый из них руководствовался, не чувствуя духа времени, не зная ни их реальных возможностей, ни всей совокупности конкретных (очень и очень конкретных!) обстоятельств, при которых им приходилось принимать решения, ни особенностей мышления каждого из них и тех влияний, которые они считали существенными или не очень существенными, короче говоря, оценивать политику российских самодержцев с точки зрения современных представлений о прошлом и исходя из багажа советского человека, попросту смехотворно. Поистине, «как будто в истории орудовала компания двоечников». Разумеется, и с точки зрения современных им политических условий направиители российской политики не всегда поступали наилучшим образом. Но ведь они были — только люди. Дело ведь не в том, чтобы не делать ошибок, а в том, чтобы делать их меньше, чем другие. Рассматривая российскую политику в отрыве от политики других стран, можно усмотреть и весьма серьезные просчеты русских императоров. Но на общеисторическом фоне картина будет совершенно иной, ибо сами результаты (постоянный и неуклонный рост могущества России в XVIII — первой половине XIX вв.) свидетельствуют, что в это время ошибок делалось меньше, чем когда бы то ни было — в прошлом и будущем. И кого принимать за образец, коль скоро лидеры других стран делали ошибок еще больше?

Достигнутое Россией геополитическое положение было одним из важнейших залогов ее величия как явления мировой цивилизации. Для того, чтобы отстоять свою культуру во враждебном окружении (а мировая история есть история «борьбы всех против всех») государству (цивилизации) прежде всего необходимо обладать достаточным стратегическим потенциалом. То есть обладать населением и территорией, позволяющими мобилизовать военно-экономический потенциал, достаточный для противостояния внешнему воздействию и утверждения своих принципов на международной арене. Для всех великих мировых цивилизаций всегда было характерно стремление к внешней экспансии. Без этого их существование, строго говоря, лишено смысла. Во всяком случае, важнейшей составной частью стратегического потенциала есть достижение естественных границ, т. е. таких внешних рубежей, которые обеспечивают геополитическую безопасность. Вот почему все великие державы всегда были империями если не всегда по форме правления, то по

полиэтничности, т. е. включали в свой состав помимо основного государствообразующего этноса и другие народности. И императорская Россия в высшей степени отвечала этим условиям.

Ее территориальное расширение и участие в европейской политике было вполне традиционным и исторически обусловленным. Российская империя являлась в этом отношении (как и в других) наследницей и продолжательницей Киевской Руси, которая, с одной стороны, была европейской империей, а с другой, — традиционным направлением ее экспансии были Восток и Юг. Московское царство, принявшее эстафету российской государственности после крушения Киевской Руси, было лишь преддверием, подготовкой к созданию Российской империи, т. е. достижению российской государственностью всей полноты ее величия и могущества. Московская Русь, хотя и оставалась до конца XVII в. лишь «заготовкой» будущей возрожденной империи, и не была в состоянии по своему внутреннему несовершенству и несоответствию достигнутому к этому времени в мире уровню военно-экономических возможностей возратить европейские территории Киевского периода, тем не менее по сути своей тоже была империей, включая в свой состав более чем наполовину территории, чуждые в культурном и этническом отношении русскому народу, которые она, тем не менее, интенсивно осваивала и «переваривала».

Собственно, то значение, которое обрела в мире Россия с принятием православия, неотделимо от идеи империи. Идея России как Третьего Рима и в религиозном, и в геополитическом аспекте возможна только как идея имперская. Само православие — религия не племенная, не национальная, а имперская по самой сути своей, предполагающая включение в орбиту своего влияния все новых и новых народов и территорий, которым несет свет истины. Поэтому вполне закономерно, что империями были и Первый, и Второй Рим, и тем более ничем иным не мог быть Рим Третий. Таким образом, идея, лежавшая в основе Московского царства, была вполне органичной. Другое дело, что это царство оказалось не на высоте поставленных задач и не было способно их осуществить.

Вся история Московского периода была историей борьбы за возрождение утраченного значения русской государственности. Длительной, но по большому счету малоуспешной. Достаточно показателен уже тот факт, что за период с 1228 по 1462 г. из около 60 битв с внешними врагами выиграно было лишь 23, т. е. поражения терпели почти в двух третях случаев (свыше 60 %), причем на севере (включая Северскую, Рязанскую и Смоленскую земли) из около 50 сражений русские терпели

поражение почти в 3/4 случаев (свыше 70 %). Даже для воссоединения чисто русских территорий, не находящихся под властью иностранных государств, а представлявших самостоятельные владения, Москве потребовалось более двух столетий (Тверское, Рязанское княжества, Псковская земля были присоединены только в самом конце XV — начале XVI вв.).

Даже переход окрепшего русского государства к активной внешней политике в середине XVI в. не принес успехов на Западе. Если ликвидация ханств, оставшихся от разложившейся и распавшейся Орды прошла успешно, то столкновения с европейскими соседями были большей частью безуспешны, и если на Востоке границы России продвинулись на тысячи километров, то на западном направлении продвижения не только практически не было, но еще в начале XVII в. стоял вопрос о самом существовании России под натиском Польши и Швеции. Если к концу собирания центрально-русских земель (каковое считается окончательным формированием «русского национального государства») — в первой трети XVI в., ко времени царствования Ивана Грозного западная граница его проходила под Смоленском и Черниговым, то столетие спустя (да и еще в середине XVII в.) западная граница России проходила под Вязьмой и Можайском. К концу Московского периода Россия не сумела вернуть даже значительную часть земель на Западе, которые входили в ее состав еще столетие назад. Впитав в успешной (за счет своей «европейской» сущности) борьбе с Востоком слишком большую долю «азиатчины», Россия оказалась неспособной бороться с европейскими противниками. Достаточно беглого обзора конкретных событий после конца татарского ига, чтобы стала очевидной разница в этом отношении между Московским и Петербургским периодами.

Несмотря на отдельные тактические успехи, абсолютное большинство войн с западными противниками либо оканчивались ничем, либо даже сопровождались еще большими территориальными потерями. На обоих стратегических направлениях: попытках пробиться к Балтийскому побережью и вернуть прибалтийские земли (до немецкого завоевания обоими берегами Западной Двины владели полоцкие князья, которым платили дань ливы и летты, эстонская чудь находилась в зависимости от Новгорода и Пскова, а часть Эстляндии с городом Юрьевым непосредственно входила в состав Киевской Руси) и вернуть западные земли, захваченные Польшей и Литвой после татарского нашествия, за два с лишним столетия успехи были более чем скромными.

Плодотворными для России были только войны с Литвой: 1500–

1503 гг. (возвратившая Северские земли) и 1513–1522 гг. (возвратившая Смоленск). Все остальные войны (с Ливонским орденом 1480–1482 и 1501 гг., с Литвой 1507–1509 гг., со Швецией 1496–1497 и 1554–1556 гг.) ничего не принесли. Война же с Литвой 1534–1537 гг. привела к утрате Гомеля (отвоеванного было в 1503 г.), а продолжавшаяся четверть века и обескровившая Россию Ливонская война 1558–1583 гг. не только не решила поставленной цели (выход в Прибалтику), но и привела к уступке шведам Иван-города, Яма и Копорья (шведская война 1590–1593 гг. лишь вернула эти города, восстановив положение на середину XVI в.). Наконец, в результате войн Смутного времени с Польшей в 1604–1618 гг. Россия утратила и то, что удалось вернуть от Литвы столетие назад, а следствием войны со Швецией в 1614–1617 гг. — стала не только новая утрата тех земель, которые были потеряны в Ливонской войне и возвращены в 1593 г., но и огромной части Карелии с Корелой и полная потеря выхода к Балтийскому морю. Война с Польшей 1632–1634 гг. принесла ничтожные результаты: Смоленск так и остался у поляков, удалось вернуть лишь узкую полосу земли с Серпейском и Трубчевском. Новая война со Швецией 1656–1658 гг. также была безуспешной. Даже впечатляющие поначалу успехи русских войск в войнах с Польшей 1654–1655 и 1658–1667 гг. (в самых благоприятных условиях — когда Польша почти не существовала, потрясенная восстанием 1648–1654 гг. на Украине и едва не уничтоженная шведским нашествием 1656–1660 гг.) после разгрома под Конотопом в июне 1659 г. обернулись весьма скромными результатами Андрусовского перемирия, по которому Россия вернула только то, что потеряла в 1618 г. (и это после того, как русскими войсками была занята почти вся Белоруссия!), а из всей освобожденной до Львова и Замостья Украины к России по Переяславской унии присоединялось только Левобережье. В результате к концу Московского периода, если не считать украинского левобережья (присоединенного не завоеванием Москвы, а благодаря движению малороссов) конфигурация западной границы России была хуже, чем до правления Ивана Грозного.

И вот в течение одного XVIII столетия были не только решены все задачи по возвращению почти всех западных русских земель, но Россия вышла к своим естественным границам на Черном и Балтийском морях. Важнейшими вехами на этом пути было присоединение Балтийского побережья, Лифляндии и Эстляндии в 1721 г., возвращение северной и восточной Белоруссии в 1773 г., выход на Черноморское побережье по результатам турецких войн 1768–1774 и 1787–1790 гг., ликвидация хищного Крымского ханства в 1783 г., возвращение южной Белоруссии,

Волыни и Подолии в 1793 г. и присоединение Курляндии и Литвы в 1795 г. В течение более полутора столетий российское оружие не знало поражений, и (за единственным исключением неудачного Прутского похода 1711 г.) каждая новая война была победоносной. В целом можно сказать, что в Московский период несмотря на отдельные успехи, внешняя политика была безуспешной, в Петербургский же — наоборот — несмотря на отдельные неудачи в целом исключительно успешной. Европейская территория страны и ее население практически удвоились по сравнению с допетровским временем, и только это обстоятельство позволило России играть в мире ту роль, которую она в дальнейшем играла.

Расширение территории империи в XIX в. не было ни иррациональным, ни случайным, а преследовало цель достижения естественных границ на всех направлениях. В Европе ее территориальный рост завершился с окончанием наполеоновских войн, когда был создан такой миропорядок, в котором Россия играла первенствующую роль. Приобретение присоединенных тогда территорий (Финляндии в 1809 г., Бессарабии в 1812 г. и значительной части собственно польских земель в качестве Царства Польского в 1815 г.) часто считают излишним и даже вредным для судеб России. Однако Бессарабия относится к территориям, входившим еще в состав Киевской Руси, а присоединение Финляндии при крайне важном и выгодном геополитическом положении (сочетающимся с крайней малочисленностью ее населения) ничего, кроме пользы принести не могло. (Если что и было ошибкой, то разве что предоставление ей неоправданно широких прав, позволивших в начале XX в. превратиться в убежище для подрывных элементов, да присоединение к ней вошедшей в состав России еще при Петре и Елизавете давно обрусевшей Выборгской губернии.) Что касается Польши, то ее включение в состав империи вытекало из общеевропейского порядка, возглавлявшегося Священным Союзом: существование независимой Польши означало бы провоцирование Россией ее претензий на польские земли в Австрии и Пруссии, чего Россия при том значении, которое она придавала Союзу, допустить, конечно, не могла.

Другой вопрос, верной ли была ставка на союз с германскими монархиями в принципе. Но, как бы на него ни отвечать исходя из опыта XX века, тогда у российского руководства не было никаких оснований предпочитать ему любой другой. Исходя из реалий того времени не было абсолютно никаких возможностей предвидеть, как развернутся события в конце столетия, и ту эгоистичную и недальновидную позицию, которую займут тогда эти монархии. Даже в начале XX в. П. Н. Дурново был очень

недалек от истины, когда утверждал в своей известной записке, что объективно интересы России нигде не пересекаются с германскими, тогда как с английскими пересекаются везде. Тем более это было верным для первой половины XIX в. (что вскоре подтвердила Крымская война). Теперь, разумеется, можно считать ошибкой и даже первопричиной всех дальнейших неудач российской политики спасение Австрии в 1848 г. (распадись тогда Австрия, Россия имела бы свободу рук на Балканах, не проиграла бы Крымскую войну, не вынуждена была бы делать уступки в 1878 г. и т. д.). Однако Николай I помимо рыцарственности своей натуры и верности принципам легитимизма, исходил из тех же стратегических соображений, которые лежали в основе Священного Союза и не были исчерпаны к тому времени (в конце-концов недальновидная политика отошедшей от этих соображений Австрии обернулась и ее собственной гибелью). Так что ошибку сделала тогда не Россия, ее сделала Австрия, а позже и Германия, предав Россию на Берлинском конгрессе (что и привело Россию к союзу с противниками Германии и Австрии и обусловило тот расклад враждующих сил, который сформировался к Мировой войне на беду всех бывших членов Священного Союза).

На Юге, где России противостояли Турция и Иран, ее естественным рубежом является, конечно, Кавказ. Причем существование единоверных Армении и Грузии, в течение столетий третируемых мусульманскими завоевателями, диктовало необходимость как включение их в состав империи (тем более ими желаемое), так и обеспечение непрерывной связи с этими территориями. Что, в свою очередь, предполагало установление контроля над горскими народами Кавказа. Да и в любом случае недопустимо было бы оставлять Северный Кавказ вне сферы российского контроля, ибо он неминуемо превратился бы в антироссийский плацдарм турецкой агрессии, угрожающий всему Югу России. Никаких иных соображений завоевание Кавказа не имело, и осуществление этой задачи к 60-м годам XIX в. окончательно сделало неприступными южные рубежи страны. Полный контроль над Каспием (куда совершались походы еще во времена Киевской Руси), казавшийся столь желательным в первой половине XVIII в., спустя столетие — с ослаблением Ирана (когда он после поражения в войне 1826–1828 гг. перестал представлять какую-либо угрозу России, но, наоборот, сохранил значение как противовес Турции) утратил свою актуальность. Поэтому Россия с тех пор не пыталась продвинуться дальше Ленкорани.

Продвижение России в Среднюю Азию первоначально вызывалось главным образом необходимостью более эффективной защиты от набегов

кочевников на Уральско-Сибирскую линию, в основных чертах сложившуюся еще в Московский период с освоением Сибири и защитой той части казахских родов, которые еще в XVIII в. находились в российском подданстве, от набегов и притеснений Кокандского ханства. Но в любом случае великая держава не могла долго терпеть соседства с хищническими, практически «пиратскими» образованиями, каковыми были Кокандское ханство и Бухарский эмират, промышлявшими работоторговлей, объектом коей становилось русское население Урало-Сибирской линии. Естественными рубежами России в Азии были бы ее границы с другими большими государствами, имевшими длительную традицию исторического существования и исторически сложившиеся устойчивые границы. Таковыми и были Китай, Иран и Афганистан, чьи северные границы сложились задолго до продвижения к ним России (и характерно, что, приблизившись к ним во второй половине XIX в. вплотную, Россия не оспаривала их, и за исключением обычных пограничных инцидентов (типа спровоцированного англичанами у Кушки), ни с кем из этих государств войн не вела (это же касается в равной мере и Дальнего Востока, где Приамурье и Приморье были закреплены за Россией договорами без войны). А все то, что находилось между ними и Россией не имело ни устойчивой государственной традиции, ни зачастую вообще признаков государственности (обширные территории закаспийских пустынь и части казахстанских степей были вообще практически незаселенными, «ничейными»), и рано или поздно должно было стать объектом экспансии если не России, то Китая.

Однако на продвижение в южную часть Средней Азии в огромной степени повлияло и другое обстоятельство. Вторая половина XIX в. остро поставила вопрос об англо-русском соперничестве, и политическая принадлежность Средней Азии приобрела с этой точки зрения огромное значение. Вопрос стоял так: или Россия, владея этим регионом, будет угрожать английскому влиянию в Афганистане и Иране и непосредственно английским владениям в Индии (и действительно, кошмар возможного российского вторжения в самую драгоценную часть британской империи даже незначительными силами, что повлекло бы волну восстаний, постоянно преследовал английские власти), — или Англия, прибрав к рукам среднеазиатских властителей, получит возможность нанести удар в самое подбрюшье России, рассекая ее надвое и отсекая от нее Сибирь (что произошло бы в случае успеха попыток поднять против России уральских и поволжских мусульман). То, что Россия опередила Англию, начисто исключив неблагоприятный для себя сценарий, послужило еще одной

опорой ее роли в мире.

В результате выхода к своим естественным границам, завершено к концу XIX в., Россия обрела исключительно выгодное геополитическое положение. Теперь она могла угрожать всем своим гипотетическим противникам из числа великих европейских держав на всех направлениях. Австрии — угрозой провоцирования прорусских выступлений ее славянского населения (что вполне проявилось в ходе Мировой войны), Германии — угрозой предоставления независимости русской Польше и обращения претензий последней на исконно польские земли Германии (именно такое решение было принято в 1914 г. с началом войны), и даже для давления на «труднодостижимую» Англию теперь имелся мощный рычаг (с Францией у России не было геополитических противоречий). В отличие от других европейских держав, колониальные империи которых были разбросаны по всему миру и были как абсолютно чужды им по истории и культуре, так и крайне уязвимы для противников, не имея сухопутной связи с метрополией, Россия представляла собой компактно расположенное государство, окраинные территории которого, даже чуждые культурно и этнически, имели давние, часто многовековые, связи и контакты с русским ядром. Россия не пыталась ни навязывать населению этих территорий свои обычаи и культуру, ни переплавлять их «в едином котле» (напротив, при малейшей возможности предоставляя им, как Хиве и Бухаре, управляться своими традиционными правителями). Характерно, что она при этом практически не имела серьезных проблем со своими азиатскими владениями (единственное серьезное выступление — восстание 1916 г., было даже в условиях военного напряжения сил легко подавлено). Так что, несмотря на отдельные издержки, территориальный рост империи был важнейшим источником ее силы и могущества. Без него она не выдержала бы конкуренции европейских держав еще в XVIII в.

Политический строй России в плане способности страны к выживанию выгодно отличал ее от европейских держав, с которыми ей приходилось иметь дело. Смысл существования всякого государства — в продолжении его существования. Государство, хотя бы теоретически мыслящее себя ограниченным во времени — нонсенс (это же не банда, объединившаяся для ограбления поезда, после чего разбегающаяся). Великие вопросы времени, когда решается, чем будет данное государство в мире и будет ли оно вообще, неизбежно требуют исходить из соображений высших, чем сиюминутная экономическая выгода, благосостояние отдельных слоев населения или даже всего его вместе взятого. Не

обеспечив за собой своевременно жизненное пространство и природные ресурсы (которые на Земле ограничены и неизбежно служат предметом спора с конкурентами), страна не может в дальнейшем рассчитывать на процветание никогда. Но такое обеспечение требует от населения жертв, иногда весьма продолжительных по времени. Поэтому решения, принимаемые во имя высших целей — существования государства в веках и обеспечение безопасности потомков, неизбежно непопулярны в населении. Такие решения может принимать и проводить в жизнь только сильная, неделимая и независимая власть, власть, пребывание которой во главе страны носит не временный характер, а устремлено теоретически в бесконечность (и власть монархическая, естественно, в наибольшей степени отвечает этому образу).

В том случае, когда верховная власть при принятии решений вынуждена оглядываться на оппозицию, или даже постоянно находится под угрозой смещения последней, тем более если носит принципиально временный характер, ограниченная сроком в 4–5 лет, она, как правило, не в состоянии действовать решительно, а обычно и не ставит далеко идущих целей. (Поэтому, кстати, всякая система стремиться максимально «демократизировать» соперничающую, обеспечив себе самой максимальную централизацию и жесткость принятия решений независимо от того, под какой оболочкой это происходит.) Подчиненность единой воле и отсутствие необходимости принимать во внимание при принятии политических решений борьбу партий и какие бы то ни было политические влияния и обеспечили России возможность занять на мировой арене то место, которое она занимала в XVIII — начале XX вв. Именно соединение современного европейского аппарата управления (и вообще всей совокупности военных, технологических и культурных достижений европейской цивилизации) с традиционным самодержавием и дало столь выдающийся эффект.

Опираясь на мощную историческую традицию, российским императорам удавалось гораздо дольше сдерживать разрушительные тенденции, обозначившиеся в европейских странах и приведшие к гибели к XIX в. в ряде стран, а в XX в. и во всей Европе традиционных режимов или «старого порядка». Собственно говоря, только гибель России и положила окончательный конец этому порядку как явлению мировой истории. Тенденции эти (не будем сейчас говорить о субъективных причинах их возникновения) социально везде в Европе были связаны со стремлением набравших экономическую силу и образованных социальных групп занять и политически более значимое место в обществе, т. е. претензиях торгово-

промышленного и «интеллигентского» элемента на равенство с традиционной элитой «старого порядка» — служило-дворянским и духовным сословиями.

Идея «равенства» возникла только поэтому и не предполагала ничего иного, кроме равенства этих элементов («третьего сословия») с двумя первыми. Менее всего «буржуазные» элементы могли иметь в виду свое, скажем, имущественное равенство с основной массой населения. Даже понимая ее опасность и для своих интересов (а она в иных интерпретациях им потом доставила немало неприятностей), никакой иной идеи для разрушения монополии дворянства и духовенства выдвинуть было невозможно. В результате со сменой господствующего элемента формальное неравенство сменилось неформальным. То же с идеей «свободы», таким же оружием наступающего «третьего сословия». Свобода, понятное дело, нужна только тем, кто может хоть как то ею распорядиться: заняться политической деятельностью или хотя бы изрекать что-то общественно значимое, т. е. тем, кому есть что сказать. «Народу» (имея в виду, как это обычно и делается, основную массу населения) свобода не нужна, ибо он при любой власти занимается лишь простым трудом и его интересы не выходят за рамки благоустройства собственного быта и доступных его кругозору развлечений.

Однако технологический и научный прогресс есть процесс объективный и вызываемый им рост численности обслуживающих его «образованных», а, следовательно, и нуждающихся в свободе самовыражения слоев и групп закономерен. Поэтому возникновение и рост печати и журналистики представляются явлением абсолютно неизбежным, равно как неизбежна и оппозиционность значительной их части властям (т. к. такая оппозиционность есть психологически оправданная и понятная форма реализации собственной индивидуальности). Это неизбежные издержки использования государством плодов технического прогресса. Так что возникновение в 60-х годах XIX в. в России антигосударственной журналистско-литературной среды не было, конечно, какой-то аномалией, которой можно было не допустить.

Вопрос в этом случае стоит лишь о соотношении между «свободой» и «порядком». Задача государства сводится к тому, чтобы, дав «выпустить пар», остаться верным своему долгу сохранения государственной целостности. Когда возможность выражения оппозиционных мнений перерастает в «перевоспитание» в соответствующем духе самого государства или в лишение его воли к сопротивлению и отстаиванию принципов своего существования — тогда и только тогда оно гибнет. В

России это случилось достаточно поздно именно потому, что сочетание между «свободой» и «порядком» было более оптимальным, чем в других странах, почему с точки зрения внутреннего развития Россия была дальше от революции, чем любая другая страна, и если бы не война, в ходе которой и противники, и союзники равно были заинтересованы в крушении традиционного режима в России, она бы не произошла еще очень долго.

В России существовала именно та степень «свободы», которая соответствовала ее внутренним условиям. Демократические начала существовали там, где они только и были оправданы — на уровне местного самоуправления — земства. Что же касается «большой политики», то, как отмечал еще Н. Я. Данилевский, для того, чтобы компетентно судить о ней, необходимы как достаточно высокий уровень знаний, так и образ жизни, позволяющий заниматься ею профессионально, чего масса населения никогда и ни при каких обстоятельствах иметь не может. (Нигде реально этого и не бывает, разница только в том, что в одном случае интересы народа выражает традиционная власть, а в другом от его имени правят те, кто сумел ловчее одурачить массы.) Таким образом, населению предоставлялась возможность влиять на те стороны жизни, о которых оно имело адекватные представления, но не допускалась возможность использование невежества массы в целях влияния на государственную политику противниками государства из числа политически активных элементов. С другой стороны, этим элементам была предоставлена практически полная свобода слова, злоупотребление которой, однако, не влияло на решимость властей проводить свой курс. Народ их не читал, а чиновники не слушали, и нигилисты фактически изощрялись перед себе подобными. Не нарушала этих принципиальных установок и Конституция 17 октября 1905 г., поскольку представительные учреждения, нося совещательный характер и являясь механизмом «обратной связи», не угрожали стабильности государства (до тех пор, пока верховная власть сама оставалась на высоте своего положения).

Одним из важнейших факторов, способствовавших политической стабильности было церковно-государственное единство как выражение принципиальной неделимости власти. Настоящая власть всегда неделима. Поэтому понятие «разделение властей» лишено всякого реального смысла. Оно имеет его только в переходные периоды, когда вопрос о власти еще не решен — тогда за каждой из ветвей может стоять одна из борющихся за власть сил. В обществе с «устоявшимся» режимом оно всегда формальность. Что из того, что по закону исполнительная, законодательная и судебная власть будут строго разграничены? Если все они будут состоять,

допустим, из коммунистов (как в СССР), то вся система — работать точно так же, как если бы такого разделения не было, или бы эти органы вовсе не существовали. Точно так же и в демократических странах демократический режим существует только потому и до тех пор, пока все эти органы состоят из его приверженцев (в равной мере служащих интересам одних и тех же реальных политических сил).

Между тем, реальный исторический опыт свидетельствует, что «духовная» власть, т. е. власть церкви как иерархии священнослужителей (в том случае, если она не была формально объединена со светской) никогда не была лишена «земной» составляющей и всегда имела свое политическое выражение, совершенно определенным образом влияя на политическое поведение паствы. Католическая церковь демонстрирует в этом отношении лишь наиболее яркий пример. Хотя православная традиция предполагает безусловный примат светской власти во всех сферах земной жизни, и на Руси гармония между властями не раз нарушалась непомерными претензиями церковных иерархов на «земную» власть. В этом плане византийскому принципу «симфонии властей», как ни парадоксально, в большей мере соответствовал «синодальный» период, которому более всего «не повезло» на оценки.

Не следует, впрочем, забывать, что оценки, которые делаются сегодня, делаются в ситуации, когда российской государственности не существует, а церковная продолжала и продолжает существовать на ее обломках, вынужденная приспособливаться к реалиям бытия. Одно только это обстоятельство более чем объясняет их природу. Ненависть к реально-исторической России ее разрушителей и их наследников неразрывно связана и с неприязнью к существовавшим в ней формам управления церковью. (Доходит до того, что среди наследников иерархов, предавших Империю и радовавшихся своему «освобождению», стала популярна идея о том, что эта «неволя» не дала-де церкви предотвратить революцию.) Порицание синодального периода происходит несмотря даже на то, что именно в это время было достигнуто небывало широкое распространение православия, т. е. в наибольшей степени осуществлена основная миссия церкви — нести свет истины во все пределы ойкумены. Именно и исключительно благодаря императорской власти в лоно православия были возвращены миллионы русских людей на западе и обрели спасения миллионы иноплеменных обитателей южных и восточных окраин России. Кто же принес больше пользы православному делу: те, кто расширил его пределы или те, кто свел к ничтожеству, превратив православную церковь едва ли не в секту (еще и пытаясь обосновать это положение в духе

некоторых «христианских демократов», что гонения и притеснения лишь идут на пользу истинному христианству)?

Достаточно, однако, вспомнить реальную картину идейно-политических настроений в обществе, чтобы представить себе, что бы произошло, не будь церковь столь тесно связана с императорской властью. Как уже говорилось, возникновение и распространение нигилистических настроений было неизбежно, коль скоро существовали СМИ и вообще светское образование. Едва ли можно сомневаться, что при том противостоянии, которое имело место, в случае разделения светской и церковной власти даже малейшее различие в их позициях (даже не идейное, а чисто личностное) привело бы к тому, что либо церковь превратилась бы в прибежище антигосударственных настроений (и всевозможные чернышевские и Добролюбовы были бы не вовне, а внутри нее), либо, наоборот светская власть все более секуляризировалась вплоть до «отделения церкви от государства». Именно официальная нераздельность церкви с государственной властью, когда покушение на одну неминуемо означало покушение на другую, когда государство защищало церковь и веру православную как самое себя (а бороться с покусителями и карать их могло только государство, но не церковь!) спасло церковь от полного упадка. Следует иметь в виду, что «отход от церкви» нигилистических элементов — это отход не столько от церкви, сколько именно от веры, поэтому лукавый довод, что он был порожден именно слишком тесной связью церкви с государством, вполне обличает его носителей, выдавая их желание превратить церковь в орудие борьбы против государства. Но так не получилось, поэтому тенденция противопоставления веры государству вылилась лишь в толстовство; в противном же случае роль толстовства стала бы играть вся церковная структура.

Важнейшей причиной прочности, величия и славы Российской империи был характер и состав ее элиты, особенно ее устроителей и защитников — служилого сословия. Можно выделить по крайней мере три аспекта этой проблемы. Во-первых, основной чертой, отличавшей российскую элиту от элиты других европейских стран была чрезвычайно высокая степень связи ее с государством и государственной службой. И преподаватели, и врачи, и ученые, и инженеры в подавляющем большинстве были чиновниками. Ни в одной другой стране столь широкий круг лиц интеллектуального труда не охватывался государственной службой. Соответствовал этому и характер формирования высшего

сословия — дворянства.

Особенностью российского дворянства (и дворянского статуса, и дворянства как совокупности лиц) был его исключительно «служилый» характер, причем со временем связь его с государственной службой не ослабевала, как в большинстве других стран, а усиливалась. Имперский период в целом отличается и гораздо более весомым местом, которое занимала служба в жизни индивидуума. Если в Московской Руси служилый человек в большинстве случаев практически всю жизнь проводил в своем поместье, призываясь только в случае походов и служил в среднем не более двух месяцев в году, то с образованием регулярной армии и полноценного государственного аппарата служба неизбежно приобрела постоянный и ежедневный характер (к тому же Петр Великий сделал дворянскую службу пожизненной, так что дворянин мог попасть в свое имение лишь увечным или в глубокой старости; лишь в 1736 г. срок службы был ограничен 25 годами). Традиция непрерывной службы настолько укоренилась, что даже после манифеста 1762 г., освободившего дворян от обязательной службы, абсолютное большинство их продолжало служить, считая это своим долгом. Еще более существенным был принцип законодательного регулирования состава дворянского сословия. Россия была единственной страной, где дворянство не только пополнялось исключительно через службу, но аноблирование на службе по достижении определенного чина или ордена происходило автоматически. Причем, если дворянский статус «по заслугам предков» требовал утверждения Сенатом (и доказательства дворянского происхождения проверялись крайне придирчиво), то человек, лично выслуживший дворянство по чину или ордену признавался дворянином по самому тому чину без особого утверждения.

Во-вторых, этот характер высшего сословия повлиял и на качественный состав всего элитного слоя в целом (включающий помимо дворянства и образованных лиц других сословий). Селекция такого слоя обычно сочетает принцип самовоспроизводства и постоянный приток новых членов по принципу личных заслуг и дарований, хотя в разных обществах тот или иной принцип может преобладать в зависимости от идеологических установок. При этом важным показателем качества этого слоя является способность его полностью абсорбировать своих новых сочленов уже в первом поколении. Принцип комплектования российского интеллектуального элитного слоя (предполагавший, что он должен объединять все лучшее, что есть в обществе) соединял наиболее удачные элементы европейской и восточной традиций, сочетая принципы наследственного привилегированного статуса образованного сословия и

вхождения в его состав по основаниям личных способностей и достоинств. Наряду с тем, что абсолютное большинство членов интеллектуального слоя (или «образованного сословия») России вошли в него путем собственных заслуг, их дети практически всегда наследовали статус своих родителей, оставаясь в составе этого слоя. К началу XX в. 50–60 % его членов были выходцами из той же среды, но при этом, хотя от 2/3 до 3/4 их сами относились к потомственному или личному дворянству, родители большинства из них дворянского статуса не имели (в 1897 г. среди гражданских служащих дворян по происхождению было 30,7 %, среди офицеров — 51,2 %, среди учащихся гимназий и реальных училищ — 25,6 %, среди студентов — 22,8 %, ко времени революции — еще меньше.) Таким образом, интеллектуальный слой в значительной степени самовоспроизводился, сохраняя культурные традиции своей среды. При этом влияние этой среды на попавших в нее «неофитов» было настолько сильно, что уже в первом поколении, как правило, нивелировало культурные различия между ними и «наследственными» членами «образованного сословия».

Прозрачность сословных границ имела важное значение для социально-политической стабильности. Россия была единственной европейской страной, где в XVIII–XIX вв. не только не произошло окостенения сословных барьеров (что во Франции, например, случилось в середине XVIII в.), но приток в дворянство постоянно возрастал (свыше 80 % дворянских родов возникли именно в это время, на основе принципов «Табели о рангах»). Постоянное включение лучших элементов всех сословий в состав высшего и доставление им тем самым почета и привилегированного положения, а с другой стороны, включение их одновременно и в состав государственного аппарата, т. е. теснейшее привязывание к государству, предотвращало формирование оппозиционного государству образованного и политически дееспособного «третьего» сословия, отделяющего себя от государственной власти и требующего себе сначала экономических и политических уступок, а потом и подчиняющего себе само государство (как это в острой форме проявилось во Франции и в более мягкой — путем постоянного давления, в других европейских странах).

Это и позволило Российскому государству сохранить в неприкосновенности свой внутренний строй дольше любой другой европейской страны. В России соответствующие настроения вылились всего лишь в формирование специфического убудочного, по сути своей отцепенческого слоя т. н. интеллигенции, которая не только не совпадала с

«образованным сословием», культурно-интеллектуальной элитой страны, но (как хорошо показано еще в «Вехах») являлась их антиподом. Она была чрезвычайно криклива (и потому заметна; этим объясняется тот факт, что в глазах современных публицистов, да и современников несколько десятков террористов, несколько сотен, максимум тысяч писавших журналистов затмевают сотни тысяч молчавших, но законопослушных и верных трону чиновников, офицеров, инженеров, врачей, преподавателей гимназий и т. д.), но политически и экономически совершенно бессильна, и никогда бы не могла рассчитывать на политический успех, если бы обстоятельства военного времени не позволили иностранной агентуре поднять социальные низы.

В-третьих, российская элита представляла собой уникальный сплав носителей исторического опыта разных культурно-национальных традиций — как западных, так и восточных. Присутствие в составе дворянства, чиновничества, офицерского корпуса и вообще всего культурно-интеллектуального слоя выходцев из европейских стран не только облегчало заимствование передового опыта, но и обеспечивало непосредственное его применение. Целые отрасли промышленности были созданы ими, им же преимущественно обязана своим возникновением и развитием и российская наука. (Особенно важную роль закономерно играл такой уникальный по качеству служилый элемент, как остзейское рыцарство. Во второй половине XVIII — первой половине XIX в., т. е. в период наивысшего триумфа русского оружия его доля среди высшего комсостава никогда не опускалась ниже трети, а временами доходила до половины. Из этой среды на протяжении двух столетий вышло также множество деятелей, прославивших Россию в сфере науки и культуры.) Характерно, что эти элементы и вообще иностранные выходцы, принявшие русское подданство, отличались преданностью российской короне и давали существенно более низкий по отношению к своей численности процент участников антиправительственных организаций. Весьма показателен в этом отношении тот факт, что даже во время польского мятежа 1863 года, лишь несколько десятков из многих тысяч офицеров польского происхождения (а они составляли тогда до четверти офицерского корпуса), т. е. доли процента, изменили присяге. Практически не встречалось и случаев измен в пользу единоверцев со стороны офицеров-мусульман во время турецких и персидских войн. Умение российской власти привлекать сердца своих иноплеменных подданных также немало способствовало могуществу империи. Убожеству советской эпохи в значительной мере способствовало, кстати, и то обстоятельство, что в ходе революции именно европейский

элемент в наибольшей степени — практически полностью оказался вне пределов России.

* * *

О величии российской культуры XVIII–XIX вв. говорить, видимо, излишне. Укажем лишь на то, что ее существование непредставимо и невозможно вне государственных и социально-политических реалий императорской России. Невозможно представить себе ни Императорскую Академию художеств, ни русский балет, ни Петербургскую Академию Наук, ни Пушкина, ни Толстого ни в Московской Руси, ни в США, ни даже в современной европейской стране, или в прошлом веке, но в державе, размером со Швейцарию или пресловутое «Нечерноземье». Люди, создавшие эту культуру, каких бы взглядов на Российскую империю ни придерживались, были, нравилась она им или нет, ее, и только ее творением.

Культура империи была аристократична, но аристократизм вообще есть основа всякой высокой культуры. Нет его — нет и подлинной культуры. (Вот почему, кстати, народы, по какой-либо причине оказавшиеся лишенными или никогда не имевшие собственной «узаконенной» элиты — дворянства и т. п., не создали, по-существу, ничего достойного мирового уровня, во всяком случае, их вклад в этом отношении не сопоставим с вкладом народов, таковую имевшими.) В условиях независимого развития нация неизбежно выделяет свою аристократию, потому что сама сущность высоких проявлений культуры глубоко аристократична: лишь немногие способны делать что-то такое, чего не может делать большинство (будь то сфера искусства, науки или государственного управления). Наличие соответствующей среды, свойственных ей идеалов и представлений абсолютно необходимо как для формирования и поддержания потребности в существовании высоких проявлений культуры, так и для стимуляции успехов в этих видах деятельности лиц любого социального происхождения.

Вообще, важно не столько происхождение творцов культурных ценностей, сколько место, занимаемое ими в обществе. Нигде принадлежность к числу лиц умственного труда (особенно это существенно для низших групп образованного слоя) не доставляла индивиду столь отличного от основной массы населения общественного положения, как в императорской России. Общественная поляризация

рождает высокую культуру, усредненность, эгалитаризм — только серость. Та российская культура, о которой идет речь, создавалась именно на разности потенциалов (за что ее так не любят разного рода «друзья народа»). Характерно, что одно из наиболее распространенных обвинений Петру Великому — то, что он-де вырыл пропасть между высшим сословием и «народом», — формально вполне вздорное (ибо как раз при нем была открыты широкие возможности попасть в это сословие выходцам из «народа», тогда как прежде сословные перегородки были почти непроницаемы), имеет в виду на самом деле эту разность, без которой не было бы ни «золотого», ни «серебряного» века русской культуры. Эти взлеты стали возможны благодаря действию тех принципов комплектования культурной элиты, которые были заложены в России на рубеже XVII и XVIII вв.

Российская империя была единственной страной в Европе, где успехи индивида на поприще образования (нигде служебная карьера не была так тесно связана с образовательным уровнем) или профессиональное занятие науками и искусствами законодательно поднимали его общественный статус вплоть до вхождения в состав высшего сословия (выпускники университетов, Академии Художеств, ряда других учебных заведений получали права личного дворянства, остальные представители творческих профессий относились как минимум к сословию почетных граждан, дети ученых и художников, даже не имеющих чина и не принадлежащих к высшему сословию, входили в категорию лиц, принимавшихся на службу «по праву происхождения» и т. д.). В условиях общеевропейского процесса формирования новых культурных элит (литературной, научной и др.) вне традиционных привилегированных сословий (развернувшегося с конца XVII в.) эта практика не имела аналогов и была своеобразной формой государственной поддержки развитию российской культуры.

* * *

Хотя история не имеет сослагательного наклонения, предположение о том, что в случае сохранения Российской империи и ход мировой истории, и судьбы традиционного порядка как социальной ценности могли бы оказаться совершенно иными, едва ли будет слишком смелым. Разумеется, под воздействием общемирового процесса технологических изменений, она бы претерпела определенную трансформацию, но нет оснований предполагать, что изменились бы те принципы, которые и в начале нашего

столетия делали ее бастионом традиционного порядка. Думается даже, что этот порядок обрел бы в российском опыте новое дыхание: Россия могла бы дать миру пример и образец сочетания его с реалиями современного мира. Но и без того значение исторического бытия и во многом уникального опыта Российской империи огромно. Даже если ей никогда не удастся возродиться, Российская империя останется в истории мировой цивилизации ярким и значимым явлением, а ее государственный опыт еще станет образцом для подражания и будет восхищать людей, приверженных тем основам, на которых зиждился традиционный миропорядок. Вот почему наследие ее (во всем своем конкретном и многообразном воплощении все еще ждущее своих исследователей и апологетов) достойно самого тщательного изучения.

1995 г.

Русское освободительное движение на весах истории

До настоящего времени история Русского освободительного движения остается, пожалуй, самой малоизвестной темой для российского населения. Хотя и по масштабам и по историко-политическому значению оно таково, что едва ли может быть вычеркнуто из истории страны. Вообще все то, что связано с историей 2-й мировой войны представляет для современной идеологии «зону повышенной опасности» как по субъективным соображениям (участники событий в значительной мере еще остаются в активной политике), так и по объективным (современный мир целиком обязан своим положением итогам минувшей войны, и любой пересмотр созданных стереотипов означает посягательство на них).

Вот почему, если «постсоветский» (а на самом деле все еще советский) человек сейчас привычен к информации о зверствах коммунистического режима, кое-что знает о подлинной истории Гражданской войны и русской эмиграции, то информация о том, что в первые недели войны население встречало немецкие войска хлебом-солью и рассматривало их как освободителей воспринимается (если вдруг откуда-нибудь доходит) как откровение или заведомая ложь. Такие книги, как «История власовской армии» Й. Хоффманна и «Генерал Власов и русское освободительное движение» Е. Андреевой в России почти совершенно не известны никому, кроме специалистов. Советская пропаганда настолько успешно сделала свое дело, что массовое сознание не способно даже просто задуматься над достаточно широко известным фактом участия более миллиона советских военнослужащих в войне на стороне германской армии. Ничего подобного в российской истории никогда не было, и, казалось бы, одно это обстоятельство должно навести на мысль, что что-то здесь не так, заставить задуматься о мотивах «предательства».

Советские идеологи никогда не могли придумать ничего лучше, чем сводить эти мотивы к каким-то корыстным соображениям. Однако Россия много раз воевала с самыми разными противниками, и никогда почему-то охотников перейти к врагу по этим соображениям не находилось, несмотря на то, что прежние противники не окрашивали своей войны с Россией в расистские тона. А, тем не менее, несмотря даже на все эти обстоятельства, объективно затрудняющие переход на сторону немцев, сотни тысяч советских людей с оружием в руках боролись против Красной Армии.

Более того, даже в самом конце войны, когда ее исход ни у кого уже не вызывал сомнения, приток добровольцев в РОА не уменьшился, в т. ч. и за счет перебежчиков с фронта. Остается только сделать нелепый вывод, что процент корыстолюбцев вдруг в середине XX в. каким-то образом сказочно возрос — или догадаться-таки, что дело, может быть, в самом советском режиме.

Апологеты советского режима для затушевывания сущности РОА акцентируют внимание на том, что ее составляли «изменники», обычно рассматривая феномен власовской армии в отрыве от других частей освободительного антисоветского движения. Между тем, в политическом плане РОА была явлением того же порядка, что Русский Корпус на Балканах, 1-я Русская национальная армия генерала Б. А. Хольмстона-Смысловского, формирования генерала А. В. Туркула, Казачий стан, 15 Казачий кавалерийский корпус и другие более мелкие формирования, полностью или в значительной мере состоявшие из старых эмигрантов и вообще лиц, никогда в Красной Армии не служивших, к которым этот термин уж никак не применим. То есть речь идет о том, что в те годы существовало широкое антисоветское освободительное движение, и РОА представляла в нем лишь одну часть участников, — ту часть, которая состояла в основном из бывших советских военнослужащих.

То обстоятельство, что РОА была движением именно советских людей, и придает особую остроту восприятию ее советской пропагандой, которой проще было объяснить борьбу против Советов русской эмиграции, но оказывавшейся в сложном положении перед лицом столь очевидно рушащегося «монолитного единства советского народа» и его преданности «родной советской власти». Как писал ген. Хольмстон-Смысловский: «Для большевиков это было страшное явление, таившее в себе смертельную угрозу. Если бы немцы поняли Власова и если бы политические обстоятельства сложились иначе, РОА одним своим появлением, единственно посредством пропаганды, без всякой борьбы, потрясла бы до самых основ всю сложную систему советского государственного аппарата».

Это было движение людей, испытывавших на себе в течение многих лет все прелести коммунистической власти, и настроенных потому особенно непримиримо к советскому режиму. «Свежесть восприятия» во многом способствовала активности антисоветской борьбы. Весьма характерно, что в то время, как в среде эмиграции к концу 30-х годов успели пустить корни примиренческие тенденции (особенно наглядно выразившиеся в деятельности «евразийцев» и «младороссов»), с началом войны вылившиеся в так называемое «оборончество», то наиболее радикальными

сторонниками «пораженчества» были лишь недавно вырвавшиеся из Совдепии братья Солоневичи. И. Солоневич, как известно, не только резко противостоял «оборонческим» настроениям и отстаивал необходимость использовать любую возможность для свержения советской власти, но и настаивал на необходимости вести активную вооруженную борьбу против Красной Армии, диверсионную деятельность в ее тылу и т. д. (в некотором смысле его поэтому можно считать идейным предшественником РОА). Не случайно и после войны бывшие члены РОА оставались одной из самых стойких категорий антисоветского фронта.

Очевидно также, что Русское освободительное движение не только не имело никакого отношения к нацизму, но возникло вопреки ему, да иначе и быть не могло, потому что это было русское национальное движение и его цели и сам факт существования находились в вопиющем противоречии с идеологией и практикой гитлеризма. Фактическая история создания РОА убедительно свидетельствует, что ее становление шло в непрерывной борьбе между двумя тенденциями в германском руководстве: партийно-нацистской и военно-государственной. И РОА возникла при поддержке именно той части германского офицерства, которое было противником идеологии и политики национал-социалистической партии, тогда как партийно-идеологическое руководство всячески препятствовало возникновению РОА и тормозило ее создание вплоть до самого конца войны, когда уже надежд на победу фактически не оставалось. Делалось это по той же самой причине, по которой власовское движение было столь опасно для советской системы: появление вместо Совдепии национальной русской силы сразу изменило бы сам характер войны и неминуемо сказалось бы на ее ходе. По этим же причинам нацистское руководство не допустило на советский фронт части Русского Корпуса.

Среди поддерживающих власовское движение немецких офицеров было, кстати немало выходцев из России, в том числе служивших до революции в Российской Императорской армии. Союз этой части немецкого офицерства с русским освободительным движением совершенно естествен и служил олицетворением тяги к русско-германскому союзу, идея которого, как известно была распространена среди правых русских политических кругов до и после 1-й мировой войны и находила отклик и среди части германского истеблишмента (особенно военного), не связанного с гитлеровской партией. Хорошо известно, кстати, что после революции в то время, как чисто политические деятели Германии относились равнодушно к борьбе белых армий с большевиками и предпочитали придерживаться соглашений с ленинским правительством, то

целый ряд представителей военного командования и широкие круги офицерства весьма сочувственно относились к антибольшевистским формированиям (состоящим из их недавних противников и даже продолжающих находиться в состоянии войны с Германией), вплоть до того, что иногда вопреки официальной политике помогали им и снабжали оружием. Не случайно поэтому, что именно та часть германского офицерства и генералитета, которая поддерживала РОА и чье понимание государственных интересов Германии, лишенное расистских черт гитлеровского национал-социализма, основывалось на идее возможности союза с национальной Россией, приняла участие в июльском заговоре 1944 года против Гитлера (что, понятно, еще далее отодвинуло возможность создания РОА).

Тем не менее, отношение к Русскому освободительному движению периода 2-й мировой войны и РОА в частности в современном массовом сознании остается крайне негативным. В принципе единственная среда, полностью с ним солидарная, — это русская белая эмиграция и те немногие лица и организации в России, которые стоят на позициях Белого движения. Еще Хольмстон-Смысловский говорил, что Власов был продолжателем Белой идеи в борьбе за национальную Россию. Сразу после войны, правда, среди части «старых» эмигрантов распространился вирус так называемого «советского патриотизма», следствием чего были даже случаи содействия советским оккупационным властям в розыске и выдаче эмигрантов «второй волны» и особенно военнослужащих РОА. Однако вскоре «советским патриотам», вернувшимся в СССР, «воздалось по их вере», и это позорное явление, обнаружив свою несостоятельность, умерло. И в настоящее время для всех национальных русских изданий и организаций за рубежом бойцы РОА — герои и патриоты. Это тем более естественно, что абсолютное большинство ныне активной части эмиграции в годы 2-й мировой войны либо сами принимали участие в антикоммунистической борьбе, либо являются их потомками.

Внутри России, за указанным исключением, до сих пор сохраняется негативное отношение, что совершенно понятно, ибо исходит из сущности современного российского общества и государства как все еще гораздо более советских, чем национально-ориентированных. Для советской же идеологии власовское движение наиболее страшно как пример борьбы уже в советском обществе. Более того, оно остро ставит вопрос о сущности советского режима как антироссийского — и это в то время, когда он, эволюционировав с конца 30-х годов в национал-большевистский, всегда выдвигал обвинение своим противникам как раз в «антипатриотизме». Как

ни смехотворно это звучало в устах партии, ради мировой революции уничтожившей российскую государственность (о какой вообще «измене» можно было после этого говорить!?), но в условиях стопроцентной монополии на информацию коммунисты даже белым ставили в вину сотрудничество с «интервентами», а тем более — РОА.

И вот наследники пораженцев в 1-й мировой войне до сих пор демагогически вопрошают — как же можно было выступать против пусть не нравящегося, но своего правительства во время войны с внешним врагом? Откровенный же ответ на этот вопрос более всего и невыносим для советчиков, ибо он гласит: в 1917 году было свергнуто русское правительство и разрушено российское государство, что было с патриотической точки зрения недопустимо никакими методами — равно преступно как с помощью внешнего врага, так и без нее. А вот свергнуть установившуюся антироссийскую власть в виде советчины с той же точки зрения не только можно, но и должно — любыми средствами. Признать эту логику — значит признать, что Совдепия — не Россия, но АнтиРоссия. Признать правомерность власовского движения — значит признать советскую власть в принципе, в основе своей антипатриотичной, а это ей — как нож острый.

Понятно, что нынешняя российская власть, ведущая свою родословную не от исторической российской государственности, а от преступного советского режима, вынуждена отнести к русскому освободительному движению точно так же, как относился к нему этот режим. Потому под «реабилитацию» всевозможных «жертв политических репрессий» участники Русского освободительного движения не попали. В общем это логично. «Демократизировавшийся» советский режим реабилитирует необоснованно пострадавших «своих» (реабилитация, собственно, и означает, что они пострадали «неправильно», и врагами режима на самом деле не были). Но бойцы РОА, как и ранее белых армий, были именно врагами и для режима «чужими», и о «реабилитации» их продолжающим существовать враждебным режимом говорить неуместно. Просто из этой ситуации явствует, какой именно это режим. Если бы он действительно, как любит представлять, возник в противовес тоталитарной коммунистической диктатуре, то отношение к людям, против нее боровшимся, было бы, понятно, совсем иным.

Столь же стойкой неприязнью к освободительному движению отличается так называемая «патриотическая оппозиция» нынешнему режиму, идеологией которой является национал-большевизм, то есть та же самая идеология, которой руководствовался во время войны сталинский

режим, воззавший к «великим предкам», славословивший русский народ и мимикрировавший под старую Россию — тот режим с которым непосредственно и боролось это движение. Для советского патриотизма всякий другой убийственен, ибо он может казаться убедительным только в отсутствие «нормального» патриотизма. Правда, обстоятельства последних лет заставляют национал-большевистскую оппозицию создавать впечатление, что она объединяет «все патриотические силы», и некоторые ее представители иной раз в «экспортных» статьях, предназначенных для русского зарубежья, отзываются о «второй эмиграции» вполне благожелательно. Но бесполезно было бы искать в их печатных органах в России от «Дня» до «Нашего современника» апологии РОА. В лучшем случае они «готовы поверить» в искренность намерений власовцев, нисколько не оправдывая их действий. Это все, впрочем, совершенно нормально, потому что люди, считающие «своими» победы советского режима, никогда не смогут искренне примириться с теми, кто этим победам, мягко говоря, препятствовал. Дело здесь даже не обязательно только в приверженности коммунистической идеологии, а в принадлежности (во многих случаях не демографической, а духовной) к «поколению советских людей, боровшихся с фашизмом». Даже И. Шафаревич — самое некрасное, что есть в этой среде, счел нужным выразить свое негативное отношение к власовцам как к «людям, которые стреляли в своих». Именно здесь проходит грань между, скажем, А. Солженицыным и «патриотическими писателями», то есть между последовательными антикоммунистами и людьми, при всех оговорках все-таки принимающими «советское» как «свое». Отношение к русскому освободительному движению в годы 2-й мировой войны может служить в этом вопросе безошибочным тестом.

Подобно тому, как национальный характер движения не искупает в глазах национал-большевиков борьбы РОА против советского режима, так и борьба власовцев против коммунизма не искупает национального характера РОА в глазах «демократической общественности». Национальные лозунги, да еще в сочетании с сотрудничеством с национал-социалистской Германией вызывают, понятное дело, аллергию у страдающих «антифашистским синдромом». Так что и с этой стороны участникам Русского освободительного движения не приходится ожидать признания. В неприязни к ним, таким образом, трогательно сходятся политические силы, провозглашающие друг друга злейшими врагами. Но это тоже закономерно, коль скоро победа во 2-й мировой войне есть равно победа и для людей, почитающих онтологическим противником «энтропийный Запад», и для самого этого «Запада».

С отношением к РОА связана тесным образом проблема «Россия и Германия». И в зависимости от того, как она решается, складывается отношение к власовскому движению различных патриотических группировок, декларирующих национальный патриотизм несоветского толка. Спектр мнений здесь тоже достаточно широк: от подтверждения примером РОА правоты собственных национал-социалистических убеждений до взгляда на власовское движение как на олицетворение разделяемой ими идеи русско-немецкого союза. Но такие группировки не составляют пока заметной части российского политического спектра, остающегося вполне советским.

Из изложенного можно заключить, что не только апологетическая, но и просто объективная оценка Русского освободительного движения станет возможной только с окончательной ликвидации советчины. Напрасно некоторые полагают, что общественное сознание никогда не примирится с РОА. Психология общества весьма изменчива, и то, что казалось общепризнанным и «вечным» всего лишь 10–20 лет назад, ныне воспринимается как чепуха, или же вообще об этом никто не помнит. Сейчас, особенно молодому поколению, даже трудно себе представить, каковы были настроения, допустим, перед войной. Казалось, что так всегда и было «монолитное единство». И то, что очень значительное число людей заранее готово было перейти к немцам, выглядит почти невероятным. Но так было.

До войны в составе населения абсолютно преобладали люди, еще лично помнящие старую Россию. Кроме того, большая часть антисоветски настроенных людей покинула СССР в ходе войны. Это и привело к тому, что в обществе утвердились нынешние стереотипы. Коренной перелом общественной психологии произошел в 50–60-е годы, когда, во-первых, в активную жизнь вошло первое чисто советское поколение (родившихся в 20–30-х годах), а, во-вторых, произошло привыкание к мысли, что советский режим — навсегда. Однако в будущем ситуация неизбежно изменится по тем же, отчасти «демографическим», причинам. Советчина, хотя и продолжает господствовать ныне, но, что очень важно, перестала воспроизводиться. Люди, родившиеся в 50–60-е годы, представляют в целом качественно иное поколение. Если из людей более старшего возраста только единицы имели силу и волю сделаться настоящими антикоммунистами, то те, кто заканчивал школу в 70-х — гораздо менее идеологически изуродовано. Недаром среди национал-большевистских идеологов лица моложе 40 встречаются довольно редко. Смена поколений — вообще важнейшая причина идеологических сдвигов в обществе.

Относительно более терпимое отношение к Белому движению времен Гражданской войны помимо прочего объясняется и тем обстоятельством, что люди, непосредственно воевавшие против него, давно исчезли, а те, кто воевал против РОА — в массе живы и даже занимают еще много ведущих позиций в идеологии и культуре.

Нет ничего более ошибочного, чем воспринимать современное состояние общественного мнения как вечное. Оно в огромной степени зависит от идеологических установок существующей власти. Могли же большевики успешно изображать из себя патриотов для большинства населения подвластной им страны, несмотря на свое поведение в годы 1-й мировой войны и самой сущности их доктрины, принципиально интернациональной и антироссийской. И ничего — сходило! А сама эта война — Вторая отечественная — не превратилась ли в массовом сознании в позорную «империалистическую», так что подвиги на ней русских воинов не то что даже были забыты, а вообще как бы не имели права на существование? Это было их общество и они формировали его мнение, как хотели. Когда их последыши окончательно исчезнут с политической жизни — изменится и отношение ко 2-й мировой войне, подобно тому, как несколько лет назад начало меняться отношение к 1-й.

Отношение к Русскому освободительному движению может, таким образом, измениться только со сменой отношения ко всей 2-й мировой войне, к ее смыслу и итогам. До сих пор этому мешает как установившийся в результате нее «новый мировой порядок», так и сохранившаяся в неприкосновенности советчина в России. Но ни то, ни другое не вечно. Со временем станет возможно более свободное, без оглядок на различные «синдромы» и психологические комплексы, изучение всех сложных вопросов этой войны. Тогда и будет по достоинству оценено и развернувшееся в те годы Русское освободительное движение.

1995 г.

Советский хам о российском дворянстве

Свою статью «Из грязи в князи, или Триста лет КПСС» («Общая газета», 1996, № 5) В. Сироткин предваряет замечанием, что бывших членов партии такой заголовок эпатирует: «Эка, хватил профессор!». Членом партии, в отличие от автора мне быть не довелось, и если что меня и эпатирует, то совсем не то, что имеет в виду В. Сироткин. К вульгарным аналогиям, к каковым относится и отождествление старой России с коммунистической, а советской номенклатуры с дворянством и чиновничеством (а именно к этому сводится пафос сироткинской статьи) мы уже привыкли. Подобные вещи являются одним из краеугольных камней комплекса убеждений полуграмотной либерально-интеллигентской среды как на Западе, так и особенно в России. Неприязнь к российской государственности, принимающая в этой среде подчас патологические формы, соединенная с невежеством и привычкой мыслить экстравагантными метафорами, каких только текстовых монстров не порождает. Спорить с легковесным умствованием людей, не знакомых с конкретными реалиями и привыкших рассуждать «вообще», и доказывать, что чиновно-сословная структура традиционного общества как институт сугубо формальный, в корне противоположна феномену номенклатуры как явлению политико-идеологическому и предельно неформальному, бессмысленно (а кто, как М. Восленский, хоть сколько-нибудь специально этим занимался, в этом и так не сомневается).

Эпатировать способно здесь только редкое невежество. Тут-то профессор действительно «хватил» — это явно ниже среднего уровня советского доктора наук. Было бы, наверное, наивно ожидать от советского ученого знакомства с Законами о состояниях, Уставом о службе гражданской или статутами российских орденов и т. п. элементами «предыстории». Однако В. Сироткин обнаруживает незнакомство даже с советскими книжками по теме, на которую берется рассуждать, и ухитряется излагать достаточно известные вещи с точностью «до наоборот».

Основная задача сироткинской статьи — показать, что Россия такая непутевая страна, что даже разумные элементы опыта европейских стран на российской почве дают отвратительные всходы. Соответственно российские служилые сословия — дворянство и чиновничество как его часть — выглядят под пером Сироткина как сброд невежественных и

честолюбивых проходимцев. Каким образом великая империя, имея такую администрацию, могла столетиями процветать, увеличивая свое могущество, остается только догадываться. Но совершенно чудовищные по нелепости мифы, стали, увы, общим местом в современной публицистике. Достаточно упомянуть пропагандировавшуюся тем же автором «теорию» о происхождении интеллигенции из противостояния «образованных разночинцев» и «невежественных чиновников» (не пускавших первых в свою «касту»). Тогда как на самом деле чиновничество комплектовалось главным образом как раз этими «образованными разночинцами» и вообще было наиболее образованным слоем в России (кстати, не только до 90 % деятелей российской науки и культуры происходило из этой среды, но и подавляющее большинство их сами были чиновниками и офицерами).

Надо совершенно не представлять себе исторических реалий, чтобы, говоря о введении Петром I «Табели о рангах», написать такое: «в ряды этих первых „новых русских“ коренное русское дворянство, в отличие, скажем, от „дворян мантии“ во Франции, толпами не повалило — у них были другие источники доходов (поместья, крепостные)». Между тем, дело обстояло прямо противоположным образом. «Дворянами мантии» во Франции назывались не «коренные» дворяне, толпами повалившие на службу (это Сироткина «кто-то обманул»), а как раз те лица (как правило, недворянского происхождения), которые получили дворянство в результате занятия бюрократических должностей (при том, что «коренные» дворяне могли при желании вообще не служить, это во Франции они могли жить на доходы от поместий). В России же в то время служба для дворян была **обязательной** (при Петре и пожизненной), и когда она была оформлена «Табелью о рангах», для старого дворянства ничего не изменилось; вопрос о том, «повалить» ли на службу, просто не стоял: неслужащий дворянин (кроме калек и малолетних) не мог владеть помещьем и вообще быть дворянином (в принципе, он мог и не выслуживать чинов, предусмотренных «Табелью», но тогда до конца жизни оставался рядовым солдатом). Кстати сказать, и после Манифеста 1762 г. абсолютное большинство дворян служило.

Дворянство и чины в России (в отличие от некоторых стран) не продавались. Они могли жаловаться за заслуги в развитии искусства и промышленности. И купцы их не «покупали», «строя больницу, библиотеку, а затем даря ее державе», как в меру своего понимания пишет Сироткин о мотивах деятельности знаменитых русских меценатов. Между прочим, далеко не все такие лица, получившие за заслуги на ниве благотворительности соответствующий чин, обращались за утверждением

в дворянстве.

Не следовало бы всуе писать о том, о чем знаешь понаслышке. Сироткин почему-то полагает, что личное дворянство давалось «с 9-го чина — титулярный советник или штабс-капитан до 1845 г., когда Николай I поднял планку до 6-го чина — коллежского советника или полковника». На самом деле личное дворянство гражданские чины с 9-го по 6-й класс включительно приносили не **до**, а **после** 1845 г. (до 1845 г. его приносили чины с 14-го по 9-й класс). Упоминание чинов штабс-капитана и полковника в этой связи совершенно неправомерно: никаких «или» тут не было, ибо права военных и гражданских чинов в отношении получения дворянства всегда были различны. На военной службе уже самый первый офицерский чин прапорщика давал потомственное дворянство, а после 1845 г. — личное; до полковника «планка была поднята» для получения не личного, а потомственного дворянства, и не в 1845, а в 1856 г. Впрочем, о разнице между личным и потомственным дворянством Сироткин также имеет весьма смутное представление. Во-первых, вопреки его утверждению, личное дворянство передавалось и жене, во-вторых, потомственное отличалось от личного не тем, что было «пожизненное для всех членов семьи» (пожизненным было и личное), а тем, что передавалось по наследству.

Той же степени достоверности и другие положения статьи. Возможность получения дворянства за военные заслуги появилась не «со времен Екатерины II» — с самого начала законодательство предусматривало это в качестве основного канала пополнения дворянства (с екатерининских времен, кстати, доля офицеров недворянского происхождения как раз резко сократилась). Орденом Св. Георгия (все кавалеры его известны поименно) «унтер-офицеры и даже простые солдаты-рекруты» не награждались, а «Знак отличия Военного ордена» для последних был учрежден не в 1801, а в 1807 г. Словосочетание «мелкопоместный личный дворянин» (тем более применительно к представляющим как раз старое поместное дворянство гоголевским помещикам) абсурдно: поместьями могли владеть только потомственные дворяне. Институт почетного гражданства появился в начале XIX в. и к «Табели о рангах» прямого отношения не имеет, равно как и «почетные звания». Ни дворянство, ни почетное гражданство, ни звания, ни статус «причисленных к министерствам», не были сопряжены с материальными приобретениями, и называть это системой «кормушек» просто нелепо.

Совершенно смехотворно утверждение, что «реформатора М. М. Сперанского» (кстати сказать, из тех самых, по выражению Сироткина,

«бюрократических графьев», над которыми он так издевается) обвинили в измене и сослали за предложение ввести экзамены на чин. Во-первых, опала его была вызвана совершенно иными причинами, во-вторых, последовала в 1812 г., тогда как соответствующий проект появился несколькими годами раньше, в-третьих, речь шла лишь о порядке производства в чины 8-го и 5-го классов, в-четвертых, — и самое главное — проект Сперанского не только не был осужден государственной властью, но был принят, облечен в форму императорского указа от 6.08.1809 г. и действовал до 1834 г., когда был заменен «Положением о порядке производства в чины по гражданской службе», еще более ставящим продвижение по службе в зависимость от образования.

Заявления Сироткина об отсутствии в России заботы об образовании чиновников порождены тем же невежеством, что и все остальные его высказывания. Здесь дело обстояло также противоположным образом. Разумеется, уровень образования государственных служащих связан с общим состоянием образования в стране. Но ни в одной другой стране на государственной службе не было таких льгот по образованию, как в России, и нигде столь большая доля образованных людей не находилась на государственной службе. Сетовать, что в «Табели о рангах» отсутствовали «экзамены на чин» — вполне бессмысленно: она представляла собой лишь расписание чинов и должностей по классам. Во времена ее введения, кстати, экзаменов на чин не существовало и во Франции. Но уже с 1737 г. трижды — в возрасте 12, 16 и 20 лет осуществлялась проверка знаний всех молодых дворян, причем имеющие достаточное образование могли 16 лет поступать на гражданскую службу, а оставшиеся необученными до 20 сдавались в матросы без права выслуги. В дальнейшем именно уровень образования служил важнейшим фактором, обеспечивавшим быстроту чиновной карьеры в России. В то время, как все лица, независимо от происхождения (в том числе и дворяне), обязаны были начинать службу канцеляристами (то есть не получали даже чина низшего XIV класса), то выпускники классических гимназий получали чин XIV класса сразу, а высших учебных заведений — сразу получали чин XII класса (окончившие со званием действительного студента) и даже X класса (окончившие со званием кандидата). Имевшие ученую степень магистра получали сразу чин IX класса, а доктора — VIII класса. И вся система чинопроизводства базировалась на льготах по образованию: по закону 1834 года сроки производства в следующие чины для лиц с высшим образованием были более чем вдвое короче.

Скорее, имела место другая крайность. Преимущества по службе

образованным людям были настолько велики, что это вызывало беспокойство за другие сферы жизни общества. Департамент законов в 1856 году констатировал, что такое положение «окончательно увлекло в службу гражданскую всех просвещенных людей, человек образованный не остается теперь ни купцом, ни фабрикантом, ни помещиком, все они идут в службу», и что в этом случае «Россия вперед не пойдет ни по торговле, ни по промышленности, ни по улучшению земледелия». Поэтому ускоренное чиновничество решено было отменить, оставив, однако, льготы при получении первого чина.

Наконец, выражение «из грязи в князи» подразумевает неожиданно и ненормально быстрое возвышение лица не чуть более низкого, а самого низкого положения. В российской истории случаи такие бывали, но они, во-первых, единичны, а, главное, представляли собой как раз вопиющее противоречие принципам, лежащими в основе «Табели о рангах». Поэтому применять его по отношению к получению дворянства на основе «Табели о рангах» совершенно неуместно, ибо оно как раз предполагало многолетнюю фактическую принадлежность человека к той среде, в которую он затем актом аноблирования и формально переводился. Конечно, отдельные представители древних родов, например, кн. М. Щербатов, кн. Б. Васильчиков или Пушкин могли косо смотреть на слишком широкое, как им казалось, пополнение дворянства, но Владлен Сироткин в этом ряду выглядит, скажем так, несколько странно и не вполне уместно. Он, кстати, совершенно напрасно полагает, что образовательный уровень аноблируемых лиц был в целом ниже, чем средний уровень дворянства: если он «намного уступал, скажем, Вяземскому, Лермонтову или Тургеневу», то это не значит, что тем же уровнем обладало всё старое дворянство, половина которого по уровню благосостояния мало отличалась от крестьян, а значительная часть лично обрабатывала землю.

Вообще зубоскальство Сироткина по поводу приобретения дворянства службой неумно и смешно, потому что лишний раз показывает незнание им элементарных вещей: суть дворянства в том, что это служилое сословие, только так оно, при всех различиях в деталях законодательства, во все времена и во всех странах и приобреталось. То, что в XIX в. всё большее значение приобретает служба гражданская — тоже явление исторически закономерное. Так что даже если очень хотелось лишний раз облаять российскую государственность, лучше бы ему было выбрать какой-нибудь другой, не требующий хотя бы некоторых конкретных познаний повод.

Российское служилое сословие и его конец

Служилый слой, которым располагала дореволюционная Россия, своей структурой и основными характеристиками обязан реформам Петра Великого, хотя в ходе последних смены служилого сословия в целом не произошло. Люди, являвшиеся опорой реформатора, принадлежали за единичными, хорошо известными исключениями к тем же самым родам, которые составляли основу служилого дворянства и в XVII веке (была нарушена разве что монополия нескольких десятков наиболее знатных родов — самой верхушки элиты на занятие высших должностей). Состав Сената, коллегий, высших и старших воинских чинов практически полностью состоял из прежнего русского дворянства (не считая иностранцев, пребывание коих на русской службе тогда в подавляющем большинстве случаев было временным). Так что прежнее дворянство (насчитывавшее на рубеже XVII–XVIII вв. примерно 30 тыс. чел.) составило основу и пореформенного офицерства и чиновничества, которые в совокупности и будут ниже условно именоваться «служилым сословием».

Не изменив первоначально персонального состава, реформы коренным образом изменили принцип комплектования служилого сословия, широко открыв в него путь на основе выслуги и положив начало процессу его постоянного и интенсивного обновления (в начале 1720–х годов недворянское происхождение имели до трети офицеров, во второй половине XVIII в. около 30 %, в первой половине XIX в. примерно 25, в конце XIX в. — 50–60, среди чиновников недворянского происхождения в середине XVIII в. было более 55 %, в начале — середине XIX в. — 60, в конце XIX в. — 70 %), так что к началу XX в. 80–90 % всех дворянских родов оказались возникшими благодаря этим реформам. Неофиты полностью абсорбировались средой, в которую вливались, и не меняли ее характеристик в каждом новом поколении, но в целом это была уже новая элита, отличная по психологии и культуре от своих предшественников XVII в. Кроме того, на состав служилого слоя оказало сильнейшее влияние включение в состав России в XVIII — начале XIX вв. территорий с немецким (остзейским), польским, финским (шведское рыцарство), грузинским и иным дворянством, а также то, что с середины XIX в. он далеко не ограничивался дворянством (лишь до половины и менее членов его относились к личному или потомственному дворянству). В широком смысле служилое сословие охватывает не только офицерство и ранговое

чиновничество, но и социальные группы, являвшиеся основными поставщиками их членов: сословия потомственных и личных дворян, «обер-офицерских детей» и почетных граждан.

Наряду с тем, что большинство членов служилого слоя России вошли в него путем собственных заслуг, их дети практически всегда наследовали статус своих родителей, оставаясь в составе этого слоя. Особенно это касается офицерства. Обычно, даже если родоначальник получал дворянство на гражданской службе, его потомки служили офицерами, и род превращался в военный, гражданское же чиновничество в значительной мере состояло из представителей служилого сословия в первом поколении. В XIX в. дворянских родов, чьи представители находились преимущественно на военной службе, было больше, чем тех, среди которых преобладали гражданские чиновники (существовали роды, представители которых из поколения в поколение служили только офицерами, во многих семьях все мужчины — отец, братья, дяди, двоюродные братья и т. д. были офицерами); родов, где было примерно равное число офицеров и гражданских чиновников, значительно меньше, чем преимущественно военных или гражданских.^[1] Но к концу столетия эта тенденция ослабела. Можно отметить, что дворянские роды даже недавнего происхождения, но чисто служилые (чьи представители из поколения в поколение жили только на жалованье, не имея недвижимости) обычно превосходили по проценту членов рода, достигших высших чинов, более старые роды, владевшие собственностью. К началу XX в., при том, что многие старые дворянские роды дали по несколько сотен офицеров и чиновников и на службе одновременно могло находиться до 20–30 представителей одного такого рода, большинство служилого сословия составляли представители родов, начавших служить не ранее середины XIX в., т. е. принадлежащих к нему в первом-втором поколении.

Служилое сословие было в целом наиболее образованной частью общества (не только до 90 % деятелей российской науки и культуры происходило из этой среды, но и подавляющее большинство их сами были чиновниками и офицерами). Любопытно, что неосведомленность в конкретных реалиях, порождает порой совершенно чудовищные по нелепости мифы, ставшие, тем не менее, общим местом в современной публицистике. Достаточно упомянуть «теорию» о происхождении интеллигенции из противостояния «образованных разночинцев» и «невежественных чиновников» (не пускавших первых в свою «касту»), тогда как на самом деле как раз этими «образованными разночинцами» чиновничество главным образом и комплектовалось.

Вопреки распространенным представлениям, служилый слой дореволюционной России был сравнительно немногочисленным (потомственные и личные дворяне и классные чиновники вместе с членами семей составляли 1,5 % населения).^[2] Хотя в России значительная часть преподавателей, врачей, инженеров и других представителей массовых профессиональных групп интеллектуального слоя находилась на государственной службе и входила, таким образом, в состав чиновничества, общее число российских чиновников всегда было довольно невелико, особенно при сопоставлении с другими странами.

На рубеже XVII–XVIII вв. всех «приказных людей» в России насчитывалось около 4,7 тыс. чел., тогда как в Англии в начале XVIII в. при вчетверо меньшем населении — 10 тыс. В середине XVIII в. всех ранговых гражданских чиновников в России насчитывалось всего 2051 (с канцеляристами 5379). В 1796 г. ранговых чиновников было 15,5 тыс., в 1804 — 13,2 тыс., в 1847 — 61548, в 1857 — 86,1 тыс., в 1897 — 101,5 тыс., в начале XX в. — 161 тыс. (с канцеляристами 385 тыс.). К 1917 г. всех государственных служащих насчитывалось 576 тыс. чел. Между тем, во Франции уже в середине XIX в. их было 0,5 млн., в Англии к 1914 г. (при втрое-вчетверо меньшем населении) — 779 тыс., в США в 1900 г. (при в 1,5 раза меньшем населении) — 1275 тыс., наконец, в Германии в 1918 г. (при в 2,5 раза меньшем населении) — 1,5 млн.^[3] С учетом численности населения, в России «на душу населения» приходилось в 5–8 раз меньше чиновников, чем в любой европейской стране. Численность офицеров в начале XVIII в. составляла чуть более 2 тыс., в середине XVIII в. — около 9 тыс., в начале XIX в. 12–15 тыс., во второй четверти XIX в. — 24–30, затем — 30–40 тыс., в начале XX — 40–50 тыс.^[4] Военных и морских чиновников в XVIII–XIX насчитывалось 1,5–2 тыс., к 1825 г. — 5–6, в середине XIX в. — 8–9, во второй половине века — свыше 10, в начале XX в. — 12–13 тыс.

Мировая война существенно изменила структуру и состав служилого сословия. Почти все лица, имевшие соответствующее образование и годные к военной службе были призваны в армию и стали офицерами и военными чиновниками, так что большая часть служилого сословия надела погоны. Кроме того, в его состав было включено значительное число лиц, которые в обычное время не могли бы на это претендовать (широко практиковалось производство в офицеры из нижних чинов и в чиновники военного времени низших служащих по упрощенному экзамену на классную должность).

В общей сложности за войну было произведено в офицеры около 220 тыс. человек (в т. ч. 78581 чел из военных училищ и 108970 из школ прапорщиков), то есть за три с лишним года больше, чем за всю историю русской армии до мировой войны. Учитывая, что непосредственно после мобилизации (до начала выпуска офицеров военного времени) численность офицерского корпуса составила примерно 80 тыс. человек, общее число офицеров составит 300 тысяч. Из этого числа следует вычесть потери, понесенные в годы войны. Непосредственные боевые потери (убитыми, умершими от ран на поле боя, ранеными, пленными и пропавшими без вести) составили свыше 70 тыс. чел.^[5] Однако в это число, с одной стороны, входят оставшиеся в живых и даже вернувшиеся в строй (только в строй вернулось до 20 тыс.),^[6] а с другой, — не входят погибшие от других причин (несчастных случаев, самоубийств) и умершие от болезней.

Поэтому, чтобы выяснить, сколько офицеров оставалось в живых к концу 1917 г., следует определить приблизительное число погибших (убитых, умерших в России и в плену и пропавших без вести). Число убитых и умерших от ран по различным источникам колеблется от 13,8 до 15,9 тыс. чел., погибших от других причин (в т. ч. в плену) — 3,4 тыс., оставшихся на поле сражения и пропавших без вести — 4,7 тыс., то есть всего примерно 24 тыс. человек. Таким образом, к концу войны насчитывалось около 276 тыс. офицеров, из которых к этому времени 13 тыс. еще оставались в плену, а 21–27 тыс. по тяжести ранений не смогли вернуться в строй. Следует подчеркнуть, что нас интересуют все офицеры (а не только бывшие в строю к моменту революции), поскольку когда в дальнейшем будет идти речь о численности погибших от террора, эмигрировавших, воевавших в белых и красной армиях, то в это число входят и те, кто был в начале 1918 г. в плену и те, кто находился в России вне рядов армии. Так что цифра 276 тыс. офицеров (считая и еще не вернувшихся в строй) выглядит наиболее близкой к истине и едва ли может вызывать возражения,^[7] тем более, что она полностью согласуется с тем, что известно о численности офицерского корпуса действующей армии (она охватывала 70–75 % всех офицеров).^[8] Численность врачей и иных военных чиновников (увеличившаяся почти вдвое за вторую половину 1917 г.) составляла около 140 тыс. человек. Таким образом, вместе с гражданскими чиновниками численность служилого слоя не превышала в это время 600 тыс. человек.

Будучи основной опорой российской государственности, этот слой встретил большевистский переворот, естественно, резко враждебно. Хотя в

сопротивлении непосредственно участвовала лишь часть его, но среди тех, кто оказывал сопротивление установлению большевистской диктатуры в стране, представители служилого сословия (вместе с потенциальными его членами — учащейся молодежью) составляли до 80–90 %.^[9] Судьбы представителей служилого слоя складывались различным образом (в значительной мере в зависимости от места проживания и семейного положения); можно выделить следующие группы:

1. погибшие в годы гражданской войны, в т. ч.
 - а) расстрелянные большевиками в ходе красного террора,
 - б) погибшие в составе белых армий,
 - в) мобилизованные большевиками и погибшие во время нахождения на советской службе;
2. эмигрировавшие, в т. ч.
 - а) с белыми армиями в 1919–1922 гг.,
 - б) самостоятельно, начиная с весны 1917 года;
3. оставшиеся в СССР, в т. ч.
 - а) расстрелянные непосредственно после гражданской войны,
 - б) расстрелянные в ходе репрессий 1928–1931 годов,
 - в) уцелевшие к середине 1930–х годов.

Систематического изучения судеб членов российского служилого слоя никогда не проводилось. Такое исследование предполагает составление базы данных на всех его представителей, живших к концу 1917 года. Проведение его, в принципе, вполне посильно (в настоящее время, например, составлена неполная база данных на лиц, служивших в офицерских и классных чинах в Императорской России, охватывающая свыше 500 тыс. чел.), но потребует обработки слишком большого круга весьма различных источников. Пока же даже приблизительный количественный анализ судеб представителей служилого сословия вызывает большие затруднения, поскольку только по некоторым из перечисленных выше групп имеются данные, позволяющие составить общее представление об их численности, а о доле остальных остается судить по «остаточному» принципу. Некоторым подспорьем является база данных на участников Белого движения в России (к настоящему времени около 130 тыс. чел.), позволяющая составить представление о доле погибших и эмигрировавших офицеров и чиновников. Ниже будет сделана попытка обобщить некоторые имеющиеся данные.

Служилое сословие стало, естественно, главным объектом красного террора. Наиболее массовые убийства (помимо регулярных расстрелов в Москве, Петрограде и губернских городах) имели место в начале 1918 года

в Крыму (не менее 3 тыс. чел.), в Одессе, Донской области и в Киеве (около 5 тыс. чел., главным образом офицеров).^[10] Анализ списков расстрелянных в 1918–1919 годы в различных городах свидетельствует, что его представители составляли огромное большинство жертв, не говоря уже о ставших жертвами толпы и самочинных расправ в конце 1917 — начале 1918 года. Встречаются сведения, что из 1,7–1,8 млн. жертв террора офицеры составили 54 тыс. (включая, очевидно, и расстрелянных сразу после гражданской войны), а представители умственного труда — до 370 тыс.;^[11] есть основания полагать, что не менее трети их состояли на государственной службе.

Наибольшее количество данных по годам гражданской войны имеется о военной части служилого сословия — офицерах и военных чиновниках. На судьбы этой части служилого слоя оказывал влияние целый ряд обстоятельств: нахождение в конце 1917 — начале 1918 года еще значительной их части на разложившемся фронте, а части в плену в Германии и Австрии. Большинство офицеров стремилось пробраться к своим семьям, чтобы хоть как-то обеспечить их существование. Семьи кадровых офицеров проживали в это время в абсолютном большинстве там, где располагались до войны их воинские части. Подавляющее большинство их стояло в губернских городах центральной России, находившихся под властью большевиков. (Это обстоятельство, кстати, послужило главной причиной, по которой большевики смогли впоследствии мобилизовать столь значительное число офицеров.) Практически все штабы и управления, равно как и разного рода военные организации, также располагались в столицах и крупнейших городах. Большинство интеллигенции, из которой в значительной части происходили офицеры военного времени, также проживало там. Поэтому естественно, что именно в них (и прежде всего в центрах военных округов — Петрограде, Москве, Киеве, Казани, Тифлисе, Одессе, Омске, Иркутске, Ташкенте) скопилось наибольшее количество офицеров. Хотя цифры по конкретным городам называются разные, но порядок их примерно одинаков. В Москве насчитывалось до 50 тыс. офицеров; на конец октября называется также цифра около 55 тыс. и много незарегистрированных^[12] — или 56 тыс.,^[13] в Киеве — 40 тыс., в Херсоне и Ростове — по 15, в Симферополе, Екатеринодаре, Минске — по 10 тыс. и т. д.^[14] По другим данным, в Киеве было 19,5 тыс. офицеров, в Пскове 10, в Ростове 9,5 тыс.^[15] По третьим — в Киеве 35–40 тыс., в Херсоне — 12, Харькове — 10, Симферополе — 9, Минске — 8, Ростове около 16 тыс.^[16]

Наибольшее число офицеров и военных чиновников служило в белых формированиях и учреждениях на Юге России (в т. ч. в добровольческих формированиях 1918 г. на Украине). Общее число офицеров, убитых в белой армии на Юге, можно определить, исходя из потерь основных добровольческих частей. Численный состав Корниловской, Марковской, Дроздовской дивизий был примерно одинаков. Потери убитыми корниловцев и дроздовцев исчисляются в 14 и 15 тыс. чел., причем для корниловцев известно точное число офицеров — 5,3 тыс.^[17] Потери марковцев несколько ниже, но зато в марковских частях была выше доля офицеров (в корниловских и дроздовских она была одинакова), причем изначально, в 1918 г., когда потери были наибольшими, это были чисто офицерские части. Таким образом, в рядах этих трех «цветных» дивизий погибло примерно 15 тыс. офицеров. С алексеевцами и другими добровольческими частями (численность которых, вместе взятых, равна каждой из трех дивизий) — 20 тыс. Гвардейские и кавалерийские полки Императорской армии, возрожденные на Юге, потеряли по 20–30 офицеров, т. е. всего примерно 2 тыс. В других пехотных частях ВСЮР и Русской Армии офицеров было относительно немного, как и в казачьих войсках. Очень сильно насыщены офицерами были артиллерийские, бронепоездные и другие технические части (от трети до половины состава), но они несли сравнительно меньшие потери. Поэтому общее число убитых офицеров едва ли превысит 30 тыс. С потерями от болезней — до 35–40 тысяч.

В первый период войны — практически в течение всего 1918 г. в плен обычно не брали, особенно офицеров. В дальнейшем, особенно после того, как начались мобилизации офицеров в Красную Армию, тех, кто не был после пленения сразу же убит, стали иногда отправлять в тыл, а некоторых даже пытались привлечь на службу в красные части, но до осени 1919 г. речь может идти лишь о нескольких десятках человек. Однако довольно много попало в плен в начале 1920 г. при агонии белого фронта на Юге. Хорошо известны трагические последствия бездарно проведенных эвакуаций Одессы и Новороссийска, в которых скопились почти все отходящие белые части. В Одессе, в частности, попало в плен около 200 офицеров,^[18] много их было захвачено в Екатеринодаре, при эвакуации Новороссийска в плен попало по данным красного командования 2,5 тыс. офицеров.^[19] Некоторые потери пленными были в ходе весенне-осенней кампании 1920 г. В общей сложности на Юге России всего в плен попало к осени 1920 г. около 7 тыс. офицеров.

В Крыму при Врангеле насчитывалось всего 50 тыс. офицеров. Из примерно 150 тыс. эвакуированных было примерно 70 тыс. военнослужащих, и это вполне согласуется с тем, что в армейских лагерях, после того, как все сверхштатные штаб-офицеры, больные, раненые и престарелые были отпущены из армии, разместилось 56,2 тыс. чел., из которых офицеров могло быть до 15–20 тыс. (учитывая, что к 1925 г., когда в армии осталось 14 тыс., офицеров из них было 8 тыс.). Отпущено в Константинополе было, следовательно 14 тыс. — в большинстве офицеров (проведенная осенью 1922 г. перепись офицеров, зафиксировала примерно 10 тыс. офицеров — почти все из служивших на Юге России, но не бывших в рядах армии после ноября 1920 г.).^[20] Всего, стало быть, из Крыма эвакуировалось до 30 тыс. офицеров, и около 20 осталось в Крыму. Кроме того, после эвакуаций Одессы и Новороссийска за границей осталось около 15 тыс. офицеров, и около 3 тыс. нелегально вернулись в Россию.^[21]

Судьбы офицерства белых армий, исходя из приведенных выше данных и подсчетов по имеющейся базе данных по персоналиям (около половины всех белых офицеров), можно приблизительно представить следующими цифрами. На Юге России в Белом движении приняло участие примерно 115 тыс. офицеров, из которых 35–40 тыс. погибло, до 45 тыс. эмигрировало (15 тыс. до осени 1920 г. и 30 из Крыма), и до 30 тыс. (около 7 тыс. пленных до осени 1920 г., около 20 тыс. оставшихся в Крыму, и около 3 тыс. вернувшихся в 1920 г.) осталось в России.

На Востоке воевало 35–40 тыс. офицеров, из которых погибло до 7 тыс. (примерно 20 %), столько же эмигрировало, а большинство осталось на советской территории.

На Севере из 3,5–4 тысяч офицеров погибло не менее 500, осталось (попало в плен) 1,5 тыс. (свыше трети), а половина эмигрировала (в большинстве до начала 1920 г.).

На Западе страны в белых войсках (Северо-Западная армия, Русская Западная армия Бермондта-Авалова и формирования в Польше) участвовало в общей сложности около 7 тыс. офицеров, из которых погибло не более 1,5 тыс. (ок. 20 %), а подавляющее большинство (здесь не было проблем с эвакуацией) оказалось за границей, на советской же территории осталось менее 10 %.

Из участников антисоветского подполья (приблизительно 7 тыс. офицеров, не считая тех, кто потом воевал в белых армиях) удалось уцелеть и выбраться за границу лишь немногим (не более 400–500 чел.). Таким образом, из примерно 170 тыс. офицеров, участвовавших в Белом

движении около 30 % (50–55 тыс. чел.) погибло, до 58 тыс. оказалось в эмиграции и примерно столько же осталось на советской территории.

Таким образом, на Южном фронте антибольшевистской борьбы (Добровольческая и Донская армии, ВСЮР, Русская армия) воевало около 68 % всех офицеров-белогвардейцев, на Востоке — свыше 22 %, на Севере — 2,5 % на Западе и в подпольных организациях — по 4 %. Юг дает до 73 % всех погибших, Восток — около 13 %, подполье — до 12 %, Запад — менее 3 % и Север около 1 %. Среди белых офицеров-эмигрантов на Юге воевало примерно 78 %, на Востоке — более 10 %, на Западе около 7 % и на Севере чуть более 3 %. Из оставшихся в России на Юг приходится немногим более половины, на Восток — свыше 40 %, на Север 2–3 % и на Запад — менее 2 % всех белых офицеров. Под «оставшимися в России» имеются в виду как попавшие в плен, так и оставшиеся на советской территории и растворившиеся среди населения. Подавляющее большинство их также погибло, будучи расстрелянными сразу, как в Крыму или на Севере (где они были истреблены за несколько месяцев почти поголовно) или в последующие годы.

Несколько тысяч офицеров (в основном местные уроженцы) служили в армиях возникших на окраинах России государств — до 3 тыс. в украинской, несколько тыс. в польской, по несколько сот в литовской, латышской, эстонской, по 1–1,5 тыс. в финляндской, армянской, грузинской и азербайджанской. Служившие в армиях государств, сохранивших независимость, естественно, остались за границей, из служивших в петлюровской армии эмигрировала примерно половина, но из служивших в закавказских армиях абсолютное большинство осталось в СССР.

Большевиками на 1.09.1919 г. было мобилизовано 35502 бывших офицера, 3441 военный чиновник и 3494 врача, всего же с 12 июля 1918 по 15 августа 1920 г. — 48409 бывших офицеров, 10339 военных чиновников, 13949 врачей и 26766 чел. младшего медперсонала,^[22] т. е. 72697 лиц в офицерских и классных чинах. Кроме того, некоторое число офицеров поступило в армию до лета 1918 г., а с начала 1920 г. была зачислена и часть пленных офицеров белых армий, каковых в 1921 г. было учтено 14390 человек (из них до 1.01.1921 г. 12 тыс.).^[23] Цифра в 8 тыс. добровольцев, которая столь широко распространена в литературе — вполне мифическая, и не подтверждается никакими реальными данными.^[24] Тем более, что речь идет о лицах, предложивших свои услуги до Брестского мира с единственной целью противодействия германскому нашествию, которые после марта в большинстве ушли или были уволены.^[25] Но, во всяком

случае, до мобилизаций 2–3 тысячи офицеров могло служить у большевиков. Цифры призыва — 48,5 тыс., равно как и 12 тыс. бывших белых офицеров следует признать вполне достоверными как основанные на документальных списочных данных. Но ими практически и исчерпывается весь состав когда-либо служивших у большевиков офицеров, т. к. даже приняв во внимание несколько тысяч добровольцев, всего служило не более 63–64 тыс. офицеров и более 24 тыс. врачей и военных чиновников. К концу войны офицеров никак не могло быть более этого числа, ибо несколько тысяч перешло к белым и погибло, а состояло в армии в это время, как и указывается в ряде работ, 70–75 тыс. чел. вместе с врачами и чиновниками. Офицеров в этом случае должно быть примерно 50 тыс., что вполне реально отражает потери. В общей сложности из числа служивших у красных офицеров погибло не более 10 тыс. человек.

Таким образом, из общего числа офицеров русской армии примерно 170 тыс. (около 62 %) воевало в белых армиях, у большевиков (без учета взятых в плен бывших белых) — 50–55 тыс. (около 20 %), в армиях новообразованных государств — до 15 тыс. (5–6 %) и более 10 % — свыше 30 тыс. не участвовало в гражданской войне — главным образом по той причине, что в подавляющем большинстве (свыше 2/3 «не участвовавших») они были истреблены большевиками в первые месяцы после развала фронта (конец 1917 — весна 1918 гг.) и в ходе красного террора.

Во время гражданской войны погибло 85–90 тыс. офицеров. Свыше 60 % этого числа (50–55 тыс. чел.) падает на белые армии, свыше 10 % (до 10 тыс. чел.) — на красную, 4–5 % на национальные и 22–23 % (около 20 тыс. чел.) на жертвы антиофицерского террора. В эмиграции оказалось примерно 70 тыс. офицеров, из которых до 83 % — эвакуировались с белыми армиями (58 тыс. чел.), до 10 % служили в армиях новообразованных государств, а остальные не участвовали в войне (в подавляющем большинстве это не вернувшиеся в Россию из-за революции бывшие пленные мировой войны и офицеры русских частей во Франции и на Салоникском фронте). На советской территории в общей сложности осталось около 110 тыс. офицеров. До 53 % (57–58 тыс. чел.) из них служили в белых армиях (включая тех, что после плена служили в красной), чуть больше 40 % (45–48 тыс. чел.) служили только в Красной Армии и остальные 7–8 % примерно поровну делятся на тех, кто служил в петлюровской и закавказских армиях и кому удалось вовсе уклониться от военной службы.

В общей сложности в 1914–1922 гг. офицерские погоны носило примерно 310 тысяч человек. В округленных цифрах — 40 тыс. (около

13 %) из них были кадровыми офицерами к началу мировой войны, еще столько же были призваны из запаса, 220 тыс. (71 %) подготовлено за войну и до 10 тыс. (чуть больше 3 %) произведено в белых армиях. Из этого числа 24 тыс. (около 8 %) погибло в мировую войну, до 90 тыс. (около 30 %) — в гражданскую (до эвакуации белых армий), 70 тыс. (22–23 %) оказалось в эмиграции и 110 тыс. (35–36 %) — на советской территории. Остается еще добавить, что из оставшихся в России (а также вернувшихся из эмиграции, откуда за все время с 1921 г. возвратилось примерно 3 тыс. офицеров) от 70 до 80 тысяч было расстреляно или погибло в тюрьмах и лагерях в 20–30-е годы (от трети до половины этого числа приходится на 1920–1922 гг. — главным образом в Крыму и Архангельской губернии).

Что касается гражданской части служилого сословия, то его потери погибшими в годы гражданской войны в процентном отношении не столь велики, как офицерства, но также составляют несколько десятков тысяч человек. Учитывая, что ранговых чиновников насчитывалось не более 250–300 тыс., а в эмиграции оказалось не менее 500–600 тыс. лиц, принадлежащих к образованному слою, среди которых, если исключить членов семей, государственных служащих могло быть до трети, то окажется, что в СССР могло остаться не более 150–200 тыс. представителей гражданской части служилого сословия. Немалое число лиц этого слоя, обладавших высоким уровнем образования были вынуждены по социально-политическим причинам переместиться в низшие слои служащих (став конторщиками, учетчиками, счетоводами и т. п.).

Советская власть проводила последовательную политику вытеснения этого элемента из интеллектуальной сферы, однако далеко не сразу могла осуществить ее в полной мере. Отношение к нему характеризовалось такими, например, высказываниями: «Разве мы спокойны, когда наших детей учат господа от кокарды? ...Разве не внутренние чехословаки — инженеры, администраторы — пособляют голоду? ...Очень жаль, что мы еще нуждаемся во вчерашних людях: надо поскорее, где можно, избавиться от их фарисейской помощи».^[26] Планы избавления от нежелательных элементов простирались до того, что ведущими теоретиками предлагалось упразднение вовсе некоторых видов деятельности, которыми могли заниматься лишь преимущественно старые специалисты. Например, «при условии твердого обеспечения классового состава суда — предоставить суду судить по своему рабочему сознанию без всяких подробных уголовных кодексов»; чтобы оставить без работы нашедших себе занятие в этой сфере образованных людей старой формации, предлагалось отменить

прописку, паспорта и регистрацию брака, предельно упростить систему образования, отменив ряд предметов (в частности, преподавание языков), которые «довольно часто преподаются как раз обломками прежних господствующих классов» и т. д.^[27]

Придя к власти, большевики провозгласили в качестве основной линии «слом старого аппарата» и уничтожение чиновничества, но такой слом, естественно, не мог быть осуществлен без воцарения полной анархии. Поэтому, если был почти полностью заменен персонал карательных и юридических структур и органов непосредственного административного управления, то остальные большевики в первые месяцы не только не разрушили, но и были весьма обеспокоены тем обстоятельством, что чиновники не желали с ними сотрудничать. Персонал их не только не был разогнан, но всеми средствами, в т. ч. и под угрозой расстрела, его пытались заставить работать по-прежнему. В конце-концов им это в некоторой степени удалось, и ведомства продолжали функционировать за счет присутствия там значительной части прежнего состава.

Материалы переписи служащих Москвы 1918 г. свидетельствуют о наличии в большинстве учреждений не менее 10–15 % бывших чиновников, в ряде ведомств их доля повышается до трети, а в некоторых учреждениях они абсолютно преобладали (например, в Наркомате путей сообщения 83,4 %, Наркомфине — 94 %), в ВСНХ бывшие чиновники составляли в 1919 г. — 62,7 %, 1920 — 54,4 %, 1921 — 48,5 %.^[28] Так что практические задачи государственного выживания до известной степени препятствовали полной реализации теоретических посылок, поскольку требовали наличия хотя бы минимального числа отвечающих своему прямому назначению специалистов, и до самого конца 20-х годов советская власть была еще вынуждена мириться с преобладанием в государственном аппарате старой интеллигенции, в том числе и некоторого числа представителей служилого сословия. Особенно это касалось наиболее квалифицированных кадров и в первую очередь науки и профессорско-преподавательского состава вузов (практически целиком принадлежавшего до революции к ранговому чиновничеству).

В 1929 г., когда власти намеревались перейти к радикальным изменениям в составе интеллектуального слоя, была проведена перепись служащих и специалистов страны, охватившая 825086 чел. по состоянию на 1 октября.^[29] Ею был учтен и такой фактор, как служба в старом государственном аппарате, причем выяснилось, что доля таких лиц довольно высока. Процент служивших в старом государственном аппарате

сильно разнится по ведомствам от 2 % до более трети, причем наибольшее количество таких лиц служило в наркоматах всех уровней, особенно Наркомпочтеле (40,4 % всех его служащих), Наркомфине (21,6 %), и Наркомземе (15,2 %), а также в Госбанке, в Госплане доля их составляла 13,6 %. Всего перепись насчитала служивших в старом аппарате 74400 чел. (из коих следует вычесть 4389 лиц, принадлежавших в прошлом к обслуживающему персоналу и не входивших в состав чиновничества), в т. ч. 5574 чел. относились к высшему персоналу. Они составили 9 % всех советских служащих. Здесь надо учесть, что, во-первых, старый государственный аппарат был сам по себе в несколько раз меньше, во-вторых, за 12 послереволюционных лет не менее половины его персонала должна была естественным путем уйти в отставку по возрасту, и в-третьих, он понес огромные потери в годы гражданской войны от террора и эмиграции. Приняв во внимание эти обстоятельства, можно сделать вывод, что подавляющее большинство чиновников, оставшихся в России и уцелевших от репрессий, в то время все еще служило в советском аппарате.

В конце 20-х годов, когда положение советской власти окончательно упрочилось, она перешла к политике решительного вытеснения представителей старого образованного слоя из сферы умственного труда, что отразилось в первую очередь на тех из них, кто служил в дореволюционном государственном аппарате. 1928–1932 гг. ознаменованы, как известно, политическими процессами над специалистами, массовыми репрессиями и повсеместной травлей «спецов» во всех сферах (в т. ч. и военной, именно тогда по делу «Весны» было уничтожено абсолютное большинство служивших большевикам кадровых офицеров). Известная «чистка» аппарата государственных органов, кооперативных и общественных организаций, начатая в 1929 г., способствовала удалению абсолютного большинства представителей старого служилого сословия из этих учреждений, затронув и научные, откуда также было уволено немало нежелательных для властей лиц. Характерно, что списки таких лиц, объявлявшиеся для всеобщего сведения, включали в подавляющем большинстве именно бывших чиновников и офицеров.^[30]

В результате этих мер к середине 30-х годов с остатками дореволюционного служилого слоя, остававшимися еще в СССР, было практически полностью покончено. Отдельные его представители, еще остававшиеся в живых и даже, как исключение, на советской службе, не представляли собой ни социального слоя, ни даже особой группы, так что о каком-либо участии старого служилого сословия в формировании советского истеблишмента, сложившегося как раз в конце 20-х — 30-е

годы, говорить не приходится.

Процесс истребления и распыления российского служилого сословия (офицеров и чиновников) сопровождался таким же процессом уничтожения всего социального слоя, служившего «питательной средой» — наиболее обычным поставщиком кадров для него. Сколько-нибудь полные подсчеты потерь численности входящих в этот слой социальных групп не производилось, но исследование, например, родословных росписей нескольких десятков дворянских родов показывает, что численность первого послереволюционного поколения (даже с учетом того, что к нему причислены и лица, родившиеся, но не достигшие совершеннолетия до 1917 г., т. е. в 1900–х годах) составляет в среднем не более 30–40 % последнего дореволюционного. Среди живших к моменту революции, доля погибших в 1917–1922 годах и эмигрировавших в среднем не опускается ниже 60–70 %, а среди мужчин часто составляет до 100 %. Таким образом можно констатировать, что искоренение российского служилого сословия в революционные и последующие годы носило радикальный характер, существенно превышая, в частности, показатели французской революции конца XVIII века.

1996 г.

Необходимый шаг

Исход президентских выборов в России показал, что здоровый инстинкт большинства населения страны одержал победу над попытками спекуляции на трудностях нынешнего времени. Удалось предотвратить самое худшее — реставрацию советско-коммунистического режима, которую уже предвкушали «дети Октября» и которая надолго, если не навсегда, похоронила бы надежды на воссоздание России на основе ее исторической государственности. Едва ли можно ожидать, что возрождение исторической российской государственности близко, но теперь оно вновь возможно.

Сколь бы ни были прискорбны обстоятельства, в которых оказалась наша страна, но они, по крайней мере, дают возможность бороться за идеалы исторической России, и только от последовательности, умения и воли сторонников этих идеалов зависит, как скоро достигнут они своей цели. Тогда как в условиях господства тоталитарного режима (а рвущиеся к власти силы советского реванша ни при каком ином господствовать не могут) ни идеологическая, ни тем более политическая деятельность внутри страны, как мы хорошо знаем, практически невозможна и, во всяком случае, совершенно безнадежна.

Возможность освобождения от коммунизма, создавшаяся в результате того, что режим КПСС пал жертвой разложения собственной верхушки, не предоставляется нам историей (несмотря на коренную внутреннюю порочность и противоестественность партийно-советского строя) каждый год, и прошли бы вновь десятилетия, прежде чем подобное повторилось бы, особенно учитывая, что вновь добравшиеся до власти коммунисты теперь полностью учли неприятный для себя опыт и приняли бы все меры для предотвращения подобного впредь.

Итак, на сей раз приступ коммунистов отбит, но это не значит, что коммунистическая угроза ликвидирована. Да, на следующих выборах, если они состоятся через 4 года, шансы коммунистов (учитывая демографические особенности их электората) уменьшатся. Однако может случиться и так, что выборы придется проводить досрочно, может быть, даже скоро, когда их силы еще полностью отмобилизованы. Кроме того, они не скрывают надежд захватить власть и без выборов, на волне «народного недовольства», ожидаемой ими в течение ближайшего года. Наконец, как уже многократно приходилось писать, в обществе и

государстве не выкорчеваны основы советского мировоззрения, по-прежнему господствует культурная и идеологическая традиция, порожденная «Великим Октябрем». Даже такие важнейшие государственные институты, как армия, ведут свою родословную не от исторической России, а от большевистского режима, сохраняя соответствующую атрибутику и символику.

Все это служит базой коммунистической реставрации и является носителем постоянной угрозы для наших идеалов. Более того, опыт 1991 и 1993 годов, похоже, ничему не научил даже тех представителей нынешнего руководства, которые, как будто, не имеют оснований сомневаться в своей участи в случае успеха красной оппозиции. Чем иным (кроме, разве, собственной внутренней «красноты») объяснить тот факт, что сразу же после выборов, однозначно продемонстрировавших симпатии населения, начались разговоры о создании «коалиционного правительства», предоставление коммунистам постов, «неделении на белых и красных» и т. п.? С какой стати, имея легитимную возможность покончить с коммунистическими поползновениями, надо их поощрять? Даже в странах, где соперничающие на выборах партии неантагонистичны, никому не приходит в голову бредовая мысль о коалиции с побежденными (коалиции создаются — и то с наиболее близкими силами — только вынужденно, в том случае, если претендующие на власть силы не имеют абсолютного большинства и связанного с ним юридического права формировать правительство). И надо ли доказывать абсурдность утверждений о «неделении», когда оно существует объективно, и красные не выражают ни малейшего желания перестать быть таковыми? Увы, источником подобных тенденций является нежелание или невозможность вследствие привычного с детства воспитания уразуметь принципиальное отличие коммунистической идеологии от всякой другой, а коммунистической партии — от всякой другой партии.

Коммунистическая партия по самой сути своей есть **партия преступников**, ибо представляет собой сообщество людей, объединившихся во имя достижения преступной цели. Она — партия преступников потому, что **преступна сама идея коммунизма**, дерзающая «сотворить нового человека» и посягающая тем самым на основы мироздания — Богоданную природу человека, свободу его воли и совести, его право владеть собственностью. Компартия преступна в той мере, в какой преступна ее идеология, в той мере, в какой остается верна своим целям. А в том, что она остается им верна, сомнений нет: нынешние коммунисты не отрещиваются от своих родоначальников, всячески

препятствуя ликвидации памятников и всех других атрибутов почитания ленинской банды.

Коммунисты — партия преступников потому, что цель свою — противную Божественному установлению и человеческой природе, они могут осуществить не иначе, как насилием. Всюду, где они пытались ее проводить, находясь у власти, это неизменно оборачивалось потоками крови. Десятки миллионов уничтоженных соотечественников и многие миллионы жителей других стран пали жертвами их безумных экспериментов.

Коммунисты — партия преступников потому, что, захватив в 1917 году власть в России, они во имя осуществления своих программных установок: 1) разрушили тысячелетнюю российскую государственность, заменив ее чудовищным политическим монстром — СССР, представшим собой плацдарм для развертывания мировой революции и заготовку для создания «земшарной республики советов», 2) физически уничтожили или изгнали подавляющую часть социального слоя носителей культурно-интеллектуального потенциала нации — дворянства, духовенства, интеллигенции, истребили и разорили наиболее выдающуюся часть всех сословий страны — создателей ее национального богатства — купечества, мещанства, крестьянства, совершив неслыханные в мировой истории ни по масштабам, ни по цинизму преступления, 3) своими авантюрными идеями мирового коммунистического господства создали угрозу существованию самой человеческой цивилизации.

Никогда и ни в чем коммунистам нельзя было верить. И менее всего, когда они пытались выступать под иным, более респектабельным обликом. Достаточно вспомнить пресловутый НЭП, затеянный с целью накопить силы для дальнейшего наступления. Настоящий коммунист остается коммунистом в любой шкуре — хоть в демократической, хоть в патриотической. А коммунистом он остается до тех пор, пока не отречется на деле от своих основоположников — от идеологов марксизма и творцов коммунистического переворота.

Под коммунистами не имеются в виду люди, становившиеся членами партии в то время, когда она подменяла собой государственные структуры: тогда членство в ней в большинстве случаев означало в большинстве случаев выполнение тех функций, что и в любом государстве, кроме того, во многих сферах занятие профессиональной деятельностью и возможность принесения пользы стране была просто невозможна. Компартия преступна не как государственная структура, а именно как партия — как группа лиц, объединившаяся с целью достижения именно той

преступной и античеловеческой цели, которую ставит ей ее идеология. Все те, кто находился в рядах партии не с этой целью, порвали с ней при первой же возможности. Но те, кто этого не сделали — те только и есть настоящие коммунисты, верные преступным целям своей партии.

Неужели семидесятилетнего опыта России и многих других стран недостаточно, чтобы понять: с коммунистами нельзя поступать, исходя из тех законов и правил, которые они сами не признают, которым вынуждены подчиняться лишь до тех пор, пока находятся в оппозиции и не имеют возможности установить свои собственные, и которыми они цинично пользуются, чтобы вновь вернуться к власти? Своими деяниями они давно поставили себя вне человеческих законов. Эта опаснейшая гадина должна быть раз и навсегда раздавлена, чума XX века должна быть, наконец, искоренена. Коммунизм есть зло абсолютное, худшее из всех возможных зол, и нет таких средств, которые были бы чрезмерными для его пресечения. Опыт истории показывает, что жертвы коммунизма всегда и везде были несоизмеримо тяжелее, чем те, которые могли бы предотвратить его победу.

Деятельность коммунистических организаций должна быть поставлена вне закона, а пропаганда соответствующей идеологии запрещена — по крайней мере до тех пор, пока она не перестанет представлять угрозу обществу и государству, то есть пока не будет устранена навсегда угроза возвращения коммунистов к власти и тем самым — практической реализации их партийных целей. В подобных вопросах история не знает примеров длительного «двоевластия». Либо нынешнее руководство покончит, наконец, раз и навсегда с коммунистической опасностью, обезопасив от нее как себя, так и страну — либо будет сметено этой агрессивной, сплоченной и упорной силой. Декоммунизация и десоветизация страны есть первый и абсолютно необходимый шаг на пути восстановления исторической России. Без ликвидации советско-коммунистического наследия всякие мечты об этом напрасны и бессмысленны.

1996 г.

К вопросу о «культурных ценностях» в современной России

Не раз уже приходилось писать о том, что в культурно-идеологическом отношении после 1991 г. у нас в стране существенных изменений не произошло, и нынешний режим — не более чем одна из модификаций советско-коммунистического. Для него, несмотря на предпринимаемые время от времени неуклюжие словесные попытки откреститься от наследия предшественников, характерно трепетное отношение к советским святыням и те же самые понятия относительно того, что есть история и культура. В принципе все это известно, однако, сталкиваясь время от времени с конкретными проявлениями этого, до сих пор не устаешь поражаться — до какой же степени доходит это тождество.

Все знают, что ленинские истуканы после «отмены» коммунизма продолжают преспокойно возвышаться по городам и весям, но не все (особенно в зарубежье) знают, что таковые рассматриваются не как заурядное пропагандистское наследие прежнего режима, от которого просто недосуг избавиться, а совершенно официально почитаются как национальные реликвии, и что эти изваяния (которых особенно много наплодили во второй половине 60-х годов — к круглым юбилеям Ленина и октябрьского переворота) имеют такой же статус, как, скажем, кремлевские соборы или Пушкинский заповедник. Это, понимаете ли, тоже «памятники культуры».

К этой же категории относятся многие сотни «памятных мест», связанных с пребыванием (хотя бы и самым кратковременным) всевозможных «борцов с царизмом» и «участников установления советской власти» (и даже их родственников). Причем среди советских «реликвий», занесенных в охранные списки, попадаются совсем уж странные — даже не здания, а именно «места», например, такие «памятники»: «Место усадьбы, где жила и умерла Ульянова М. А.», «Место дачи Бонч-Бруевича В. Д., где в июне 1917 г. отдыхал Ленин В. И.», «Место дома, где в 1887 г. жила Крупская Н. К.», «Место дома, где в апреле 1919 г. жил Чапаев В. И.», «Место гибели пионера Павлика Морозова», «Стела — памятный знак о пребывании здесь на отдыхе 15–16 мая 1920 г. Ленина В. И.» и т. д. Еще больше, конечно, зданий, разумеется, и всех тех, где хоть раз ступала нога Ленина. (Парадоксальным образом это обстоятельство иногда помогало спастись от разрушения части последовательно уничтожавшейся в

Совдепии исторической застройки — благо, сами здания дореволюционной архитектуры, неповинны в том, что им пришлось быть местом деятельности ленинских приспешников.)

Для уяснения культурно-идеологической политики нынешних властей весьма любопытен президентский указ от 5 мая 1997 г. «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», точнее, не столько сам указ, сколько приложения к нему. Причиной его появления стала хорошо известная нехватка средств, вследствие чего бюджет пришлось избавлять от расходов на содержание значительной части памятников истории и культуры. Так вот приложения к указу представляют списки этих памятников, причем, если одни полностью утрачивают статус охраняемых объектов и могут быть при желании уничтожены (список № 1), то другие требуется сохранять за счет средств местных бюджетов (список № 2).

Посмотрим же, к какого рода памятникам истории и культуры нынешние власти испытывают наибольшее пристрастие, о каких из них проявляется наибольшая забота. Итак, указом от 5 мая исключено из федеральных списков в общей сложности 1160 объектов. В том числе 362 археологических — городища, селища, могильники, курганы, стоянки, поселения, мегалитические постройки и др. (учитывая, что большинство из них представляют собой целые комплексы, общее их число превышает 2100), 284 памятника гражданской архитектуры от средневековья до XIX в. — крепости, жилые и административные здания, усадьбы и др. (всего 481 сооружение), 57 церквей и монастырских комплексов (всего 69 построек) и 456 памятников советско-коммунистического характера (в т. ч. 196 зданий, связанных с революционной деятельностью).

Так вот при этом из них предназначено к сохранению в качестве «памятников истории и культуры»: археологических — 1 (0,3 %), церквей — 18 (31,6 %), памятников гражданской архитектуры — 223 (78,5 %), советско-коммунистических памятников — 396 (86,8 %), причем среди последних особо трогательная забота проявлена именно к изваяниям коммунистических вождей и памятникам советской эпохи, которых сохраняется 237 из 260 (91,2 %) — это наивысшая доля среди всех групп (зданий дореволюционной постройки, связанных с памятью о революционерах, сохранено 159 (81,1 %)). Таким образом, если в общем числе упомянутых в указе памятников советско-коммунистические составляют 39,3 %, то среди сохраняемых — более половины — 62,1 %. Может ли быть более наглядное свидетельство идеологических пристрастий демократических властей?

Характерно, что в числе полностью лишаемых охраняемого статуса встречаются церкви и гражданские сооружения даже первой половины XVII в., тогда как охране подлежат все советские изваяния тридцатилетней давности (те 2–3, которые попали в список № 1 — это уже не существующие, уничтоженные населением в 1991–92 гг.). Собственно, сохраняется практически все советское наследие, т. к. почти все из немногочисленных памятников революционного и советского характера, попавшие в список № 1, это либо уже поврежденные «явочным порядком» мешавшие при строительстве объекты, либо чисто символические «места», о которых упоминалось выше.

Вообще список намеченных к дальнейшему сохранению «памятников культуры» впечатляет. «Дом, где в 1920 г. происходило совещание большевиков Кавказа», «Школа, где учился герой гражданской войны Чапаев В. И.», «Дом, где в 1917 г. жил в ссылке Сталин И. В.», «Дом, в который в 1897–1898 гг. на адрес Фридман С. М. приходили посылки для Ленина В. И.», «Дом, где в 1900 г. останавливались Ленин В. И. и Крупская Н. К.», «Дом, где в 1910 г. проходила конференция Иваново-Вознесенского союза РСДРП», «Фабрика табачная, где в 1898 г. работал революционер Дзержинский Ф. Э.», «Дом, где в 1899 г. жил революционер Бауман Н. Э.», «Дом, где в июне 1900 г. состоялось собрание социал-демократов при участии Ленина В. И.» (таких четыре в одном Нижнем Новгороде), «Дом, где 2 февраля 1905 г. были арестованы революционеры-подпольщики», и т. д. и т. п. Ну и конечно, бесконечные «Памятник Ленину В. И.» — Майкоп, Уфа, Нальчик, Сыктывкар, Саранск, Рузаевка, — полный список областных и районных центров и даже более мелких населенных пунктов.

Кстати, в списке № 2 (сохраняемых) обнаруживается и... памятник Дзержинскому, с такой помпой скинутый с пьедестала в августе 1991 г. Кто-то, может быть, подумал, что снесенные тогда памятники Дзержинскому, Свердлову, Калинин, Ленину (в Кремле) исчезли, — но нет — стоят себе преспокойно в парке на Крымском валу, позади «Президент-отеля» и, как видим, даже охраняются как культурное наследие в ожидании восстановления на прежних местах. (В немногих местах, где сгоряча памятники сняли, теперь наметилась тенденция к их возвращению, например, в Рязани бронзовый Ильич, отлежавшись на задворках несколько лет, месяц назад занял свое прежнее место.)

Напомню, что все сказанное выше касается только второстепенных памятников, статус которых из-за нехватки средств был несколько понижен, а все главные «реликвии» советского режима — и наиболее известные скульптуры «вождей», и «ленинские мемориальные места» в

Смольном, Шушенском, Горках и др., и масса монументов «героям революции и гражданской войны» до сих пор остаются «памятниками истории и культуры общероссийского значения». Такие-то вот «культурные ценности» почитаются в нынешней России.

1997 г.

«Внуки Суворова, дети Чапаева»

Поводом к написанию этой статьи послужила публикация Г. Некрасова в № 2429–2430 («Наша страна», 1997). С огорчением приходится видеть, до какой степени не то что даже непонимания, а как бы «невнимания» что ли, доходит дело даже в эмигрантской среде при суждениях о советских военных, когда «за бортом» оказывается самая суть вопроса, а спор ведется о вещах третьестепенных (Г. Некрасов вздумал оспаривать мнение Д. Ржанова, что советские флотоводцы — «нерусские адмиралы» и не наследники Нахимова на том основании, что Кузнецов и Горшков были-де весьма достойными людьми).

Дело вообще-то не в том, какими людьми они были, но и на этом стоит остановиться — хотя бы потому, что Г. Некрасов напирает на то, что «нужно знать факты, а не писать сгоряча». Между тем «факты», приводимые им, или смехотворны, или вовсе никакие не факты. Начнем с того, что упоминаемые лица — достаточно разные. Если Кузнецов — типичный выдвиженец-образованец с кругозором в лучшем случае дореволюционного унтера, то Горшков — один из немногих относительно культурных людей среди советского генералитета. Но представлять их какими-то особыми подвижниками дореволюционных традиций по меньшей мере неуместно. Такие вещи, как переименование кораблей и вывод из забвения Ушакова ни в малейшей степени не являются заслугой Кузнецова, равно как и тот факт, что он участвовал в съемках фильма «Адмирал Ушаков» совершенно не влиял на концепцию фильма. И в опалу он попадал (как и Жуков) вовсе не благодаря какой-то оппозиционности, а оба раза вполне по-советски: после войны Сталин поспешил поставить на место всех крупных военачальников — чтобы не зазнавались, а при Хрущеве — по случаю взрыва «Новороссийска» (по обычаю совбюрократии в случае громкого скандала снимался главный начальник независимо от личной причастности к происшествию).

Но и действительных создателей фильма (снявших «ах, какие сцены!») не стоит подозревать в симпатиях к старой России. Фильм — и этот, и ему подобные — делались профессиональными советскими пропагандистами, теми же самыми, которые до войны столь же талантливо клеймили «презренных царских сатрапов». Эти люди просто всякий раз в точности следовали «генеральной линии партии», а в 43–55 годах она была вот такая. А этим, всей имевшей тогда место апологией «славы русского оружия» мы

обязаны одному единственному человеку — самому Сталину, и никому больше. Он лично утверждал и сценарии подобных фильмов, и тем более такие вещи, как переименования и т. п., и никакому Кузнецову просто в голову бы не пришло «пойти дальше». Писать подобное — значит совершенно не знать и не понимать характера отношений в тогдашних эшелонах власти. Да даже «инициативы подчиненных» были только такие, какие, как им было хорошо известно, Сталин желал услышать. При этом, бывало, и забавлялся, кокетничал: «вот-де, предлагают нам тут погонь царские ввести — а что, может и подумаем?»

Тем более нелепо приписывать «заслугам» Горшкова проявление симпатий некоторых морских офицеров в конце 80-х годов к Андреевскому флагу и появление благожелательных статей о русском флоте в 90-х — когда Горшкова давно не было, а подобные симпатии были «общим местом» (спасибо еще, не поставил Горшкову в заслугу мятеж на «Сторожевом»!). Не клеветайте, г-н Некрасов, на верного сына партии — он был первоклассным специалистом, выдающимся деятелем советского флота, имевшим огромные заслуги перед Советским государством, но ему и в кошмарном сне не привиделось бы воспитывать подчиненных в «еретическом» духе. Впрочем, наблюдение Г. Некрасова о сравнительно большем «свободомыслии» во флоте справедливо. Только Горшков с Кузнецовым тут ни при чем: сама специфика морской службы такова, что предполагает несколько иной характер отношений между людьми и, соответственно, иные возможности в этом плане.

Однако же то обстоятельство, что флот вернул Андреевский флаг, а армия не рассталась с красными знаменами, никоим образом не зависело ни от флота, ни от армии. Ну смешно просто — можно подумать, что это военные решают. Да нет, Ельцин распорядился — только и всего (примерно по тем же соображениям, что и Сталин). А разница — чисто «техническая»: военно-морской флаг — вещь специфическая, аналога у армии нет — там знамена у разных частей индивидуальные, к тому же религиозная символика Андреевского креста в массовом сознании забыта, а полковые знамена с надписью «С нами Бог» в конституционно «отделенном от церкви» государстве невозможны. Но, кстати, советую взглянуть на недавно утвержденный общевойсковой символ Вооруженных Сил — он выше всяких похвал, да только вот, увы, столь же мало может свидетельствовать о «российскости» современной армии, как и Андреевский флаг о «российскости» флота.

Столь же неуместно умиление современным адмиралом, украсившим кабинет бюстом Ушакова («может быть и его Д. Ржанов считает советским

рылом?»). Ну, а, собственно, почему бы и нет? Нельзя же настолько снижать критерии. Допустим, если некто за три рубля не зарежет отца родного, то это еще не значит, что он хороший человек. Так и использование дореволюционных атрибутов сейчас (когда это стало всеобщей модой) вовсе не свидетельствует о неприятии человеком советчины (в большинстве случаев оно прекрасно с ней сочетается). Вот уж заслуга... Да кто же сейчас не клянется, как и при Сталине, «славным прошлым»? Да чем Зюганов и компания в этом отношении хуже?

Это же и есть национал-большевизм чистой воды, вся суть которого в том и состоит, чтобы провести прямую преемственность между дореволюционной Россией и Совдепией, чтобы присвоить себе наследие уничтоженных действительных носителей славы русского оружия. Имя этому — идеологическое мародерство. Так это было при Сталине, так это и теперь. Кстати, Сталина нынешние «наследники русской славы» так и не перещеголяли. Уровень «патриотизма» 43–55 годов не превзойден. Да тогда заведомая советская сволочь такие статьи о русском офицерстве писала в «Красной Звезде», каких и до революции не бывало! (Уж что-что, а эти вопросы были предметом моего специального исследования, и я знаю их не на уровне примеров.) Значило ли это, однако, что Сталин был величайшим русским патриотом? Если да — не стану спорить: это, по крайней мере совершенно определенная цельная позиция, выражение вполне конкретного мировоззрения. Но если нет — с какой же стати умиляться словами и деяниями его бледных подражателей?

Так что стремление присвоить себе традиции старой армии — вещь совершенно обыденная и нормальная для последних пяти советских десятилетий — со сталинских времен это вполне партийная линия, хотя с конца 50–х годов и ослабевшая, но никогда не отбрасывавшаяся (как отвечавшая утилитарным потребностям повышения обороноспособности), и видеть заслугу советских генералов в следовании ей по меньшей мере нелепо. Присвоение дореволюционной атрибутики вовсе не изменило сути Красной армии как орудия коммунистического режима. Используя имена русских полководцев, она столь же ревностно истребляла их подлинных наследников. Комиссар и в погонах остался комиссаром. Или кто-то забыл судьбу остатков русского офицерства, когда эта «опогоненная» армия вступила в Восточную Европу? Или, может быть кто-то думает, что русским офицерам было легче терпеть издевательства от чекистов в золотых погонах, чем от чекистов без оных? Паразитирование на наследии уничтоженной России, способствующее укреплению антирусского советского режима — не заслуга, а опаснейший идейный маневр

советчиков, который не приветствовать, а разоблачать надо. Смысл его в том, чтобы взяв часть, внешнюю сторону, не допустить восстановления целого, сути — вот его смысл.

Надо иметь в виду и то, что в разной идейно-политической ситуации одни и те же действия могут играть диаметрально противоположную роль. Стало бы, скажем, в условиях оголтелой русофобии 20-х годов благом обращение советского руководства к национальной традиции? Да, потому что в такой ситуации даже самые робкие шаги в этом направлении были бы лучше откровенного большевицкого погрома и помогли бы хоть что-то сохранить. Было ли это благом в условиях возможности стихийного пробуждения национального сознания? Нет, ибо в этой ситуации такое обращение стало средством, позволившим коммунистам оседлать этот процесс и направить его из естественного русла антисоветизма в русло поддержки своего режима.

Приведу в пример и освещение в печати позиции русского офицерства по отношению к большевикам. В период безраздельного господства коммунизма люди, ратовавшие за благосклонное отношение к старой армии (а тем самым и шире — к досоветской традиции) не могли сказать о ней доброе слово иначе, как всячески подчеркивая и преувеличивая массовость и добровольность службы большевикам офицерства и вообще старой интеллигенции (тогда как правоверные коммунисты, напротив, стремились принизить роль «чуждого элемента»). Это была ложь (и по сути своей оскорбительная для памяти русского офицерства), но тогда, в условиях полной беспросветности, даже она представлялась имеющей положительное значение, ибо советская власть казалась вечной и незыблемой, а шельмуемое офицерство с точки зрения его доброжелателей нуждалось в «оправдании». В период же ослабления коммунистического режима такое освещение стало совпадать и с официальной идеологической линией. Ибо в условиях, когда в общественном сознании престиж советского режима упал, а русского офицерства (как и всей досоветской традиции) вырос, факт службы офицеров советам как бы «оправдывал» уже не офицеров, а, наоборот, — советскую власть: не такая она, значит была и плохая, раз так много старых офицеров ей служило. И в этой ситуации названная ложь не имела уже никакого оправдания и кроме вреда ничего уже принести не могла.

Славословия в адрес старой России и ее армии сами по себе ничего не стоят и ни в малейшей степени не свидетельствуют о «несоветскости» человека, если не сопровождаются проклятиями в адрес ее убийц, т. е. если не сочетаются с однозначным отрицанием Красной, Советской армии. А

вот это-то едва ли и г-н Некрасов осмелится приписать своим «советским по форме, но русским по духу» подзащитным. Увы, не по «форме» они советские, а по самой своей сущности — и по мировоззрению, и по делам своим. Перейдя, наконец, к главному, мы упрямся в коренной мировоззренческий вопрос — какую государственность они защищали, какому делу служили, на что были направлены их таланты? Проще говоря, Совдепия — это та же, лишь слегка «подпорченная» Россия — или Анти-Россия? Коммунисты — продолжатели русской государственности — или ее враги и разрушители? Их режим надо было поддерживать — или стараться свергнуть? Опять же: если да, то все логично: такова точка зрения, которую мы называем национал-большевизмом, но если нет — зачем путать Божий дар с яичницей? Потому что русские адмиралы — А. Колчак, А. Саблин, М. Беренс, Н. Машуков, Ю. Старк и другие — сражались против Совдепии, а эти — за нее.

Не надо путать совершенно разные вещи: действительную «несоветскость» отдельных офицеров — и нормативную для советской армии с военных времен установку: мы-де «внуки Суворова, дети Чапаева». Эмигрантские иллюзии относительно «русского сердца под советским мундиром» мне очень хорошо понятны: у самого в детстве были точно такие же, пока не столкнулся нос к носу с действительностью. Среди моих родственников и знакомых было немало офицеров, да во время службы в армии мне доводилось общаться с несколькими сотнями их. Свидетельствую, что за очень немногими исключениями всем им весьма импонировало включать в свою «профессиональную родословную» русскую армию. Однако абсолютное большинство прежде и больше всего почитало советскую и действительно соответствовало стандартной формулировке характеристик: «делу Коммунистической партии и Советского правительства предан». Суворов, война 1812 года и т. д. — это было далекое прошлое, из которого можно черпать примеры для поднятия воинского духа в дополнение к основной теме «героической борьбы Красной Армии против интервентов и белогвардейцев». Так что уважение «к нашим великим предкам» вовсе не мешало им быть убежденными защитниками советского режима, готовыми выполнить любой приказ родной партии и с полной ответственностью готовиться к третьей мировой войне за торжество дела коммунизма во всем мире (а в том, что так и будет, в 60–70-х годах никто не сомневался).

Все это, кстати, не мешало многим из них быть хорошими людьми, приятными во всех отношениях, иногда достаточно культурными, прекрасными профессионалами и т. д. Однако же они были целиком и

полностью советскими, а не русскими офицерами. Тезиса о том, что Россия — это хорошо, а Совдепия — плохо, они никогда бы не поняли и не приняли. Принадлежность к «великому и могучему» Советскому Союзу безусловно представляла для них высшую ценность. То, что когда-то была Россия — тоже неплохо, там тоже было немало красивого, но СССР — **еще лучше**. Такая приблизительно психология. Да что там Кузнецов с Горшковым — люди целиком советской формации, когда среди советских адмиралов были люди и настоящей старой высокой русской культуры — такие, например, как И. Исаков и А. Берг. Но и они не были **русскими адмиралами**. Вспомним также, что среди советского генералитета было немало лиц, ранее бывших русскими офицерами (уж эти-то возвращение погон встретили с искренним восторгом), только и они — лишь **советские** генералы, а никакие не русские. Наконец, и некоторые когда-то самые настоящие **русские генералы** дожили в Совдепии до момента, когда смогли вновь надеть погоны с зигзагами и именоваться прежними чинами, но ни гр. Игнатьев, ни Бонч-Бруевич, перестав быть русскими генералами в 1917 г., не стали ими вновь в 40-х.

Ставить советский генералитет (сколь бы симпатичными людьми его представители лично ни были и какими бы достоинствами ни обладали) на одну доску с военными деятелями исторической России и помещать в различных словарях вместе с ними как «российских полководцев» — неуместно и кощунственно. Среди дореволюционных адмиралов и генералов встречались и бездарные, среди советских были и талантливые. Но даже самый скверный царский генерал бесконечно выше самого лучшего советского, собственно, они вообще для нас несопоставимы, поскольку одни сражались за Россию, а другие — против нее. И с этой точки зрения — чем способней советский генерал — тем хуже должно быть наше к нему отношение, ибо он принес больше пользы Совдепии и, соответственно, больше вреда делу восстановления исторической России.

Выискивать у советских полководцев какую-то «оппозиционность», пытаясь читать их произведения «между строк» — занятие не только пустое, но и обидное по отношению к тем немногим офицерам, которые действительно были настроены антисоветски и для которых безусловным идеалом была историческая Россия. Такие были и раньше, но при попытках «пойти дальше» официальной линии в деле уподобления русскому офицерству, из армии изгонялись и уж во всяком случае не могли рассчитывать на вхождение в генералитет. Ибо ни одна сфера не находилась под таким пристальным контролем компартии, как именно армия.

В непонимании этого, в общем, естественного обстоятельства (а по другому и быть не могло), кстати, коренятся все бесконечные иллюзии, которым предавалась эмиграция с 20-х годов (когда вполне серьезно полагали, что Красная Армия чуть ли не со дня на день возьмет штурмом Кремль и свергнет большевиков). При всей очевидности с высоты сегодняшнего знания глупости и крайней наивности подобных ожиданий, следует сказать, что до конца 20-х годов они еще имели хоть какие-то основания, поскольку в армии еще оставалось много старых офицеров. Независимо от объективных результатов своего поведения, многие из них сознательно или подсознательно надеялись, что, находясь в рядах большевицкой армии, они смогут когда-нибудь «переделать» ее и поставить на службу российским интересам. В этом их помыслы соответствовали той «двойной задаче», которую ставил Красной Армии Деникин перед началом 2 мировой войны (разгромить немцев, а потом свергнуть советский режим). Собственно, Деникин и развил свою теорию, исходя из мысли о наличии подобных людей и настроений в Красной Армии.

Дело, однако, в том, что большевики не хуже их представляли себе возможность такого поворота событий и истребили всех потенциальных носителей этой идеологии вскоре же после гражданской войны, так что деникинская идея к моменту, когда была высказана, являлась совершенно беспочвенной. Но уж ожидать чего-либо подобного от офицеров советской формации было полным безумием, что и было сполна продемонстрировано историей. Разумеется, отдельные и даже довольно многочисленные их представители могли выступить против режима, но (как показывает история РОА) — лишь в обстоятельствах, когда они оказались вне армии, вне повседневного надзора. Но ни о каком организованном восстании внутри армии и речи быть не могло.

Пополнение советского генералитета осуществлялось по принципу, как мы бы сказали, «отрицательного отбора», в чем можно было убедиться в ходе событий последних лет. Среди тысяч советских генералов не нашлось ни одного, ни одного единственного, порвавшего с советщиной, отказавшегося от «красного» ради «белого», ратовавшего за замену советской армии армией российской, никого, кто бы помянул добрым словом сражавшихся с большевиками русских патриотов, кто бы выступил с призывом вести преемственность от Российской императорской армии и разорвать преступную традицию разрушителей России. На разрыв с советской традицией не оказался способен ни один. Даже наиболее культурные, наиболее «продвинутые» и необычные для советского генералитета люди с серьезным интересом к истории (рождались и такие в

семьях советских генералов, причем таким удавалось преодолеть принцип «отрицательного отбора» как раз благодаря высокому положению родителей) при ближайшем рассмотрении оказываются укорененными в традиции советской армии.

Упомянутый в публикации Касатонов, между прочим, — один из самых лучших, есть и еще ряд ему подобных, занимающих высокие посты, но все же все они — только советские генералы. Спасибо, конечно, и на том, что они хотя бы настроены патриотично и активны в отстаивании своей линии — на фоне преобладающей массы откровенных подонков, тривиального жулья в генеральских погонах, людей апатичных и безразличных к судьбам страны или прямых предателей (не говоря уже о множестве генералов, радостно кинувшихся к кормушкам сепаратистских государств). Им можно, безусловно, пожелать успеха в отстаивании геополитических интересов страны, всячески в том поддерживая, но ждать от них превращения советской армии в подлинно российскую не стоит. Это (если произойдет) будет уделом представителей нынешнего среднего и низшего офицерского звена, среди которого вплоть до полковников, теперь уже немало таких, которые готовы напрочь отбросить советскую шелуху. Не думаю, что они сами могут что-то сделать, но если к власти придут люди с политической волей к соответствующим переменам, им будет на кого опереться. Едва ли это произойдет скоро, но зато и число таких людей (при условии невозвращения к власти откровенных коммунистов) будет со временем расти, а не уменьшаться.

1997 г.

Соблазн изоляционизма

В последние годы весьма распространилось течение, которое можно охарактеризовать как «новый русский национализм» — при всем уважении и всех славословиях в адрес старой России не имеющий корней в ее культурно-государственной традиции (почему и подвергающий остракизму даже некоторые основные принципы, на которых строилась реально-историческая Россия — Российская империя — вплоть до отрицания самой идеи Империи). Творчество и деятельность представителей этого направления — от Баркашова до Солженицына олицетворяет и выражает реакцию на ту дискриминационную политику, которая проводилась в Совдепии по отношению к великорусскому населению и довела его до нынешнего печального положения. То есть это национализм такого рода, какой свойствен малым угнетенным или притесняемым нациям и руководствуется (сознательно или бессознательно) идеей не национального величия, а национального выживания. В известной мере вследствие результатов «ленинской национальной политики» это явление имеет свое оправдание, это не вина, а беда нынешнего патриотического сознания. Однако же это печальное обстоятельство может служить оправданием возникновения этого течения, но отнюдь не его убожества и унизости для великой нации как таковой.

Не говоря уже о том, что победа этой точки зрения означала бы торжество недругов российской государственности, ибо означало бы коренной слом национального сознания: превращение психологии великого народа — субъекта истории в психологию рядового ее объекта. Ибо невозможно уйти от того факта, что в мировой истории объективно существуют великие державы, чье существование и соперничество определяет ход мировой истории и судьбы человеческой цивилизации и малые страны, не имеющие возможности самостоятельно влиять на ход событий (вносящие вклад в мировую цивилизацию лишь гением их отдельных представителей) и обреченные либо вовсе не участвовать в мировой политике, либо быть сателлитами первых. И соответственно есть психология гражданина великой страны, вершителя мировых судеб — и психология жителя малой страны, от которой ничего не зависит.

Привить психологию и мироощущение последних великой нации — значит вывести ее из числа вершителей истории. Именно так было поступлено после Второй мировой войны при создании Нового Мирового

Порядка, когда во имя закрепления единоличного лидерства США была сначала проведена хирургическая операция по слому национального сознания немцев и японцев, а с середины 50-х настала очередь англичан и французов, которые, лишенные своих владений в мире, потеряли со статусом мировых держав и возможность влиять на события в нем, что было закреплено насаждением соответствующей идеологии. Теперь они могут сколько угодно протестовать против засилья американской «масскультуры», засорения своего языка, за сохранение памятников национальной культуры (хотя не больно-то им это удастся, судя хотя бы по тому, что творится с парижской архитектурой), могут сколько угодно презирать и не любить американцев с их хамством и пошлостью, но они бессильны соперничать с ними на мировой арене и вынуждены плестись в хвосте американской политики.

Советское образование, соединенное с наивным мифологизаторством славянофилов XIX в. привело даже к распространению представлений о том, что Россия и рухнула-то едва ли не потому, что стала империей, «слишком расширилась», европеизировалась, полезла в европейские дела вместо того, чтобы, «сосредоточившись» в себе, пестовать некоторую «русскость». Курьезным образом в качестве недостатков в этих воззрениях называются как раз те моменты, которые как раз и обеспечили величие страны. Характерно, что они особенно развились в последнее десятилетие, когда российская государственность оказалась отброшена в границы Московской Руси и представляют (часто неосознанные) попытки задним числом оправдать это противоестественное положение и «обосновать», что это не так уж и плохо, что так оно и надо: Россия-де, «избавившись от имперского бремени», снова имеет шанс стать собственно Россией, культивировать свою русскость и т. п. Соответственно, допетровская Россия, находившаяся на обочине европейской политики и сосредоточенная «на себе», представляется тем идеалом, к которому стоит вернуться.

Излишне говорить, что такие мнения имеют тем большее хождение, что активно поддерживаются стратегическими врагами России, более всего озабоченными тем, чтобы Россия снова не превратилась в сверхдержаву, вернув себе свои исторические территории (почему главный идеологический удар начиная с середины 80-х годов всегда направлялся не столько против «национализма и шовинизма» или «православного фундаментализма», сколько именно против «имперского мышления», «российского империализма»). Если первые явления становятся обычно не более чем темой для показной паники в каких-нибудь «озабоченных» изданиях, то малейшему намеку на стремление российских властей

интегрировать постсоветское пространство придается самое серьезное значение на государственном уровне вплоть до угрозы войны. Тот же Солженицын может быть неприятен этим силам как «националист» и «фундаменталист», но его терпят, потому что он приемлем в главном, как борец с «империализмом», чьи предложения «обустроить Россию» в пределах границ Ивана Грозного никак не угрожают интересам установления «нового мирового порядка» во всем остальном мире. Будь он «империалистом», ему и рта не дали бы раскрыть, и никакие диссидентские заслуги не помогли бы (как не помогли Шафаревичу, «провинившемуся», правда, по другой части).

Потому что в отличие от недалеких и свихнувшихся на «русскости» современных патриотов, стратеги «нового мирового порядка» прекрасно понимают, что страна с такой численностью населения и границами, как нынешняя РФ (т. е. уполовиненная по сравнению с СССР), никогда не будет способна противостоять в военном отношении силам, возглавляемым США, даже при самом идеальном руководстве, самой эффективной экономике и самом возвышенном духе населения, тогда как СССР мог это делать при самом худшем. России все равно будет **слишком мало**. Точно так же, как безумны были надежды на мировое господство Германии: да, за счет лучшей организации и высочайшего морального духа можно побеждать противника с вдвое, втрое, может быть, вчетверо сильнее потенциалом, но есть чисто количественный предел — ни при каких условиях нельзя победить десятикратно превосходящего. Лишенная прибалтийских и черноморских портов, белорусского «сборочного цеха», потенциала украинской и казахстанской металлургии, туркменского газа, азербайджанской нефти, узбекского хлопка и т. д. и т. п. Россия никогда не встанет в число великих держав. Теперь все это имеет гораздо большее значение, чем прежде. Без всего этого можно было еще обойтись в XIX в. (тогда обладание этими территориями имело значение главным образом геополитическое, создавало угрозу недругам на всех направлениях), но нельзя в XX в., и тем более — в XXI.

Соблазн самоизоляции в пределах «русской резервации» психологически (вызванный нынешним бессилием) понятен, он даже, может быть, оправдан как временное явление, тактика момента (в конце-концов очевидно, что в настоящее время и в ближайшие годы не до возвращения утраченного). Однако весьма опасен как **идея**, как принципиальное положение, которое как бы навсегда закрывает путь к возвращению прежнего положения страны в мире. А именно так ставится вопрос, когда «антиимперская» идея переносится и в прошлое России,

обосновывая мысль, что никакого возвращения и не требуется, потому что и раньше этого не нужно было. Не знаю, чего тут больше — глупости или невежества. Во-первых, уже Московская Русь не была чисто русским государством, более того — если куда и расширялась — так именно на Юг и Восток (на Запад, куда больше всего хотелось — не удавалось), населенные культурно и этнически чуждым населением в присоединении которого обычно обвиняется империя Петербургского периода. Тогда как приобретенные последней в XVIII в. территории — это как раз исконные русские земли Киевской Руси.

Во-вторых, присоединить их, т. е. выполнить задачу «собрать русских» было немыслимо без участия в европейской политике, поскольку эти земли предстояло отобрать у европейских стран. Наконец, крайне наивно полагать, что какое бы то ни было государство вообще, тем более являющееся частью Европы (а Киевская Русь тем более была целиком и полностью европейским и никаким иным государством — тогда и азиатской примеси практически не было) и в течение столетий сталкивавшаяся в конфликтах с европейскими державами, могло отсидеться в стороне от европейской политики. За редким исключением островных государств (Япония) мировая история вообще не знает примеров успешной самоизоляции. Этого вообще невозможно избежать, не говоря уже о том, что тот, кто не желает становиться субъектом международной политики, неминуемо обречен стать ее объектом. Тем более это было невыгодно России, которая в XVII в. находилась в обделенном состоянии и перед ней стояла задача не удержать захваченное, а вернуть утраченное, что предполагало активную позицию и требовало самого активного участия в политике. Да она и пыталась это делать (еще в 1496–1497 гг. Иван III воевал со Швецией в союзе с Данией; и Ливонская война Ивана Грозного, и борьба за Смоленск в 1632–1634 гг. были прямым участием в общеевропейской политике, причем в последнем случае — непосредственным участием в Тридцатилетней войне, где Россия оказалась на стороне антигабсбургской коалиции, в 1656–1658 гг. Россия принимала участие в т. н. «1-й Северной войне» на стороне Польши и Дании против Швеции и Бранденбурга), только сил не хватало. Так что принципиальной разницы тут нет, дело только в результатах: в Московский период такое участие было безуспешным, а в Петербургский — принесло России огромные территории.

В-третьих, т. н. «европеизирование» являлось по большому счету только возвращением в Европу, откуда Русь была исторгнута татарским нашествием. Киевская Русь — великая европейская держава, временно

превратилась в Московский период в полуазиатскую окраину Европы, и это-то противоестественное положение и было исправлено в Петербургский период. Что же касается появившихся военно-экономических возможностей, то тут едва ли нужны «оправдания». Можно по-разному понимать «прогресс» (я склонен вообще отрицать его общеисторическое содержание), но технологическая его составляющая очевидна и не нуждается в комментариях. Заимствование европейского платья на этом фоне — не бездумное и самоцельное «обезьянничанье», а лишь технически-необходимый элемент использования адекватных принципов военного дела и экономико-технологического развития. В условиях, когда враждебный мир обретает более эффективные средства борьбы, грозящие данной цивилизации гибелью или подчинением, для нее, не желающей поступиться основными принципами своего внутреннего строя, может существовать лишь одно решение: измениться внешне, чтобы не измениться внутренне. Так поступила Россия в начале XVIII в., так поступила Япония в середине XIX в. (Именно этот эффект — сочетания европейской «внешности», т. е. культурно-военно-технических атрибутов с собственной более здоровой внутренней организацией и позволил им примерно через сто лет: России к началу XIX, а Японии к середине XX в. стать ведущими державами в своих регионах.) Страны, не сделавшие это, будь это самые великие империи Востока — государство Великих Моголов в Индии, Турция, Иран, Китай — превратились в XIX в. в полуколонии европейских держав (а более мелкие государства — в колонии). Россия и Япония не только избежали этой участи, но в начале XX в. были среди тех, кто вершил судьбы мира.

В-четвертых, ставить в вину российским императорам какие-то «ошибки», не понимая ни существа стоящих перед ними задач, ни идеалов, которыми каждый из них руководствовался, не чувствуя духа времени, не зная ни их реальных возможностей, ни всей совокупности конкретных (очень и очень конкретных!) обстоятельств, при которых им приходилось принимать решения, ни особенностей мышления каждого из них и тех влияний, которые они считали существенными или не очень существенными, короче говоря, оценивать политику российских самодержцев с точки зрения современных представлений о прошлом и исходя из багажа советского человека, попросту смехотворно. Поистине, «как будто в истории орудовала компания двоечников». Разумеется, и с точки зрения современных им политических условий направили российскую политику не всегда поступали наилучшим образом. Но ведь они были — только люди. Дело ведь не в том, чтобы не делать ошибок, а в

том, чтобы делать их меньше, чем другие. Рассматривая российскую политику в отрыве от политики других стран, можно усмотреть и весьма серьезные недостатки русских императоров. Но на общеисторическом фоне картина будет совершенно иной, ибо сами результаты (постоянный и неуклонный рост могущества России в XVIII — первой половине XIX вв.) свидетельствуют, что ошибок тогда делалось меньше, чем когда бы то ни было — в прошлом и будущем. И кого принимать за образец, коль скоро лидеры других стран делали ошибок еще больше?

Увы, бичевание имперского прошлого, будет чем дальше, тем больше подпитываться сохраняющейся слабостью России и порождаемой ею безнадежностью. Найдутся, наверное, люди, которые будут искать положительные стороны и в случае раздробления на независимые владения и территории нынешней РФ, находя оправдание таковому в каких-то «достоинствах» (какое-нибудь там «многообразие политических форм») периода раздельного существования русских княжеств. Но если России суждено будет восстановить свою мощь, то надо ли сомневаться, что всякие рассуждения о необходимости «забыть о претензиях прошлого» будут отброшены, а само это великое прошлое имперской России вновь предстанет перед ее наследниками во всем своем блеске и славе.

1997 г.

Вторая мировая война и русская эмиграция

Вопрос об участии эмиграции в Русском освободительном движении в годы Второй мировой войны относится к числу тех, относительно которых общественное мнение в Совдепии было информировано самым превратным образом. Представление сводилось в общем к тому, что большинство эмиграции всемерно поддерживало Советский Союз, причем в ходе войны убедилось в «исторической правоте Советской власти», отчего и превратилось в «советских патриотов», хотя отдельные ее представители, «одержимые классовой ненавистью», сотрудничали с немцами. Представление это вполне соответствовало интересам советской пропаганды и ею же, естественно, формировалось.

Причины очевидны. После войны русская белая эмиграция перестала существовать как военно-политическая сила и, следовательно, как непосредственная угроза советскому режиму. Однако она осталась как единственно законная хранительница и носительница идеи и традиций российской государственности и в этом смысле выступала в качестве идеологической альтернативы советскому коммунизму, который как раз в это время особенно активно пытался паразитировать на атрибуте уничтоженной им России. Поэтому акценты в советской пропаганде закономерно сместились с тотального изображения всей эмиграции как «иностранный агентуры» (характерно, что любые эмигрантские воинские объединения — будь то полковые, инвалидные, профессиональные, — именовались даже в справочниках «для служебного пользования» не иначе, как «военно-фашистская организация, созданная для...») на внедрение тезиса о том, что эмиграции (за исключением отдельных злобствующих одиночек) вообще больше не существует: она-де, признав СССР законным носителем российской государственности, с началом войны «воссоединилась» с ним. Такая трактовка для интересов советского режима выглядела идеально, т. к. наилучшим образом подкрепляла самый драгоценный для позднего сталинизма постулат: «Мы есть законные наследники и подлинные продолжатели российской государственности, следовательно, все наши враги есть враги России.» Характерно, кстати, что именно такие взгляды пропагандируются наиболее откровенными коммунистами в нынешней России (излюбленный тезис Зюганова состоит в том, что никаких красных и белых сейчас быть не может, поскольку еще с началом войны они объединились — «историю надо знать»).

Дело, между тем, заключалось в том, что «знать историю» в Совдепии было нельзя. Поскольку до начала 90-х годов никакой достоверной информацией по этому вопросу не только рядовые образованные обыватели, но и интересовавшиеся проблемой истории получить не могли, господству указанной точки зрения ничто не мешало, тем более, что целый ряд послевоенных возвращенцев, типа Вертинского, был широко известен. Если «власовцы» еще упоминались как пример «шкурнического» предательства (для советского человека не нуждавшегося в объяснении), то участие белой эмиграции в борьбе с советским режимом (тут вопрос о «предательстве» даже для сознания советского человека не стоял, т. к. и ему было очевидно, что белые эмигранты не только никогда не служили в Красной Армии, но, напротив, всегда против нее-то именно и боролись, почему и оказались за границей), пришлось бы объяснять, рискуя затронуть вопрос об ином, чем советско-коммунистическое, понимании патриотизма, а это уже было идеологически смертельно опасно. Поэтому советский человек никогда не слышал ни о Русском Корпусе, ни о других подобных формированиях.

Располагая же достаточной информацией по этому вопросу, нельзя не прийти к выводу, что реальное участие русской эмиграции в событиях Второй мировой войны носило характер противоположный тому, какой представлялся по впечатлениям, почерпнутым в СССР в 40–80-е годы. Подавляющее большинство русской белой эмиграции, активно участвовавшей в событиях, сражалось против советского режима, гораздо меньшая часть участвовала в войне в составе армий западных стран-участниц антигерманской коалиции, и практически никто (вот такое действительно было исключением) не воевал на стороне Советского Союза или его союзников-коммунистов.

Вообще, анализируя эту проблему следует прежде всего иметь в виду три вещи. Во-первых, существует большая разница между «настроением» (отношением к событиям, оценкой их и т. д.) и поведением (участием в событиях). Настроения в эмиграции действительно были разные. Количественно их оценить затруднительно (можно судить разве по тому, что «советский патриотизм» затронул все же меньшинство эмиграции, для чего достаточно посмотреть, какова была доля возвращенцев и взявших после войны советский паспорт: из сотен тысяч этим правом воспользовалось более 6 тыс. чел. в Югославии и около 11 тыс. во Франции, из которых около 2 тыс. выехало в СССР). А вот участие в борьбе фиксируется достаточно четко, причем оказывается, что число участников антикоммунистических вооруженных формирований (а это многие десятки

тысяч человек — более 17 тыс. в одном только Русском Корпусе) далеко превосходит несколько тысяч, призванных в английскую, французскую и другие армии и тем более не идет в сравнение с несколькими десятками эмигрантов (пусть даже сотнями, если бы такое могло быть доказано), примкнувших к коммунистическим партизанам.

Во-вторых, следует учитывать фактор зависимости судьбы эмигрантов от места проживания и иных подобных обстоятельств и «добровольности» их выбора. Хорошо известно, что жившие на Балканах, и в Восточной Европе в основном служили в Русском Корпусе и других русских антисоветских объединениях и после войны многие из них были схвачены большевиками и частью расстреляны, частью сгинули в лагерях. Жившие в Западной Европе (прежде всего во Франции) избежали этой участи, причем часть (призывного возраста) воевала в составе французской армии (в ее составе в 1939–1945 гг. было убито в общей сложности более 300 русских эмигрантов). Однако следует иметь в виду, что служившие в армиях антигерманской коалиции — это, за небольшим исключением, граждане соответствующих государств, которые в любом случае не могли избежать призыва (к тому же в значительной части представители более молодого поколения эмиграции, не принимавшие непосредственного участия в гражданской войне, поэтому их позиция и не вполне для белой эмиграции характерна, и не вполне добровольна). Тогда как жившие в Восточной Европе и вообще на оккупированных немцами территориях в немецкую армию не призывались, и их выбор был вполне добровольным.

В-третьих, отношение в эмигрантской среде к проблеме борьбы с советским режимом или его поддержки перед Второй мировой войной и с ее началом в 1939–1940 гг., со времени непосредственного столкновения Германии с Советским Союзом в 1941 г., после 1943 г. и, наконец, в самом конце войны и сразу после ее окончания — вещи достаточно разные, поскольку на каждом из этих этапов слишком многие вполне реальные обстоятельства объективно сильно менялись. Так что чувства, испытываемые даже одним и тем же конкретным белым русским эмигрантом, могли быть тоже разными.

В конце 30-х годов на повестке дня стоял вопрос о войне европейских стран (в т. ч. и союзников России по Первой мировой войне) с СССР, что как бы воспроизводило ситуацию времен Гражданской войны и открывало перед эмиграцией перспективы возобновления борьбы в том же самом качестве, что и 20 лет назад, а такие перспективы не могли вызвать возражения ни у кого из тех, кто продолжал относить себя к белым. Однако Вторая мировая война началась в 1939 г. столкновением между самими

европейскими странами-противниками большевизма, причем СССР выступал в качестве союзника Германии, и такой поворот событий уже не мог не расколоть эмиграцию по той причине, что там традиционно (как и в старой России) имелись сторонники как германской, так и англо-французской ориентации. Кроме того, значительная часть эмиграции самым ходом событий превратилась в противников Германии: многим пришлось воевать против нее в составе французской, польской и югославской армий (в офицерском составе последней было особенно много русских эмигрантов) и оказаться в плену, а, главное, на оккупированных немцами территориях организации и органы печати белой эмиграции преследовались немцами именно по причине своей враждебности к Советскому Союзу — тогда другу и союзнику Германии (по этой самой причине был закрыт флагман белой мысли, журнал «Часовой» и арестовано множество русских эмигрантов соответствующей ориентации). Наконец, немало белых эмигрантов было уничтожено Красной Армией на территориях, занятых ею в 1939–1940 гг. в результате германо-советского союза.

Когда же в 1941 г. началась германо-советская война, это вновь изменило ситуацию: с одной стороны, появилась реальная возможность краха советского режима, с другой — приходилось считаться с возможностью реализации немцами своих собственных планов относительно России, причем первое время ситуация была не вполне ясна. С одной стороны, массовые сдачи в плен и многочисленные встречи немцев хлебом-солью и цветами (совершенно не известные советскому читателю и по сей день, но хорошо известные в то время в Европе) были для русских эмигрантов очевидным свидетельством, мягко говоря, невысокой степени любви населения к коммунистическому режиму, с другой, политика немецких национал-социалистов в отношении этого населения не успела проявиться в полной мере и оставляла место для иллюзий. К началу 1943 г., когда стало очевидным, что, во-первых, реальная германская политика в отношении России определяется не объективными геополитическими интересами Германии (носителем которых была значительная часть немецкого офицерского корпуса, о чем было хорошо известно в эмигрантской среде — она на этом и строила расчеты), а целиком и полностью идеологическими установками гитлеровской партии, а во-вторых, что коммунистический режим сделал успешную ставку на мимикрию под патриотизм (пойдя в этом идеологическом мародерстве вплоть до введения дореволюционных офицерских погон), эти обстоятельства не могли не повлиять на некоторую

часть эмиграции. Наконец, результаты войны (та объективная ситуация, которая сложилась после ее окончания) уже задним числом влияли на оценку участниками событий их позиции в предвоенные и военные годы. Тем более они довели и довлеют над теми, кто не только не жил в те годы, но и не имеет представления о том, как быстро и резко менялась политическая обстановка в конце 30-х — начале 40-х годов.

Все это следует учитывать, но, как бы там ни было, а в виду возможности германо-советского столкновения в эмиграции существовали две основные точки зрения, равно исходившие из необходимости ликвидации советско-коммунистического режима, но расходившиеся в оценке как возможности свержения его «изнутри», так и германской политики в отношении России. «Оборонческая» исходила из абсолютного недоверия к Германии (независимо даже от существующего в ней режима), а с другой стороны, возлагала надежды на то, что советский режим, вынужденный защищать себя, будет объективно защищать и территорию исторической России от германских appetitов, в ходе чего может эволюционировать. Главная же надежда возлагалась на то, что после победы над внешним врагом коммунистический режим будет свергнут армией-победительницей. Мысль о том, что Красная Армия, победив немцев, повернет штыки против большевиков, нашла наиболее полное выражение в «двойной задаче», которую «ставил» ей А. И. Деникин, ставший наиболее видным сторонником этой точки зрения. Вообще надо сказать, что среди ее сторонников преобладали деятели, особенно твердо в годы гражданской войны (как ген. Деникин) придерживавшиеся «союзнической» ориентации, а также более либеральные и относительно левые круги. Советско-германский альянс 1939–1940 гг. их обескуражил, но то обстоятельство, что в конце-концов (с 1941 г.) СССР оказался в ходе Второй мировой войны в компании союзников России по Первой мировой войне, на которых это крыло эмиграции традиционно ориентировалось, объективно усилило их позицию. Сторонников этой точки зрения (остававшихся вполне белыми) нельзя, впрочем, путать с «советскими патриотами» послевоенных лет — то были люди, порвавшие со своим прошлым, которых к белой эмиграции отнести было уже нельзя.

Другая точка зрения, которой и придерживалось большинство эмиграции, особенно более правые, в том числе все монархические, круги, а также, само собой, сторонники германской ориентации, сводилась к тому, чтобы прежде всего использовать любую возможность для продолжения вооруженной борьбы с советской властью. Исходя из самой сути Белой борьбы, такой подход нельзя не признать более последовательным,

поскольку за это время ничего принципиально не изменилось, и коммунистический режим не стал менее преступным оттого, что просуществовал два десятилетия (напротив, добавил к своим жертвам еще несколько миллионов людей). Закономерно рассматривая советский режим в качестве наибольшего, абсолютного зла, большинство белой эмиграции следовало заветам последнего руководителя Белой борьбы ген. Врангеля, руководствовавшегося принципом «против большевиков — с кем угодно».

Что касается отношения к Германии, то большинство сторонников этой точки зрения рассматривали и ее как безусловное зло (особенно при национал-социалистическом режиме), однако зло меньшее, чем большевики. Меньшее уже по той причине, что внешнее — хотя и способное нанести вред геополитическим интересам России, но бессильное поработить и выхолостить саму душу русского народа, как это пытались (и не без успеха) делать коммунисты, создатели «нового человека». Кроме того, они твердо знали, что завоевание и оккупация России — задача для немцев явно непосильная, в чем последним придется рано или поздно убедиться. Оказавшись же не в состоянии удерживать под своим контролем огромные российские территории, Германия окажется перед выбором: или проиграть войну, или, пойдя на союз с новой, сбросившей иго коммунизма Россией и обеспечив, по крайней мере ее благожелательный нейтралитет, постараться выиграть войну на Западе. Поэтому они, кстати, радовались первым поражениям немцев под Москвой, поскольку это должно было способствовать отрезвлению последних и заставить их осознать, что победить Сталина можно только воюя не против России, а против коммунизма.

Тезиса об извечной враждебности и противоположности интересов России и Германии большинство эмиграции не принимало, к чему имело все основания. Ведь объективно на протяжении всей предшествующей истории до Первой мировой войны Германия была все-таки наиболее дружественным России государством в Европе (за все время существования германской государственности столкновение ее с российской произошло лишь однажды — в Семилетнюю войну). Столкновение же с Германией в Первой мировой войне, столь тяготевшее над умами и чувствами ее участников, не затмевало для многих мысли о нелепости, ненужности и невыгодности для России этого столкновения (а сторонники германской ориентации полагали даже, что России следовало выступить на другой стороне). Наконец, участники Белой борьбы хорошо помнили то уважение и благожелательное отношение, которое было проявлено к ним в 1918 г. немецким офицерством даже вопреки тогдашней

позиции политических кругов Германии, способствовавших приходу к власти большевиков и поддерживавших с ними выгодные для себя отношения. Все это позволяло надеяться, что политика Германии в конце-концов будет определяться не партийно-политическим руководством НСДАП, а армейскими кругами, которые, руководствуясь прагматическими соображениями, пойдут на союз с национальной Россией.

Военные круги, составлявшие ядро русской эмиграции, инстинктивно тяготели к себе подобным и склонны были переоценивать роль армии в политической жизни тоталитарных государств, каковыми были гитлеровская Германия и коммунистическая Совдепия, ожидая одни от Красной, другие от германской армий восстания против политического режима (хотя следует заметить, что последние заблуждались в меньшей степени: в Германии в годы войны имел-таки место едва не удавшийся военный заговор, тогда как в Совдепии ни о чем подобном и речи быть не могло). Не понимая до конца природу тоталитарных диктатур (тем более, что советский и гитлеровский режим были первыми опытами такого рода в человеческой истории), они всегда были склонны недооценивать идеологической составляющей соответствующего режима, полагая ее чем-то второстепенным, от чего можно при случае отказаться. Неудивительно поэтому, что и то большинство эмиграции, о котором шла речь выше, не представляло, до какой степени определяющей для немецкой политики была идеология нацистской партии, ведущей Германию по самоубийственному пути. Самой нацистской идеологии (как, во-первых, социалистической, во-вторых, антиславянской) эмиграция за единичными исключениями не сочувствовала, ибо даже сторонники германской ориентации имели в виду, конечно, традиционную германскую государственность. Но существо идеологии гитлеровской партии тогда мало кто хорошо представлял (фашизм в 30-е годы часто рассматривался лишь как одна из форм национального движения), и тем более трудно было представить, что она сделает германскую политику такой, какой та оказалась.

В силу всех этих соображений и обстоятельств, большинство русской военной эмиграции восприняло начало военных действий на Востоке с надеждой принять в них участие и послужить тем ядром, вокруг которого сплотятся противники коммунистического режима в России, после чего с немцами можно было бы разговаривать с позиции силы, поскольку одолеть национальную Россию у тех шансов и вовсе не было бы. Поэтому при создании добровольческих русских воинских формирований последними обычно ставилось условие, что они не будут использованы в борьбе против

западных противников Германии, а направлены в Россию. Однако цели и устремления белых русских были для германского руководства совершенно очевидны, почему оно и препятствовало отправке на Восточный фронт крупных соединений, целиком состоящих из русских эмигрантов. По вопросу об участии эмигрантских формирований в борьбе с советским режимом в германских руководящих кругах шла точно такая же борьба, как и в отношении РОА: к этому с сочувствием относилось военное командование, но с крайней неприязнью — партийные круги и Гестапо. В этом смысле наиболее показательна история Русского Корпуса — наиболее крупного эмигрантского формирования.

Летом 1941 г. в условиях развернутого местными коммунистами террора против русских эмигрантов (вырезывались иногда поголовно целые семьи, только до 1.09.1941 г. было зарегистрировано более 250 случаев одиночных и групповых убийств) возглавлявший эмиграцию в Югославии генерал-майор М. Ф. Скородумов выступил с инициативой организации русской части для защиты эмигрантского населения и 12.09.1941 г. отдал приказ о формировании Русского Корпуса, имея в виду последующую переброску его на Восточный фронт для борьбы против коммунизма. Но вследствие политики немецкого партийного руководства эти надежды не оправдались, настаивавший на этом Скородумов был арестован, и корпус остался в Югославии, сражаясь против местных титовских коммунистов. В корпус вступили представители трех поколений русской эмиграции (наряду с 16–18-летними внуками белых офицеров, был ряд лиц старше 70 лет). Особую жертвенность проявили старые офицеры, вынужденные за недостатком командных должностей всю службу провести рядовыми. Корпус во главе с генерал-лейтенант Б. А. Штейфоном (начальник штаба генерал-майор Б. В. Гонтарев) состоял из 5 полков (бригадами и полками командовали генерал-майоры В. Э. Зборовский, Д. П. Драценко, И. К. Кириенко, А. Н. Черепов, В. И. Морозов, Егоров, полковники А. И. Рогожин, Б. С. Гескет, Б. А. Мержанов, А. А. Эйхгольц, Д. В. Шатилов, подполковник Н. Н. Попов-Кокоулин). Корпус, выведенный заменившим умершего Штейфона полковником Рогожиным в Австрию, прекратил существование 1.11.1945 г. в лагере Келлерберг, превратившись в Союз чинов Русского Корпуса.

Первоначальное ядро чинов корпуса составили проживавшие в Югославии — из состоявших на 12.09.1944 г. 11197 чел. из Сербии было 3198 и Хорватии 272; из Румынии прибыло 5067, из Болгарии — 1961, Венгрии — 288, Греции — 58, Польши — 19, Латвии — 8, Германии — 7, Италии 3 и Франции — 2 человека, было и 314 советских военнопленных.

Из них до 40 лет было 5817, 41–50 лет — 3042 и старше — 2338. За все время из состава корпуса выбыло 11506 чел.: убито и умерло 1132 чел., пропало без вести 2297, ранено 3280, эвакуировано по болезни и уволено 3740 и убыло самовольно 1057. Поскольку границу Австрии 12.05.1945 г. перешло 4500 чел. и находилось тогда в лазаретах и командировках 1084, общее число прошедших через корпус определяется в 17090 чел., но с учетом недостачи сведений по уволенным в первые месяцы 1941 г. оно на несколько сот больше. Среди корпусников были представлены несколькими офицерами практически все сохранившиеся в эмиграции объединения полков Императорской и белых армий и военно-учебные заведения.

Целый ряд офицеров-эмигрантов принимал участие в деятельности РОА (много сделал для ее создания служивший в германской армии капитан В. Штрик-Штрикфельд, среди ее руководства были генералы В. И. Ангелеев, В. Ф. Белогорцев, С. К. Бородин, полковники К. Г. Кромиади, И. К. Сахаров, Н. А. Шоколи, подполковник А. Д. Архипов, а также М. В. Томашевский, Ю. К. Мейер, В. Мельников, Скаржинский, Голубь и др., некоторое время с ней сотрудничал генерал-майор Б. С. Пермикин). Поддержку РОА оказывали также генералы А. П. Архангельский, А. А. фон Лампе, А. М. Драгомиров, Н. Н. Головин, Ф. Ф. Абрамов, Е. И. Балабин, И. А. Поляков, В. В. Крейтер, Донской и Кубанский атаманы генералы Г. В. Татаркин и В. Г. Науменко. Правда, между бывшими советскими пленными и старыми эмигрантами существовал некоторый антагонизм и последние постепенно были вытеснены из руководства РОА. Большинство из них служило в других, не связанных с РОА русских добровольческих формированиях (лишь в самом конце войны в большинстве формально присоединившихся к РОА) — бригаде ген. А. В. Туркула в Австрии, 1-й Русской национальной армии ген. Б. А. Хольмстона-Смысловского, полку «Варяг» полковника М. А. Семенова, отдельном полку полковника Кржижановского и, разумеется, в казачьих соединениях (15-й Казачий кавалерийский корпус и Казачий стан).

Хольмстону-Смысловскому (в войсках которого все командные посты занимали штаб-офицеры из старых эмигрантов: Ряснянский, Месснер, Тарасов-Соболев, Бобриков, Истомин, Кондырев, Колюбакин, Каширин, Климентьев) удалось вывести свои части в Лихтенштейн и избежать выдачи. Большинство чинов РОА было, как известно, выдано, но старые эмигранты выдаче в принципе не подлежали и пострадали лишь некоторые из них. (Следует отметить, что среди офицеров антисоветских формирований некоторые, как глава Казачьего стана Т. И. Доманов, видные деятели РОА В. Ф. Малышкин, М. А. Меандров, М. В. Богданов, А. Н.

Севастьянов, Ф. И. Трухин, в свое время тоже были офицерами русской армии, но либо изначально служили в Красной армии, либо попали туда после плена во время Гражданской войны.) Наиболее тяжелая участь постигла казачьих офицеров (казаки, в абсолютном большинстве к началу войны остававшиеся на Балканах, практически поголовно служили в антисоветских частях): 28 мая 1945 г. все они (в т. ч. более половины, 1430 — не подлежащих выдаче старых эмигрантов) — в общей сложности 2756 офицеров (в т. ч. 35 генералов во главе с П. Н. и С. Н. Красновыми, А. Г. Шкуро, Т. И. Домановым, 167 полковников, 283 войсковых старшины, 375 есаулов, 460 подъесаулов, 526 сотников, 756 хорунжих, 124 военных чиновника, 15 офицеров санитарной службы, 2 фотографа, 2 священника, 2 дирижера, 2 переводчика и 5 офицеров связи РОА) должны были быть переданы советам.

Реально (за исключением не явившихся, покончивших самоубийством, бежавших и убитых) было передано 2146 (из которых 68 % старых эмигрантов); большинство было расстреляно еще в Австрии. В Маньчжурии позже были захвачены проживавшие там ген. Г. М. Семенов и множество других офицеров, часть которых была убита на месте, некоторые вывезены и расстреляны в Монголии, а остальные — на территории СССР. Позже, после установления коммунистического режима во всем Китае, та же участь постигла и офицеров, не успевших выехать из Шанхая и других городов. После 1945 г. начался массовый исход русских эмигрантов из Европы в США и Южную Америку (прежде всего в Аргентину). Из Китая они перебирались на Филиппины, а оттуда в Австралию и США.

Таким образом, после Второй мировой войны русские воинские формирования никогда уже более не возродились. Замыслы русской эмиграции свергнуть коммунистический режим потерпели очевидное поражение, а участникам этой борьбы от оставшихся в стороне от нее пришлось выслушать немало упреков в ошибочности их выбора. Речь в данном случае не идет об обвинениях в «сотрудничестве с фашизмом» со стороны советских или западных идеологов, которые вовсе не заслуживают рассмотрения по причине полной смехотворности и крайней неэтичности. Накануне войны «сотрудничество с фашизмом» было краеугольным камнем политики как западных держав (по доброму согласию с которыми Гитлер расправился с Австрией и Чехословакией и которые стремились натравить его на Сталина), так и советского руководства (которое в союзе с Германией громило Польшу и присоединяло Прибалтику, именуя тогда Гитлера не иначе как «великим вождем немецкого народа»). Обе стороны

стремились использовать нацистскую Германию в борьбе против друг друга, и коль скоро подобное стремление было нормальной политикой могущественных независимых держав, обладающих сопоставимыми с германской армиями, то уж не их представителям упрекать в подобном стремлении бедных русских эмигрантов, не имевших за душой ничего, кроме желания видеть свою родину свободной от того режима, который почитался преступным и с точки зрения «западных демократий». Это после войны нацистский режим стал символом абсолютного зла, но перед войной по принципу «с кем угодно, лишь бы против Гитлера» не только никто не действовал, но действовали прямо противоположным образом.

Речь идет об упреках из собственной же эмигрантской среды, со стороны сторонников «оборонческой» точки зрения. Насколько, однако, такие упреки могли быть справедливы? Если исходить из чисто «шкурных» соображений, то — безусловно справедливы. Поскольку попасть в Россию в качестве крупной вооруженной силы и осуществить свои замыслы им не удалось, а Германия потерпела поражение, русские эмигранты, сделавшие ставку на борьбу с советским режимом, остались «у разбитого корыта», да еще и в весьма тяжелом моральном положении — с клеймом «коллорабационистов», подвергаясь различным притеснениям и ограничениям, а многие, будучи выданы Сталину, погибли. Однако поскольку упрекавшие имели в виду все-таки не «шкурные» соображения, то, оставаясь на позициях верности идеалам и целям Белого движения (а обе точки зрения исходили из того, что главная задача — свержение Советов; «советскими патриотами» стало меньшинство даже «оборонцев»), приходится признать, что и в идейном и в историческом смысле безусловно правы были все-таки те, кто воспользовался возможностью возобновить вооруженную борьбу против коммунизма. Не говоря уже о том, что именно этого безусловно требовали идеалы того дела, защищая которое, они оказались в эмиграции, это на самом деле было **единственной реальной возможностью** покончить с советско-коммунистическим режимом в России. Эта возможность не осуществилась, но так **был хотя бы шанс**, тогда как у «оборончества» никаких перспектив не было **вообще**. Если первым по совокупности обстоятельств осуществить свои планы не удалось, то вторые заблуждались **в принципе**.

Их надежды на выступление Красной Армии против большевистского режима были поистине вершиной политической наивности. В политической системе идеократического режима, тем более насильно навязанного, ни один элемент не играет такой важной роли для его выживания и, соответственно, не находится под таким пристальным

контролем правящей партии, как именно армия. Она всегда воспитывается в наибольшей преданности идеалам режима и способна изменить ему не первой, а последней. Да и странно было бы ожидать, что люди, добровольно сделавшие своей профессией защиту режима с оружием в руках, окажутся менее ему преданными, чем любые другие. В непонимании этого, в общем, естественного обстоятельства коренились все бесконечные иллюзии, которым предавалась эмиграция с 20-х годов (когда кое-кто вполне серьезно полагал, что Красная Армия чуть ли не со дня на день возьмет штурмом Кремль и свергнет большевиков). При всей очевидности с высоты сегодняшнего знания глупости и наивности подобных ожиданий, следует сказать, что до конца 20-х годов они еще имели хоть какие-то основания, поскольку в армии еще оставалось много бывших русских офицеров. Независимо от объективных результатов своего поведения, многие из них сознательно или подсознательно надеялись, что, находясь в рядах большевицкой армии, они смогут когда-нибудь «переделать» ее и поставить на службу российским интересам. В этом их помыслы соответствовали той «двойной задаче», которую ставил Красной Армии Деникин (который, собственно, и развил свою теорию, исходя из мысли о наличии подобных людей и настроений в Красной Армии).

Дело, однако, в том, что большевики не хуже их представляли себе возможность такого поворота событий и истребили всех потенциальных носителей этой идеологии вскоре же после гражданской войны, так что деникинская идея к моменту, когда была высказана, являлась совершенно беспочвенной. Но уж ожидать чего-либо подобного от офицеров советской формации было полным безумием, что и было сполна продемонстрировано историей. Разумеется, отдельные и даже довольно многочисленные их представители могли выступить против режима, но (как показывает история РОА) — лишь в обстоятельствах, когда они оказались вне структур Красной Армии, вне повседневного надзора. Но ни о каком организованном восстании внутри армии и речи быть не могло. Это еще в германской армии что-то такое было (и оказалось в 1944 г.) возможно, т. к. гитлеровский режим существовал к моменту войны всего несколько лет и подавляющее большинство его офицеров было воспитано в традиционном духе, но советский к тому времени имел практически 100 % чисто «своих».

Так что последующий ход событий вполне подтвердил полнейшую нищету «оборонческой» идеологии. Да, война окончилась так, как они рассчитывали. Но советско-коммунистический режим после победоносной войны не только не исчез, но и сущности своей не изменил. В чем, кстати, и пришлось на горьком опыте убедиться жившим в Восточной Европе

«оборонцам», которые, несмотря на неучастие в войне, были все равно коммунистами истреблены или брошены в лагеря. Подобная участь постигла даже и многих возвращенцев. Судьба этих репатриантов, поверивших в «перерождение» советского режима, за единичными исключениями была столь же трагичной, как и захваченных в Восточной Европе: они в лучшем случае отправлялись в ссылку в Среднюю Азию, в худшем — после ареста погибли в лагерях. Напротив, режим неимоверно укрепился, именно после войны пришлось окончательно распрощаться с надеждами на его свержение изнутри, поскольку наиболее непримиримо настроенные к режиму люди покинули страну, а в общественном сознании произошли радикальные сдвиги в смысле формирования убеждения, что «это навсегда», и предел мечтаний — более «либеральный» коммунизм «с человеческим лицом».

Следует подчеркнуть, что, исходя из той системы взглядов и ценностей, которыми руководствовалась вся белая эмиграция независимо от ее позиции в годы войны, советско-коммунистический режим в России продолжает существовать и в настоящее время. Не потому только, что власть в стране по-прежнему находится в руках той же самой коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что остаются незыблемыми его юридические и идеологические основы, то есть как раз все то, что было бы уничтожено прежде всего в случае победы Белого движения в гражданской войне и в случае осуществления чаяний белой эмиграции. Поступившись частично экономическими принципами и отодвинув в тень наиболее одиозные идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идеологическую и юридическую преемственность от большевицкого переворота, отмечая его как государственный праздник, и ведя свою родословную не от исторической России, а от созданного Лениным Советского государства. В учебниках истории борьба против исторической российской государственности и ее уничтожение большевиками одобряются, защитники советской власти восхваляются, а ее противники осуждаются. То есть, едва ли нуждается в особых доказательствах тот очевидный факт, что для нынешней власти на территории России красные являются «своими», а белые — врагами.

Исторический опыт показывает, что тоталитарные режимы, созданные не внешним завоеванием (как, например, восточноевропейские), а изнутри — путем внутренней революции, не могут быть свергнуты в обозримой исторической перспективе одними только внутренними силами без внешнего военного воздействия. Два таких известных режима — нацистский в Германии и коммунистический в Камбодже были

уничтожены военным путем, остальные (китайский, вьетнамский, кубинский, советский) существуют (пусть даже сильно «помягчав» и видоизменившись) и по настоящее время. Для их полной ликвидации без внешнего воздействия требуется, по-видимому, такая длительная эволюция, которая лежит далеко за пределами жизни поколения, помнящего докоммунистические времена, не ранее, чем у вершин власти окажется первое поколение, воспитывавшееся уже в период крайнего ослабления режима, вне идеологического диктата.

1997 г.

К вопросу о коммунистической «державности»

Современное восприятие компартии, обеспечивающее ей заметную популярность базируется, в сущности, на некоторых постулатах идейно-политического течения, известного как «национал-большевизм», которые удалось внедрить в общественное сознание. Постулаты эти (разнящиеся по форме выражения вплоть до полного противоречия в зависимости от среды, где распространяются) сводятся к тому, что: 1) коммунизм есть органичное для России учение, 2) коммунисты всегда были (или, по крайней мере, стали) носителями патриотизма и выразителями национальных интересов страны, 3) ныне они — «другие», «перевоспитавшиеся», — возглавляют и объединяют «все патриотические силы» — и «белых», и «красных» (разница между которыми потеряла смысл) в противостоянии с «антироссийскими силами», 4) только на основе идеологии «единства советской и досоветской традиции» и под водительством «патриотического» руководства КПРФ возможно реинтеграция страны и возрождение ее величия.

Патриотический имидж компартии складывается из трех основных вещей: простого использования патриотических лозунгов в качестве временного камуфляжа — тактической мимикрии под патриотов коммунистов, никаких привязанностей к патриотизму в душе не испытывающих, национал-большевизма как особой идеологии, всерьез пытающейся соединить несоединимое, и сотрудничества с коммунистами отдельных лиц, которые ранее имели некоммунистическую репутацию. Наиболее существенным компонентом является, конечно, национал-большевизм, протаскивающий советско-коммунистическую отраву в национально-патриотической упаковке, которая имеет гораздо большие шансы быть воспринятой неискушенными в идейно-политических вопросах людьми, чем откровенно красная проповедь ортодоксов.

Рассуждения об «органичности» для России коммунизма и социализма имеют сравнительно небольшое значение для массы населения, не интересующейся столь отвлеченными вещами. Заметим лишь, что тут существуют два подхода. В первом случае теория и практика советского коммунизма подаются (благодаря практически всеобщей неосведомленности в исторических реалиях) как продолжение или возрождение традиций «русской общинности и соборности», преданных

забвению за XVIII–XIX вв., т. е. сам коммунизм выступает как учение глубоко русское, но, к сожалению, извращенное и использованное «жидами и масонами» в своих интересах. Во втором — «изначальный» коммунизм признается учением чуждым и по замыслу антироссийским, которое, однако, «пережитое» Россией и внутренне ею переработанное, ныне превратилось в истинно русское учение, — т. е. в этом случае «извращение» приписывается прямо противоположным силам и носит положительный характер. Но в любом случае ныне именно коммунизм объявляется «русской идеологией». Такое понимание роли коммунизма в российской истории логически требует объявления носителем его (до появления компартии) православной церкви, а очевидное противоречие, заключающееся в хорошо известном отношении к последней советского режима, списывается на «ошибки», совершенные благодаря проискам враждебных сил. Поскольку же к настоящему времени ошибки преодолены, а происки разоблачены, ничто не мешает православным быть коммунистами, а коммунистам — православными. Вследствие чего противоестественное словосочетание «православный коммунист» стало вполне привычным.

Тезис о патриотизме коммунистов, по сути своей еще более смехотворный, чем утверждение об органичности для России их идеологии, не является, в отличие от последнего, новшеством в идеологической практике коммунистов. Из всех основных положений нынешней национал-большевистской доктрины он самый старый и занял в ней центральное место еще с середины 30-х годов, т. е. тогда, когда стало очевидным, что строить социализм «в отдельно взятой стране» придется еще довольно долго. На уровне низовой пропаганды для отдельных слоев он, впрочем, существовал всегда — еще Троцкий считал полезным, чтобы рядовой красноармеец с неизжитой старой психологией, воюя за дело Интернационала, считал при этом, что он воюет за Россию против «интервентов и их наемников», те же мотивы использовались для привлечения на службу большевикам старого офицерства. Но тогда он не имел существенного значения, ибо антинациональный характер большевистской власти был вполне очевиден и до тех пор, пока надежды на мировую революцию не рухнули, совершенно откровенно декларировался самими большевиками, делавшими ставку на совсем другие идеалы и лозунги. Да и слишком нелепо было бы партии, не только занимавшей открыто антинациональную и антигосударственную позицию в ходе всех войн с внешним врагом (как во время русско-японской, так и Первой мировой), не только призывавшей к поражению России в войне, но

и ведшей практическую работу по разложению русской армии и совершившей переворот на деньги германского генштаба, партии, краеугольным камнем идеологии которой было отрицание патриотизма, вдруг громко заявить о приверженности национально-государственным интересам России.

Это стало возможно только тогда, когда, с одной стороны, прошло достаточно времени, чтобы острота впечатлений от поведения большевиков в этом вопросе несколько стерлась, а с другой, — возникли объективные обстоятельства (очевидность невозможности устройства в ближайшее время «земшарной республики Советов»), настоятельно требующие обращения именно к патриотизму. За несколько десятилетий компартия, обеспечив невежество подавляющего большинства населения в области собственной истории, сумела обеспечить и положение, при котором очевидные факты антипатриотической деятельности большевиков не стали достоянием массового сознания. Более того, выдвинув на потребу идеологии «пролетарского интернационализма» идею так называемого «советского патриотизма», она успешно извратила само понятие патриотизма.

Ныне, как известно, «державность» стала главным компонентом коммунистической доктрины. Дело только в том, какого рода эта «державность». Нетрудно заметить, что — того самого, как она всегда и понималась большевиками — не Отечество само по себе, но «социалистическое отечество», т. е. отечество социализма, т. е. такое отечество, в котором они, коммунисты, стоят у власти. В этом случае можно говорить о национально-государственных интересах, защите территориальной целостности, величии державы и т. п. Во всяком ином — всего этого как бы и не существует, пока власть не у них — нет и подлинного отечества (почему и теперь не зазорно поддерживать сепаратистов ради свержения Ельцина, подобно тому, как когда-то содействовали поражению в войне с внешним врагом «царизма»). В «державность» коммунистов можно поверить только забыв, что созданная ими «держава» — СССР есть образование совершенно особого рода, возникшее и складывавшееся как зародыш и образчик всемирного «коммунистического рая», которому только исторические обстоятельства не дали возможности выйти за пределы уничтоженной им исторической России, и руководствующееся не нормальными геополитическими интересами обычного государства, а глобальной целью, заданной идеологией его создателей — интересами торжества дела коммунизма во всем мире. Весьма характерно, что Зюганов не только не отрекается от Ленина (заведомого врага традиционной российской государственности),

но именно его объявляет поборником «державности», т. е. речь идет именно о той «державности», о которой говорилось выше.

Кроме того, советско-коммунистическая «державность» начисто исключает российскую. Либо Россия — либо Совдепия. Ничего третьего существовать в принципе не может, потому что эти понятия — взаимоисключающие. Пока была Россия, не могло быть Совдепии, и пока остается Совдепия, не может быть России. Какие бы изменения ни претерпевала российская государственность за многие столетия (менялась ее территория, столицы, династии) никогда не прерывалась преемственность в ее развитии: при всех различиях в образе правления и системе государственных институтов всякая последующая государственная власть и считала себя и являлась на деле прямой продолжательницей и наследницей предыдущей. Линия эта прервалась только в 1917 году, когда новая власть, порожденная шайкой международных преступников, полностью порвала со всей предшествующей традицией. Более того, отрицание российской государственности как таковой было краеугольным камнем всей идеологии и политики этой власти. Причем, советская власть это всегда подчеркивала, так что ее нынешние апологеты выглядят довольно смешно, пытаясь увязать досоветское наследие с советским.

Последние годы, когда советская система все больше стала обнаруживать свою несостоятельность, ее апологеты пытаются «примазаться» к уничтоженной их предшественниками исторической российской государственности и утверждать, что Советская Россия — это, якобы, тоже Россия, только под красным флагом. Суть дела, однако заключается в том, что Совдепия — это не только не Россия, но Анти-Россия. Советский режим был всегда последовательно антироссийским, хотя по временам, когда ему приходилось туго, и бывал вынужден камуфлироваться под продолжателя российских традиций. Очередную подобную попытку мы наблюдаем и в настоящее время. Собственно, тот факт, что коммунисты вынуждены прибегать к патриотизму, лучше всего свидетельствует о том, что сами они прекрасно понимают непопулярность своей идеологии, и в чистом виде ее (пока не находятся у власти) не подают. Будь она популярна сама по себе, никакого патриотизма и вообще никакой мимикрии им бы не потребовалось. Так что, с одной стороны, они не могут прийти к власти иначе как изображая себя патриотами, а с другой, — вовсе не собираются отказываться от самого коммунизма.

Предположения о каком-то «перевоспитании» коммунистов крайне наивны: едва ли можно всерьез полагать, что те, кто занимался обработкой населения в коммунистическом духе, могут искренне «перевоспитаться»

быстрее, чем те, кого они обрабатывали. К тому же с августа 1991 г. прошло уже столько времени, что всем иллюзиям на превращение «Савла в Павла» давно пора бы положить конец. Все те, кто лишь формально отдавал дань официальной доктрине, при первой возможности отбросили эту шелуху, потому что внутренне никогда не были ей привержены. Но те, кто продолжают за нее цепляться и после того, как никто их к тому не обязывает — и есть настоящие коммунисты. Человек, который и после видимого краха советско-коммунистической идеологии пытается не тем, так другим способом как-то и куда-то «пристроить» советское наследие, не может это делать иначе, как по убеждению.

То, что всевозможные «обрусители» коммунизма до сих пор цепляются за советчину, наглядно демонстрирует, что смысл «обрусения» объективно заключался в том, чтобы дать советско-социалистической идеологии «второе дыхание», облачив ее в патриотические одежды. В свое время известный польский антикоммунист Ю. Мацкевич высмеивал соотечественников, провозгласивших лозунг «Если уж нам быть коммунистами — будем польскими коммунистами!», указывая, что коммунизму, как явлению по самой сути своей интернациональному, только того и нужно, чтобы каждый народ славил его по-своему, на своем языке. Только так он и мог надеяться победить во всемирном масштабе — проникая в поры каждого национального организма и разлагая его изнутри. В том же и суть советской культуры, которая, как известно, должна была быть «национальной по форме, социалистической по содержанию». Это и есть «коммунизм с русским лицом», это-то и есть «русификация» коммунизма. И вот то, что было, можно сказать, заветной целью партийных программ, объявляется патриотической заслугой советских писателей.

Особенно нелепы попытки доказать «исправление» современных коммунистов ссылками на забвение или неупотребление ими тех или иных положений марксова «Манифеста» — раз так — они вроде бы уже и не коммунисты. Но еще Ленин отошел от догм «изначального марксизма», а уж Сталин — тем более. Но неужели они от этого стали более привлекательными? Большевики установили тот режим, который установили, и сделали с Россией то, что сделали. Мы хорошо знаем, что это было, а уж в какой степени это соответствовало пресловутому «Манифесту» — дело десятое. И не то важно, насколько далеко отошли нынешние коммунисты от **марксистской теории**, а то важно, что они не собираются отходить от **советской практики**. Не более убедительны ссылки на их «социал-демократизм» — как будто не Российская **социал-демократическая** рабочая партия совершила октябрьский переворот со

всеми его гнусностями.

Если коммунисты окончательно усвоили истину, что не смогут добиться победы своей идеологии иначе как в национально-патриотической упаковке, в форме национал-большевизма, то это не значит, что они стали «другими». «Советскими патриотами» они были всегда, а российскими так и не стали — это и невозможно сделать, не отрекшись от коммунизма и советчины (о чем не только идеологи КПРФ, но и их «розовые» союзники и помыслить не могут). Где и когда кто-нибудь слышал, чтобы современные коммунисты отрекались от Ленина и Октября? Не было такого, и быть не может. Ибо отними у них Ленина — что же у них останется? Не Сталин же изобрел коммунизм и социализм. Не Сталин создал Совдепию со всеми ее по сию пору сохраняющимися базовыми чертами и принципами, а Ленин. Можно еще снисходительно отодвинуть в тень Маркса с Энгельсом, но Ленина — никогда! Ни один, самый «распатриотичный» коммунист никогда не откажется ни от Ленина, ни от революции, ни от советской власти, как не отказывался от них истребивший массу ленинских соратников и творцов революции Сталин. Степень привязанности «коммуно-патриотов» к базовым ценностям вообще обычно сильно недооценивается, вследствие чего некоторые склонны представлять дело так, что «патриоты — это патриоты, а коммунисты — это сталинисты». На деле, однако, дело обстоит по-другому: «патриоты — это сталинисты, а коммунисты — это коммунисты».

Речь идет лишь о готовности присовокупить к этим «ценностям» большую или меньшую часть дореволюционного наследия. Величина же этой части находится в прямой зависимости от политической конъюнктуры. Когда их власть была крепка, вполне обходились «советским патриотизмом» (в тяжелые годы присовокупив к нему имена нескольких русских полководцев и мародерски присвоенные погоны). Даже в конце 1990 г. о принципиальном «обрусении» речи не шло и главный идеолог российской компартии Зюганов одинаково неприязненно относился и к «демократам» и к «патриотам», заявляя, что они «равно враждебны имени и делу Ленина». Это когда они потеряли власть, задним числом родилась и стала усиленно распространяться идея, что КПСС подвергалась нападкам якобы потому, что «обрусела» и с 70-х годов стала выражать интересы русского народа, превратившись чуть ли не в партию русских патриотов.

Разумеется, по мере дискредитации коммунистической идеологии среди ее адептов все большее распространение получала манера изображать из себя русских патриотов. Но советско-коммунистический

режим был всегда вполне самодостаточным и если и собирался куда-то эволюционировать, то, во всяком случае, не в сторону исторической российской государственности, а в сторону одной из его собственных известных форм. Да и вообще мимикрию не следует путать с эволюцией. В конце 1991 г. Зюганов о компартии вообще предпочитал не упоминать, выступая в качестве главы некоего «Союза народно-патриотических сил», но как только забрезжил свет надежды, тут же предстал в натуральной роли ее главы. Вообще, чем лучше обстоят у них дела (или когда они так считают), тем откровеннее коммунисты говорят собственным голосом. Но в любом случае пресловутое «обрусение» не простирается дальше сталинизма.

Неверно также говорить о возглавлении коммунистами каких-то «патриотических сил». Так называемые «национал-патриоты», о которых так любят упоминать демократические СМИ как о союзниках коммунистов, вовсе не являются самостоятельной силой. Это — те же коммунисты, только «розовые» и стыдливые. Те, кто сотрудничает с коммунистами, всегда либо недалеко от них ушли, будучи внутренне достаточно «красными», либо проделали эволюцию в эту сторону. Понятно же, что ни один человек, действительно оставшийся на антикоммунистических позициях, делать этого не станет. Абсолютное большинство деятелей так называемого «патриотического движения» составляют к тому же выходцы из научно-литературного окружения партийной номенклатуры, которые сохраняли верность КПСС вплоть до ее запрета. Оставаясь в душе убежденными коммунистами, разве что исповедуя некоторую «ересь» по отношению к ортодоксальному ленинизму — национал-большевизм, они были способны лишь упорно цепляться за «родную партию», надеясь, что она перевоспитается в том же духе. Никаких собственных организационных форм это движение не создало, а вся сколько-нибудь «политическая» деятельность его оказалась под контролем и руководством коммунистов. Возникновения в этой среде какой-то чисто патриотической организации последние просто не допустили бы.

Утверждение, что они-де объединяют «белых и красных», «от социалистов до монархистов» (либо, что никаких белых и красных не было и нет, во всяком случае, — в настоящее время, а есть только русские люди, которых искусственно разделяли и разделяют враги) является излюбленным у идеологов национал-большевизма, которые стремятся стереть разницу между захватившими власть в 1917 г. большевиками и их противниками — русскими патриотами: ведь если коммунисты — тоже патриоты, то почему бы не простить им совсем уж небольшой грех

«социализма» (да еще подкрепленный авторитетом некоторых религиозных мыслителей)? Заявляя о «невозможности перечеркнуть 75 лет русской истории» и вернуться к традиционным ценностям, национал-большевики предлагают объединить традиции: соединить коммунизм с православием, советский строй с монархией и т. д., изображая себя как идеологов «третьего пути».

Чтобы соответствовать этой роли они, естественно, стремятся отделить себя от коммунистов, лишь подчеркивая необходимость теснейшего союза с ними (оправдывая коммунизм тем, что он, якобы, возник «как противостояние мировой закулисе»). Кроме того, такая роль требует отсутствия всякого иного «третьего пути» (которым на самом деле и является обращение к дореволюционной традиции). Вот почему существование «белого» патриотизма представляет для национал-большевизма смертельную опасность, и они стремятся представить дело таким образом, что его ныне как самостоятельного течения нет и быть не может (а все «белое» находится в их рядах). Они всячески избегают даже упоминать термин «национал-большевизм», так точно выражающий их сущность и крайне болезненно воспринимают упоминания о наличии иного патриотизма, чем их собственный советский. Им ничего не стоит, например, повесить рядом портреты Врангеля и Фрунзе или зачислить в свою шайку таких идеологов эмиграции, как И. Ильин и И. Солоневич, немало не смущаясь тем, что те при всей разнице во взглядах, были прежде всего наиболее непримиримыми и последовательными врагами советского режима. Более того, некоторые из них, а также красные подголоски из «демократов-перебежчиков» пытались самозванно именовать себя белыми и от имени белых «замиряться» с коммунистами, или объединяться с ними (как, например, в свое время группировки Астафьева, Аксючица и др.); подобным пороком было поражено и казачье движение, где некоторые деятели, например, под бурные аплодисменты заявляли, что «партийный билет казачьему атаману не помеха», а позже под сетования о том, что «нас пытаются снова расколоть на белых и красных», поднимали на щит разного рода отщепенцев, воевавших в гражданскую войну на стороне большевиков.

Между тем Белое движение, возникшее в защиту уничтоженной России, по самой своей сущности есть прежде всего движение антисоветское. При всей разнице в политических взглядах его участников, общим, объединяющим их началом всегда была борьба с красными — сторонниками созданного преступным большевистским переворотом советского режима, с которыми они — сторонники досоветской, истинной

России — примириться ни при каких обстоятельствах не смогут.

Никакого примирения белых и красных не может быть уже потому, что абсолютно отсутствует почва для компромиссов. Ибо, учитывая взаимоисключаемость России и Совдепии, всякий политический режим может быть в реальности наследником и продолжателем лишь чего-то одного из них. Подобно тому, как невозможно иметь двух отцов, происхождение от одной государственности исключает происхождение от другой. Если исходить из продолжения исторической российской государственности, то ее разрушители — создатели государственности советской — являются преступниками, и все их установления, законы и учреждения полностью преступны, незаконны и подлежат безусловному уничтожению. Если же встать на точку зрения, хотя бы в какой-то мере принимающую или оправдывающую большевистский переворот и признающую легитимность советского режима, то какая может быть речь о правопреемственности дореволюционной России, которую этот переворот уничтожил и, уничтожив которую, этот режим только и мог существовать? Поэтому, если для одних 7 ноября — главный государственный праздник, то для других — «День Непримируемости», и сделать из этой даты нечто среднее невозможно.

Размежевание красных и белых проходит, таким образом, по линии отношения к советскому режиму и всему комплексу советского наследия. Отношение ко всем проявлениям коммунизма и советчины есть самый главный признак, позволяющий отличить одних от других. Все остальное, все более конкретные политические симпатии так или иначе выстраиваются в зависимости от этого. Тот, кто хоть в какой-то степени готов примириться с советским режимом и принять его наследие и традиции, не может иметь отношения к Белому движению. Для тех, кто стоит на позициях Белого движения, т. е. для всякого настоящего русского патриота, советчина и коммунизм не только неприемлемы, но являются главным злом, ибо именно они представляют собой основное препятствие на пути возрождения исторической России.

Для того, чтобы быть «белым», надо ведь, как минимум, разделять соответствующую идеологию. Гражданская война была войной не за разные типы российской государственности, а за выбор между российской государственностью и Интернационалом. Белые сражались за Россию, красные — за мировую революцию. Спор шел не только о политической системе, а о самом существовании подлинной России. Основой красной идеологии всегда были ненависть и презрение к исторической России, лишь в самых крайних случаях (как во время войны) смягчаемые в

интересах практической необходимости. Причем своей ненависти к России ленинская банда во время гражданской войны никогда и не скрывала, так что попытки «примирить» белых и красных, найти что-то «среднее» между ними столь же кощунственны, сколь и смехотворны. Невозможно называть себя патриотом и одновременно почитать большевистских вождей. На то есть «советский патриотизм» — нечто совсем другое, неразрывно связанное с коммунистической идеей, «правота» которой есть, кстати, единственное оправдание всего того, что красные сделали с Россией. Объективно политическим выражением национал-большевизма может быть только советский режим образца 1943–1953 гг., разве что с гораздо более пышными, чем тогда, патриотическими и национальными декорациями. Для многих именно такой вариант и привлекателен, но сказать об этом по ряду причин многие стесняются.

Совсем уж комично выглядят поползновения приписать к зюгановскому блоку каких-то монархистов. Если одни коммунисты назначают других монархистами, а затем заявляют о союзе с ними, то это повод не для политических сенсаций, а лишь для выводов о приемах современного коммунистического движения. Так они пытаются пристроиться к монархической идее и с ее помощью сделаться судьей между белыми и красными — как будто сами они — не одна из сторон, а нечто потустороннее, высшее по отношению к ним. «Коммунистический монархизм», впрочем, существует, но это не более, чем тот же сталинизм. Идея такой — своей, «красной монархии» действительно близка многим из них, но монархизм и монархисты в привычном значении этих понятий тут совершенно не при чем. Подобно тому, как комиссары, нацепив в 1943 году золотые погоны, остались собою, так и Сталин в императорской короне остался бы Сталиным. Знаменитая триада «Православие, Самодержавие, Народность» наполняется, таким образом, советским содержанием. С православием «красные монархисты» вполне согласны мириться, даже оставаясь большевиками, коль скоро оно призвано придавать их будущему режиму респектабельность (опять же в точном соответствии со сталинской практикой). Недаром излюбленное самоназвание национал-большевиков — «православные коммунисты». Самодержавие они понимают и толкуют как тоталитарную диктатуру, а народность — как социализм со всеми прелестями пресловутого «коллективизма», воплощенного в колхозном строе. Земский Собор в национал-большевистской интерпретации представляется в том духе, что съезжаются какие-нибудь председатели колхозов, советов, «красные директора», «сознательные пролетарии» и т. п. и избирают царем Зюганова.

Вообще следует весьма скептически относиться к людям, заявляющим: «Я не коммунист (иногда даже — антикоммунист), но за коммунистов». Чтобы стать на такую позицию, надо быть во всяком случае твердо укорененным в советском наследии. «Патриотическое движение», во главе которого выступают национал-коммунисты из «Завтра» и т. п. изданий не имеет самостоятельного ни политического, ни идеологического значения. Эта убогая публика по своей культурной нищете и интеллектуальной недостаточности сколько-нибудь существенным влиянием сама по себе не пользуется, и конечно, ни о какой самостоятельной роли и претензиях на власть по здравому размышлению мечтать бы не могла. Единственное, на что она годится — так это способствовать реставрации коммунистического режима сталинского образца, обеспечивая для зюгановской или ей подобной партии патриотические, православные, а то и монархические декорации. Победить оно, естественно, никогда не сможет (разве только с победой коммунистов, но тогда и национал-большевизм проповедуемого ими толка будет заменен более ортодоксальным вариантом коммунизма).

До сих пор все организации, провозглашавшие лозунг «ни белых, ни красных» или «и белые, и красные», при ближайшем рассмотрении непременно обнаруживали свое красное нутро. Наиболее надежным критерием для уяснения сути той или иной «патриотической» организации является ее отношение к зюгановской компартии. О позиции вообще лучше судить не по тому, что хвалят, а потому, что никогда не ругают. «Русский Вестник» может переругиваться с «Нашим современником», «Литературная Россия» с «Завтра», равно как могут изничтожать друг друга авторы этих изданий, но вот чего никто из них не может — так это ругать современную компартию — Зюганова с компанией, которые поистине неприкасаемы для этих «патриотов». Это-то обстоятельство наиболее убедительно показывает, кто является подлинным хозяином «патриотической оппозиции».

Национал-большевизм основывается на полном или частичном признании «правомерности» большевистского переворота и приемлемости советского режима. Именно **советчина** составляет его душу. Он неотделим от почитания реалий того конкретного строя, той конкретной власти, тех черт, проявлений, личностей, институтов и всего остального, что имело место после 1917 г. Выбор в этой системе координат может делаться только внутри самого советского режима — между его различными «уклонами» — Сталиным и Троцким, Хрущевым и Сталиным, Андроповым и Сусловым и т. д. Родоначальником национал-большевизма является, конечно, Сталин —

такой, каким он становился с конца 30-х годов и окончательно заявил себя в 1943–1953 гг. Режим этого периода — с «патриотическим» уклоном, но тот же самый советский режим — был первым реально-историческим образчиком национал-большевистского режима. В дальнейшем национал-большевистское начало присутствовало как одна из тенденций в среде советского руководства. После Сталина патриотическая составляющая была выражена слабее, у нынешних национал-большевиков она представлена значительно сильнее, но все равно речь идет лишь о степени, о градусе «патриотизма» одного и того же в принципе режима.

Понятно, что в любом случае это режим левый, революционный, социалистический, не имеющий ничего общего с исторической российской государственностью, но мародерски претендующий на ее наследие. И Сталин никогда не переставал быть ни левым, ни коммунистом. Причем дело даже не столько в том, что он оставался социалистом, сколько в том, что он оставался именно большевиком. То есть человеком, который неотделим и от самой большевистской революции, и от всех ее других деятелей, и от откровенно антирусского режима 1920-х годов, как бы он потом ни менял пропагандистские лозунги. Ни о каком отречении от революции и речи быть не могло, его отношение к другим большевикам диктовалось не идеологическими и принципиально-политическими, а чисто личными мотивами, мотивами борьбы за власть — он ничего не имел против тех кто не мог представлять для него (например, за преждевременной смертью) опасности: например, из двух равнозначных и однозначных фигур Троцкий считался сатаной, а Свердлов — архангелом.

В настоящее время национал-большевизм в разных формах занимает подавляющую часть красного спектра. Коммунистические группировки, демонстративно исповедующие «пролетарский интернационализм», хотя имеют массовую базу (как «Трудовая Россия»), в идейно-политическом смысле находятся на обочине. Основная часть коммунистов объявила себя русскими патриотами и заявила о готовности подкорректировать Ленина и строить свой «русский коммунизм». Зюгановская партия с газетами «Правда» и «Советская Россия» представляет собой наиболее красную (и количественно абсолютно подавляющую) часть национал-большевизма. Эти перед эмиграцией и белыми не расшаркиваются и настаивают на том, что компартия — единственный носитель патриотизма, каковым была с самого начала — и в гражданскую войну. Естественно, не отказываются ни от Октября, ни, тем более, от советского режима.

Наиболее «классический» национал-большевизм представлен такими органами печати как «Завтра» (в последнее время эта газета почти

неотличима от чисто коммунистических), «Молодая гвардия», «Литературная Россия» и «Наш современник». Не отказываясь в целом от революции, здесь предпочитают вслух об этом не говорить и ругают ее отдельных деятелей. Более же всего для них характерно сваливать в одну кучу красных и белых, поскольку-де патриотами были и те, и другие. Советский режим, особенно период 40–50-х годов, тут почитается открыто (в отличие от революции) и является идеалом «государственничества». Они охотно заигрывают с белой эмиграцией, помещают апологетические статьи об Императорской и Белой армиях, старой России и т. д., но — рядом со статьями в поддержку коммунистов и воспеванием советчины. Проповедуя единство красных и белых, они, впрочем, как правило, не претендуют сами называться белыми.

Третья часть национал-большевистского спектра наиболее «стыдливая». Здесь почти полностью (во всяком случае, вслух) отвергается революция, но (хотя с большими оговорками) сохраняется верность советчине. В этой-то среде и распространено «белое» самозванство. Впрочем, выделенные здесь группы национал-большевистского спектра не образуют какие-то изолированные группировки. В общем-то все это одна и та же среда, тесно связанная переплетением дружеских, служебных и прочих связей и находящаяся под определяющим влиянием «патриотических коммунистов». Конкретного человека далеко не всегда можно определенно отнести к одной из этих групп, ибо границы между ними очень зыбки и подвижны, а настроения в зависимости от обстановки могут несколько меняться.

Наконец, к красному спектру примыкает еще несколько категорий людей, национал-большевиками, строго говоря, не являющихся. Это, во-первых, те, кто считает возможным и нужным сотрудничать с коммунистами, не видя в этом ничего позорного, во-вторых, те, кто на открытое сотрудничество с красными не идет, но позволяет им собой манипулировать, объективно тоже «работая» на интересы коммунистов; в-третьих, это те, кому белые действительно нравятся больше, чем красные (иные из них даже искренне считают себя белыми), но, как говорится, «при прочих равных условиях», т. е. до тех пор, пока не приходится открыто определяться и пока «белые» симпатии ничем им не грозят. «Лучше бы монархия, но, на худой конец, и национальный коммунизм (или социализм) сойдет», — такова примерно их философия. Понятно, что какие бы претензии ни исходили от людей подобного рода, их также нельзя воспринимать всерьез. Можно перестать быть белым и стать красным (и наоборот), но нельзя быть чем-то средним или одновременно и тем, и

другим, как нельзя остаться белым, сотрудничая с красными. И если эта простая истина не очевидна для самих «красных патриотов», то объективный политический расклад от этого не меняется.

Очевидно, что подобные «патриоты» не имеют ничего общего с носителями ценностей и традиций исторической России. Пресловутая «объединенная оппозиция» в действительности представляет собой не объединение не правых с левыми, а левых — с левыми, изображающими из себя правых, не союз «белых и красных» (что в принципе невозможно), а союз красных с такими же красными, но «национально окрашенными» (что совершенно естественно). В связи с этим полтора года назад появилось заявление русской белой эмиграции, подписанное последними оставшимися в живых участниками гражданской войны, их потомками и руководителями всех основных белоэмигрантских организаций с изложением позиции Белого движения, нанесшее сильнейший удар по идеологии национал-большевизма и его претензиям говорить от имени наследников исторической российской государственности.

Да и каков мог бы быть в принципе политический смысл союза коммунистов с антикоммунистами? Его нет, потому не может быть и такого союза. Понятно, что основной вопрос всякого «единения» заключается в том, под каким знаменем оно осуществится или — в практическом плане — кто же все-таки встанет во главе «объединенной» таким образом России. Вольно провокаторам и недоумкам вешать на своих сблищах скрещенные красный и трехцветный флаги, но у государства-то флаг один. Так, все-таки — какой? Вот на этот-то вопрос претенденты на роль объединителя обычно предпочитают не отвечать, более того, делают вид, что его как бы и вовсе не существует. Главное-де, чтобы не было «раскола между русскими людьми» (при этом, хотя за «партию власти», демократов разных мастей и ЛДПР голосует вдвое-втрое больше русских людей, чем за коммунистов, расколом считается только нежелание объединяться с коммунистами), а там посмотрим (на Земском Соборе решим). Эксплуатируя тему «единства русских людей» («Главное — быть русским!»), национал-большевистские идеологи хорошо знают, кто заправляет в «патриотическом движении» и какие решения может принять Земский Собор, созданный прохановыми, зюгановыми и бабуриными. Когда оппозиция становится властью, камуфляж отбрасывается, и ответ на вопрос «что же все-таки будет», дан будет совершенно однозначный. Так вот сразу и сказать — будет вам обновленная советчина в виде «истинно-русского коммунизма», национал-большевики стесняются. Но это не значит, что они постесняются ее установить.

Что касается претензий коммунистов на восстановление целостности «державы», то они столь же лицемерны, сколь и неосновательны. Не следует забывать, что их держава — не Россия, а СССР, — по самой своей идее никакой целостностью и не обладала, представляя конгломерат «государств» с правом свободного выхода. Целостностью обладала Российская Империя, которая без большевистского переворота никогда бы не распалась. Именно коммунисты расчленив территорию уничтоженной ими исторической России на искусственные республики по национальному принципу, проведя произвольные границы по живому телу страны и обусловив государственное единство лишь господством коммунистической идеологии, заложили возможность ее распада. Советская система была намеренно устроена таким образом, что от коммунистической идеологии невозможно было освободиться, не разрушив при этом территориальную целостность страны и превратив даже великороссов в «разделенную нацию». Так что в 1991 г. коммунисты пожалели лишь то, что сами же посеяли при утверждении своей власти. Что касается воссоздания «державы», то, поскольку речь может идти только о СССР, они никогда не смогут этого сделать. Ибо если тяга населения к восстановлению государственного единства естественна, то СССР был образованием вполне противоестественным, и в этой форме единство никогда не будет восстановлено. Если развитие по некоммунистическому пути оставляет надежды на реинтеграцию страны в будущем в той или иной форме, то победа коммунистов, более всех о ней разглагольствующих, привела бы на деле к изоляции коммунистического заповедника, и с точки зрения интересов «державности» явилась бы подлинной катастрофой как в сущностном, так и в территориальном смыслах.

1997 г.

В каком государстве мы живем

Новая волна покраснения нынешнего режима в России заставляет еще раз задуматься и четко для себя сформулировать — в каком же все-таки государстве мы живем. Быстрые перемены последних лет были, конечно, очень значительны и оказались способны для большинства населения, привыкшего до того к десятилетиям почти неизменного «застоя» совершенно затемнить представление о сущности нынешней власти. Сама эта власть, в свою очередь, не жалеет усилий представить себя как что-то действительно совершенно новое, и в этом ей немало способствует несколько оттертая от привычной кормушки красная оппозиция, настойчиво пропагандируя тезис о том, что к власти пришли какие-то «буржуи», «февралисты» и т. д. Трагедия, между тем, заключается как раз в том, что никакие «буржуи», вообще никакие новые люди к власти в России не пришли (тогда как приход любых иных, чем советско-коммунистическая номенклатура, людей, пусть сколь угодно мало симпатичных, был бы как раз благом). Если часть этой публики сочла за лучшее перераспределить собственность из общепартийной (а пресловутая «общенародная» собственность только такой на деле и была) в свою же, но разделенную между конкретными лицами, «взяв в долю» разного рода проходимцев и криминальный элемент и закономерно согласившись следовать в фарватере антироссийски настроенных западных кругов, расчленив при этом страну, то это вовсе не значит, что эти люди внутренне изменились.

Вообще распространенное заблуждение — полагать, что взрослые люди могут в массовом порядке «перевоспитываться» и менять свои убеждения. Отдельные люди — да, могут (как могут и втайне исповедовать совсем другие), но не социальный слой или даже его часть. (В отношении основной массы населения об убеждениях вообще не стоит говорить, поскольку она обрабатывается СМИ, и если такая обработка достаточно длительна, то убеждения большинства населения всегда такие, какие хочет власть.) Базовые стереотипы идейно-политического «происхождения» членов правящего слоя чрезвычайно сильны и значат для каждого из них очень много, поскольку люди понимают, что принадлежат к этому слою только потому, что когда-то в прошлом был установлен именно тот порядок, который вывел в люди каждого из них.

Нынешняя Франция, скажем, очень далеко ушла от своей революции XVIII в. и сколько всяких переворотов потом пережила. Нынешний ее

политический истеблишмент может быть в большинстве и не связан генетически с сокрушителями монархии, за нелестный отзыв о якобинцах никого на гильотину не тащат, можно и монархическую демонстрацию провести, и престололюбитель спокойно в стране проживает. Но режим, в основе которого до сих пор лежат идейно-политические принципы именно той революции, монархии по определению враждебен и ее восстановления, не уничтожив сам себя, допустить не может. Какая-нибудь «шестая» республика вроде бы и другая власть, чем «первая», за революцию и цареубийство на том основании, что они республиканцы, с какого-нибудь Миттерана или Ширака теперь не спросишь, но власть-то их **«оттуда»**. Живет и здравствует потому, что когда-то был уничтожен *ancien regime*.

Вот почему все более полная реставрация советчины руками нынешних властей есть опаснейшая перспектива. Реванш советской идеологии в этом случае, может быть, и не будет таким ярким, шумным и всеобъемлющим, каким был бы в случае прихода к власти Зюганова, в отличие от последнего пройдет, скорее всего, тихо и, возможно, без физических жертв в виде посаженных и расстрелянных, но будет иметь чрезвычайно вредные последствия именно с точки зрения возможности идеологической борьбы с ним. Потому что (по той же причине, по которой национал-большевизм опаснее неприкрытого ортодоксального коммунизма), прикрываясь остатками российского декора, советский режим сможет делать вид, что его не существует, что он давно свергнут и отводить критические стрелы от советскости (чего с ней бороться, если ее давно нет), направляя их в другую сторону.

Так вот надо полностью отдавать себе отчет в том, что все это время, и тем более сейчас, когда ельцинский режим окончательно продемонстрировал свою приверженность ленинскому наследию и полное нежелание (или, если угодно, неспособность) выйти за рамки советской государственно-политической традиции, советско-коммунистический режим в России продолжал и продолжает существовать.

Соответственно к этому режиму и всем его институтам и надо относиться (так, как белые всегда относились к советскому режиму), понимая, что он лишь относительно меньшее зло, чем откровенные зюгановские коммунисты, причем разница между ними становится тем меньше, чем благожелательнее к последним ельцинский режим относится. И ни в коем случае не поощрять его претензий на наследие исторической России. Вот совсем недавний пример подобных поползновений. Ельцинское поздравление по случаю 80-летия Ленинградского военного округа гласит: «Ваш округ — старейший в стране. Его воины —

наследники славных традиций дружинников Александра Невского и солдат Петра Великого». О какой, позвольте, стране идет речь? Если о России, то старейший ее округ был создан не в 1918, а в 1862 году, если о Совдепии — то верно, только создатели Ленинградского округа наследство Александра Невского и Петра Великого втоптали в грязь, а наследников их уничтожили. Тут бы и сказать Ельцину, что он, если хочет, вправе почитать большевицких преступников, только пусть тогда в связи с подобными датами и называет имена Ленина и Троцкого, а не пристегивает к их творениям имена правителей исторической России. Только кто скажет?

Кстати, совершенно естественно, что округ именно Ленинградский, а не Петербургский. За исключением лишь единичных имен, которые удалось вырвать из советской традиции на самом гребне антикоммунистических настроений в 1990–1991 гг. все в этой сфере (а она из самых «знаковых») остается по-прежнему. Крупнейшие регионы и 8 лет спустя именуются Ленинградской, Свердловской (тут не повлияло даже переименование городов), Ульяновской, Кировской областями. Территорию исторической России продолжают поганить имена ее врагов и разрушителей. Соответствующие наименования и сейчас носят более 100 только относительно крупных населенных пунктов (городов и поселков городского типа), не считая многочисленных сел и деревень. Среди них есть, конечно, города Маркс и Энгельс, 13 в разных вариациях связано с именем Ульянова-Ленина, 10 — Кирова, 5 — Дзержинского, 4 — Орджоникидзе, 3 — Куйбышева, 3 — Калинина, 2 — Володарского, а также Свердлова, Буденного, Чапаева, Фрунзе, Фурманова, Щорса, Киквидзе, Котовского, Кингисеппа, Тутаева и т. д. и т. п. Кроме того, 7 именуются в честь Октябрьского переворота, столько же — в честь Советов, еще 7 — Красной армии и Красной гвардии, 5 — комсомола, еще десятки — в честь коммунистических праздников и т. д. Ну и разумеется, топонимия абсолютно любого города представлена полным набором имен из большевицких «святцев».

Сейчас режим стремится стабилизироваться, вбирая в себя еще более красную чем он оппозицию и по-возможности полнее сливаясь с ней идеологически. В этих условиях его лозунг «Больше стабильности!» неминуемо означает «Больше советскости!». Стабилизация ему необходима для предотвращения любых **действительных** перемен, которые (при таких-то обстоятельствах) по большому счету могут быть направлены только в одну сторону — в сторону изживания коммунистической идеологии. Таким образом, нынешний режим, с одной стороны, стремится законсервировать советскую государственно-политическую традицию, а с

другой — создать впечатление, что эта традиция уже была ликвидирована в августе 1991 г., и, следовательно, никакой другой революции больше не требуется, и даже помышлять об этом не должно. Тогда как всем, кому дорога историческая Россия, должна быть ясна необходимость возвращающей страну на путь ее естественного развития подлинной **контрреволюции**. Над подготовкой ее и следует работать, помня, что во благо ей все, что хоть в какой-то мере способствует демонтажу советско-коммунистического идейно-политического наследия, которое есть зло абсолютное и должно быть разрушено «до основания» — то есть именно так, как 80 лет назад большевиками была разрушена российская государственность.

1998 г.

Белое движение на современном этапе

Сегодня очевидно, что начавшееся 80 лет назад Белое движение, как бы кому-то ни хотелось навсегда его похоронить и забыть о нем, продолжает жить и в настоящее время. Не только потому, что в эмиграции еще продолжают существовать белые организации — наследники Белой армии и даже живы некоторые участники Белой борьбы, но, главным образом потому, что в течение последнего десятилетия им удалось передать эстафету этой борьбы молодому поколению в России. Тот факт, что в условиях советского режима, после многолетней идеологической обработки и воспитания целых поколений в чисто советском духе, в новом поколении (родившихся в 50–60–х годах) стало возможным (не как исключение, а весьма распространенное явление) появление людей, самостоятельно пришедших к мысли о правоте Белой Идеи, является лучшим доказательством ее бессмертия.

Сейчас Белое движение в стране обретает организационные формы, во главе которых призван стоять отдел РОВСа, и представлено целым рядом организаций, разделяющих идеологию Белого движения. Почему и для чего это движение вообще существует? Очевидно, что Белое движение, возникшее в защиту уничтоженной российской государственности, должно и будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнена та основная задача, ради которой оно возникло. Эта задача — ликвидация идейно-политического наследия совершителей большевицкого переворота и восстановление национальной государственности в ее исторических границах.

Никакой другой задачи основоположники Белого движения никогда не ставили, их жертвенность была направлена на то, чтобы ликвидировать главное зло — паразитирующий на теле страны советский режим, преследующий не имеющие ничего общего с интересами российской государственности цели установления коммунистического режима во всем мире и отрицающий российскую государственность самим фактом своего существования. Во имя этой цели в Белом движении объединились люди самых разных взглядов, сходящиеся в двух главных принципах: 1) неприятие большевицкого переворота и власти интернациональных преступников, 2) сохранение территориальной целостности страны, нашедших воплощение в емком лозунге: «За Великую, Единую и Неделимую Россию».

Ныне мы, как в свое время и большинство участников Белого движения, не представляем себе в перспективе иного строя, чем историческая российская государственность в ее православно-монархической форме. Однако надо четко представлять себе, что восстановление исторической российской государственности во всей полноте присущих ей черт и форм возможно не ранее, чем будет полностью и окончательно искоренено абсолютно все наследие коммунистического режима и вместо советской, ведущей происхождение от «Великого Октября», восстановлена российская национальная государственность как таковая. Подобно тому, как большевики смогли установить свою власть не сразу, а только в благоприятных для них условиях послефевральской смуты, так и окончательное установление традиционной государственности потребует переходного периода, который начнется тогда, когда советское наследие уже будет сметено.

Так на каком же этапе мы находимся в настоящее время? Совершенно очевидно, что переходный период, о котором говорилось выше, еще не наступил. Советский режим, хотя в несколько видоизмененной форме, продолжает существовать. Не потому только, что власть в стране по-прежнему находится в руках той же самой коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что остаются незыблемыми его юридические и идеологические основы, то есть как раз все то, что было бы уничтожено прежде всего в случае победы Белого движения в гражданской войне и в случае осуществления чаяний белой эмиграции. Поступившись частично экономическими принципами и отодвинув в тень наиболее одиозные идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идеологическую и юридическую преемственность от большевицкого переворота, отмечая его как государственный праздник, и ведя свою родословную не от исторической России, а от созданного Лениным Советского государства. В учебниках истории борьба против исторической российской государственности и ее уничтожение большевиками одобряются, защитники советской власти восхваляются, а ее противники осуждаются. То есть, едва ли нуждается в особых доказательствах тот очевидный факт, что для нынешней власти на территории России красные являются «своими», а белые — врагами.

Да и в экономическом смысле мало что напоминает дооктябрьское время. По иному и не может быть в условиях, когда большинство населения по-прежнему фактически лишено права собственности, а предпринимательский слой не только не имеет ничего общего с дореволюционным (в огромной мере представляя симбиоз советской

номенклатуры и уголовников), но и лишен соответствующего самосознания. Комсомольский воришка, занявшийся предпринимательством, в глубине души остается «совком» и считает предпринимательство делом вообще-то несправедливым (тем более, понимая его как возможность нагнать, что плохо лежит). Неудивительно, что такая «буржуазия» более чем спокойно относится к тому, что в нынешних исторических курсах «борьба против буржуазного строя, завершившаяся победой пролетарской революции», приветствуется как дело безусловно положительное.

Так что нынешняя ситуация — это, условно говоря, не положение лета или весны 1917 г., а ситуация ленинского НЭПа — псевдосвободная экономика при политическом и идеологическом господстве советчины. По существу, единственным заметным моментом остается только некоторое обращение к символике и атрибутике старой России. Так что, мы в лучшем случае, находимся в самом начале переходного периода. Причем положение усугубляется реальной угрозой увековечения территориального расчленения страны. Следовательно, цели Белого движения не выполнены, и его задачей по-прежнему остается расчистка социально-политического и идейно-интеллектуального пространства от господства советчины и создание условий для последующего возрождения исторической российской государственности.

В настоящее время советчина существует в двух основных видах. Более стыдливый ее вариант представлен правящим режимом, более откровенный и агрессивный — т. н. «коммуно-патриотической» оппозицией. Общей чертой их идеологии является правопреемство от созданной Лениным государственности, неприятие реально-исторической России и ненависть к Белому движению во всех его проявлениях. Общим является и стремление представить родную им Совдепию в качестве законного продолжателя и наследника исторической России. Это и есть та система взглядов (наиболее полно представленная национал-большевизмом), которая на современном этапе противостоит идеологии Белого движения.

Мы исходим из того, что Белое дело есть, в конечном счете, выражение естественного порядка вещей, того закономерного хода событий, который рано или поздно пробьет себе дорогу сквозь идеологические утопии, политические химеры, апатию, лень и хищнические устремления отдельных лиц. Поэтому верим, что в ходе последующих событий его идеология и практика будут востребованы российской жизнью, и на этой основе произойдет возрождение

исторической российской государственности. Чем и будет завершено Белое движение.

1998 г.

На одну доску

В публицистических выступлениях на самые различные темы часто приходится сталкиваться в разных вариациях с одним и тем же полемически-пропагандистским приемом. Когда смещают внимание с сути происходящего на форму, которой придают гипертрофированное значение и, пользуясь этим, ставят на одну доску совершенно разные и, по здравому размышлению, несопоставимые вещи. Но именно здравое размышление и требуется в данном случае исключить, апеллируя к эмоциям.

Из этой области, например, трактование всякой политики как «грязного дела», которым достойным людям заниматься не следует (проще говоря: «Сидите тихо и никуда не лезьте, а мы будем вами управлять») — деятельность патриотическая и антинациональная, созидательная и разрушительная оказываются в одной корзине — «политика» же... Или такой популярный в последние годы сюжет, как осуждение «насилия», когда преступники уравниваются с нормальными людьми. СМИ заполнены выступлениями типа — да, преступники убивают людей (это нехорошо), но ведь когда государство подвергает их смертной казни — «это **такое же** убийство» (а часто доводилось читать — еще и хуже, потому что жертва-де не ожидает, что ее убьют, а приговоренный бандит — знает). Бандит стреляет, но ведь и полицейский стреляет — оба, понимаете ли, применяют «насилие» и по этой логике равно заслуживают осуждения.

Особенно расцвели подобные суждения во время чеченской войны, когда для российских СМИ, не считая тех из них, какие прямо поддерживали дудаевских бандитов, последние и войска собственной страны были, как минимум, равными «сторонами конфликта». Вполне серьезно, как само собой разумеющееся, говорили, что Шамиль Басаев, захвативший больницу в Буденновске, не больший террорист, чем правительственные войска (опять же — «государственный терроризм» даже хуже). «Обе стороны», видите ли, «нарушали права человека». То, что одна «сторона» — это бандиты, поднявшие вооруженный мятеж, и поправшие все мыслимые законы, составляющие основы жизни любой страны, а вторая — силы правопорядка, эти основы защищающие, как бы оставалось «за скобками», делался вид, что это что-то совершенно несущественное и к делу отношения не имеющее.

Сей метод стирания различия между добром и злом, правдой и ложью (по сути разлагающий общественное сознание), распространен весьма

широко. При «монополии на истину» в руках одной политической силы он не требуется, но как только появляется возможность высказывания альтернативного мнения, как он идет в ход. Особенно часто применяют его тогда, когда зло все-таки достаточно очевидно, чтобы открыто его защищать и остается только убедить публику, что оно не так уж отличается от противостоящего ему, и то, что логично должно считаться в этом случае добром, — тоже не добро, а такое же зло (а добро — если и есть, то что-то абстрактное, в принципе где-то существующее, но в данном случае не присутствующее).

Надо ли удивляться, что этот способ стал поистине «палочкой-выручалочкой» для сторонников советчины по мере дискредитации и деформации коммунистического режима? Прославлять красных стало немодно, да и неловко — все-таки очевидно, что они воевали за установление того режима, все преступления которого сделались, наконец, широко известны, и за тот общественный строй, который не менее очевидно обанкротился, и носителями «светлого будущего всего человечества» объективно не были. То есть, как ни крути, а получается, что они были, мягко говоря, «неправы» и сражались за неправо дело. Но нельзя же было допустить естественного вывода, что тогда, значит, за правое дело сражались белые. И вот пошел в ход тот же метод: оказывается, неправы были и те, и другие (либо, наоборот, своя правда стояла и за теми, и за другими).

В 1919 г. автору очерка «Они придут...» в журнале «Донская волна» Фил. Пенкову виделось, как после крушения большевизма какой-нибудь адвокат Иванов, сменив табличку на дверях квартиры и достав запрятанное столовое серебро, «начнет благодушно цедить сквозь зубы:

— Д-да... Добровольческая армия, конечно, сделала свое дело, и мы должны быть ей благодарны, но, между нами говоря, те способы...». Видно, и тогда белые не строили иллюзий насчет отношения к ним подобной публики: «Беспощадной критике будут подвергнуты наши атаманы, вожди, книги, газеты, бумажные деньги... Они — спокойно жившие в Москве — найдут много слабых мест у нас, маленьких людей, дерзновенно не подчинившихся красной России на маленьком клочке гордой территории. Они придут раньше нас. Ибо они никуда не уходили. И они заглушат нас. Ибо никогда не простят нам того, что мы смели быть свободными». Оказалось хуже, потому что никуда не ушли не только те, о ком писал автор очерка, но и сами коммунисты, которые постарались вовсе стереть разницу между белыми и красными.

Неважно, за что воевала каждая из сторон, главное, что обе занимались

«братоубийственной войной». Как же хочется поставить их на одну доску! И вот публицисты, претендующие на выражение патриотической позиции и приверженность дореволюционным традициям, начинают изображать гражданскую войну, как досадную случайность (ну просто бес попутал). Вот только недавно в правительственной газете довелось опять читать о «братоубийственной войне, вылившейся в красный и белый террор, в ОСВАГи и ВЧК, в горы трупов с той и с другой стороны». Да только так ведь в основном и пишут (разве что тут автор, известный морской журналист Н. Черкашин, по простоте посчитал, что ОСВАГ — это контрразведка). В том же духе высказывались и люди, претендующие на несоветскость (тут и Н. Росс, у коего красные и белые равно сражались за Россию, и М. Назаров, находивший свою правду и ложь что в социализме, что в Белом движении).

Одним из вершинных «достижений» такого рода можно, видимо, считать уравнивание красных и белых по... их отношению к религии в недавнем учебнике по истории церкви советского священника В. Цыпина. Ну что, дескать, с того, что красные были богоборцами, глумились над верой, рушили храмы, гадили в алтарях, истребляли священников — а вот в белой армии был случай, когда во время отпевания покойников в стоявшем недалеко вагоне пьяные казаки горланили песни. Понятное дело — никакой разницы... (Удивительно, но в органе РПЦЗ с Цыпиным вполне серьезно пытались... спорить, хотя уж лучшего свидетельства существования пресловутой «гэбни в рясах», кажется, и не найти.)

Устраивают, скажем, большевики в Киеве мясорубку перед падением города — тысячи трупов, массу которых и зарыть не успели. Приходят белые, арестовывают и расстреливают 6 человек, изобличенных в участии в этой «акции» — и вот оно (и лучше со ссылкой на какого-нибудь Короленко): «Да чем же белый террор лучше красного?!» Вообще, сочетание «белый и красный террор» стало излюбленным, поскольку убийство пары большевических бонз и расстрел не имеющих к этому отношения нескольких тысяч человек оказываются явлениями равнозначными. Иногда, кстати, «белым террором» считается само сопротивление захвату власти большевиками, и он, таким образом, оказывается причиной красного (не сопротивлялись бы — не пришлось бы расстреливать). Не смущает идеологов советчины и очевидная абсурдность задач «белого террора» с точки зрения их же собственной «классовой» трактовки событий, согласно которой «рабочие и крестьяне» истребляли «буржуазию и помещиков» в ответ на истребление последними «рабочих и крестьян»: если «буржуазию» физически истребить в принципе возможно

(что и было сделано), то «буржуазии» истребить «рабочих и крестьян» не только невозможно, но и с точки зрения ее «классовых» интересов просто нет никакого резона. Так маскируется суть и уникальность «красного террора» как явления, то, что террор во время гражданской войны — это не убийства отдельных лиц, не расстрелы пленных, не казнь политических противников, — а именно тотальная ликвидация целых сословий и групп населения по социальному признаку, т. е. то, что для красных было программной целью, а белые делать в принципе не могли (потому что «классовой борьбе» пытались противопоставить как раз национальное единство).

Убеждение типа «да все они одинаковы» используется для доказательства своей праведности как «деидеологизированным» нынешним режимом, так и национал-большевицкой оппозицией, которые оба «не желают знать ни белых, ни красных», и подсовывается людям в качестве готового оправдания их пассивности и невмешательства. Поощряемое с помощью апелляции к трусости и шкурным инстинктам желание «быть ни за кого», надо сказать, отвечает психологии весьма значительной части, если не большинства, населения, не желающего интересоваться чем бы то ни было, что выходит за рамки его повседневного быта и простейших потребностей. Как и желание быть «чистеньким», чувствовать себя выше занимающихся «грязным делом», вполне проявившееся еще во время гражданской войны.

В общественное сознание был внедрен взгляд, согласно которому люди, пытающиеся преодолеть большевицкое наследие, являются... такими же большевиками! По одному тому, что они хотят что-то уничтожить, а это, видите ли, и есть большевизм! Усилиями лукавых публицистов большевизм как-то незаметно лишился своей конкретной идейно-политической сути и превратился в нечто абстрактно «нехорошее», стал трактоваться как синоним вообще всякой нетерпимости, экстремизма, насильственности, превратился в ярлык, который стал с успехом использоваться как раз против врагов реально-исторического большевизма. Большевики разрушили памятники царям и поставили своим вождям. Значит, разрушить памятники Ленину и поставить царям — это... да, да — большевизм! Разрушать вообще, понимаете ли, нехорошо, какая там разница, что это за памятники? Да и потом: «Нельзя одной темной краской изображать тех, кто верил в революцию» — она, конечно, трагедия, но не «голое злодейство», а «идеалистическая утопия» (автора этой мысли — академика от истории С. О. Шмидта, сына сталинского любимца, еще и «огорчает безнаказанность многих ученых» — увы, как раз немногих,

которые изображают революцию тем, чем она и была).

Самое скромное мнение о желательности очищения властных структур от коммунистической номенклатуры, сразу же тонет в потоке истерических воплей: «Как, опять 37-й год?! Нас призывают к „охоте на ведьм“! Это настоящий большевизм!» Помилуйте, но как же иначе? Преступники захватили государственную власть, и если с ними не поступить соответствующим образом, то так и будут продолжать ее удерживать.

Противостоять хитростям явных и тайных сторонников советчины можно только одним — разоблачением сути, смысла и целей марксизма-ленинизма, большевицкого переворота и советско-коммунистического режима, не давая себя увлечь сосредоточением внимания на сопутствующих явлениях, средствах и формах их реализации. Важно не **как** делается, а **что и с какой целью**. Дело не столько в преступности практики коммунистического режима — **преступна сама идея коммунизма**. Если даже предположить, что каким-то чудом (гипнозом, обманом, одурманиванием) коммунистам удалось бы провести свои эксперименты без насилия, то от этого лишение людей естественных прав свободы воли и собственности (т. е. порабощение и тотальный грабеж) и поползновения к изменению самой человеческой природы (т. е. покушение на замысел Творца) путем выведения «нового человека» не утратили бы своей преступной сути. Вот почему борьба за коммунизм и против него никогда и ни при каких обстоятельствах не могут быть поставлены на одну доску, как не могут быть уравнены Добро и Зло.

1998 г.

Неуместная полемика

В № 2503–2504 «Нашей Страны» крайне неприятное и тягостное впечатление произвела статья О. М. Родзянко и Т. А. Лопухиной-Родзянко, вернее — сам факт ее появления. Когда так ведут себя люди, в чьей антипатии к советскому режиму сомневаться не приходится, всегда испытываешь какую-то неловкость, потому что тень унижения ложится на всех противников советчины. Ну что за нелепая прихоть — вступать в полемику с идеологами национал-большевизма, да еще, как явствует из предисловия, посылать в их главный орган статью «с опровержением» (это уж из ряда вон)?

Доказывать убежденному советчику, откровенному врагу, правоту Белого Дела? Убеждать его в том, что умереть от рук большевиков не «позорно»? Оправдываться перед советским хамом (стоит только ему объявить себя православным) за эмиграцию и заверять в ее преданности вере подголоска компартии? Обижаться, что он вас «громит»? Да в своем ли вы уме, господа?! Подумайте, кому и зачем вы все это говорите. Сами как хотите, но не позорили бы этими постыдными оправданиями и неуместной полемикой тени ваших родственников, о которых вы упоминаете и которым подобное и в голову бы прийти не могло. Вы можете себе представить И. Ильина, полемизирующего со Ждановым? Генерала Туркула, пишущего статью в журнал «Советский воин» с доказательствами, что он не «изменник родины»?

Коль скоро (я тоже об этом слышал) в «Нашем Современнике» Куняев наконец-то открыто выступил против Белого движения, повторив весь набор глупостей и обвинений, порожденных в свое время недомыслием и ограниченностью некоторых монархистов и ставших излюбленной темой провокаторов ГПУ, так это просто замечательно, что так очевидно обозначил, кто они есть. Еще бы людям, почитающим «ЦК и Лубянку», не хвататься радостно за ругань в адрес Белого Дела всевозможного рода вырожденцев, отщепенцев, предателей и просто «честных идиотов» из эмигрантской среды, каковые со времен возвращенцев и сменовеховцев не переводились. Для них-то привычное дело использовать тот набор «аргументов», с помощью которого их предшественники из ГПУ, вели работу по разложению эмиграции.

По большому счету в отношении к событиям российской истории может быть только две позиции. Был и есть белый взгляд — и красный.

Прочее — недомыслие или чекистская провокация. Гораздо неприятнее и хуже было, когда национал-большевики пытались изображать из себя белых и смехотворным образом «отлучать» от Белого Дела настоящих белых, или же протаскивать идейку «и белые, и красные», тут хотя бы теоретически была возможность «соблазна». Ну, а раз они прямо выступили против Белого движения — так только это от них и требовалось. Сразу ясно, кто есть кто.

И вовсе не стоит тратить на отповеди им время и бумагу. Одно время, с началом «гласности», когда открыто защищать коммунистический режим и говорить своим настоящим голосом эти «патриоты» еще стеснялись, с ними сотрудничали несколько приличных людей и даже как бы была сделана попытка превратить журнал во что-то приличное, но больше 1–2 номеров они не выдержали и окончательно скатились в красное болото. Закваска-то та еще... «Нашу Страну» они, надо сказать, «наступая на горло собственной песне», терпели очень долго — уж больно им хотелось показать, что «все патриотические силы с нами». Слава Богу, «не вынесла душа поэта»... пришлось маску окончательно отбросить.

Пока они довольно активно изображали «бело-красное единство», беря на себя роль белых, можно было, по крайней мере, над ними смеяться, разоблачать. Уделение им внимания было хоть как-то оправдано... Они могли быть по крайней мере «академически» интересны как разновидность идейного выверта. Когда же все стало на свои места (а это — с того времени, когда они открыто поддерживали Зюганова) то утратили всякую занимательность. Сказать по поводу их политической деятельности, что они остались в дураках, было бы не вполне корректно: это выражение предполагает, что в дураках могут оказаться умные люди, а для них это естественное состояние, в коем им суждено всегда пребывать при любом раскладе политических сил.

Нет никакой беды в том, что они внушают своим читателям все эти глупости: их читатели, как и вообще такого рода «патриоты» — в реально-политическом смысле представляют собой маргинальное течение, по нищете самой своей идеологии и ограниченности культурно-интеллектуального потенциала ее носителей не способное играть какой-либо существенной роли и совершенно безнадежное. Пусть кормят их, чем хотят, эти люди ведь и не способны воспринимать достоверную информацию во всей ее полноте и противоречивости.

Они начисто лишены хоть какой-то широты видения ситуации, тем более знания всех конкретных нюансов реального расклада сил, и их сознание вообще очень примитивно. От них не приходится ожидать

понимания того, что, действуя в рамках уже заданной ситуации, люди поступают правильно тогда, когда осуществляют возможное (поэтому они вообще политики никудашные, всегда оказывающиеся в проигрыше, не разбирающиеся и в нынешней ситуации). Аргумент типа того, что «Корнилов арестовывал императрицу» они искренне могут считать убийственным, чрезвычайно убедительным, и им никогда не придет в голову, что в той реальной ситуации это было величайшим благом, потому что сделай это другой — неизвестно, как бы с ней обошлись; точно так же, как Корнилову не приходило в голову жалеть, что арестом участников августовского корниловского выступления руководил Алексеев: не возьми он на себя эту роль, что стало бы с будущими руководителями Белой борьбы?

Поэтому метать молнии в какого-нибудь конкретного Куняева едва ли стоит. Это, я бы сказал, непроизводительная трата сил. От того, что он еще раз повторит себе подобному сотни раз уже озвученные чекистской агентурой глупости, хуже не будет. Пусть впрыскивают друг другу идеологический наркотик.

Что на самом деле представляет опасность и на что стоит обращать внимание и за чем внимательно следить — так это на то, что эту «антибелую» идеологию перехватывают и используют против перспективы возрождения исторической России как раз те круги, которых недоумки из «Современника» обычно именуют «мировой закулисой» (и для которых национал-большевизм — весьма выгоден) и которые, будучи серьезно укоренены в окол властных и вообще влиятельных структурах, в отличие от последних имеют возможность работать на широкую аудиторию и определять государственный идеологический курс. Но это отдельная тема.

К сожалению, в зарубежье не все это понимают, норовя лишний раз опровергнуть уже набившие оскомину национал-большевистские утверждения. Или еще испытывают какие-то иллюзии? Характерно, что практически никто из лиц белой ориентации, живущих в России, этим не занимается: они слишком хорошо знают этот сорт «патриотов». Мне лично тоже никогда не приходилось спорить с национал-большевиками. Я всегда только описывал и объяснял их нравы, взгляды и политическую деятельность. Можно наблюдать их виляния и кривляния, потешаться над тем, как они хватаются за хвост то одного, то другого «красного сокола», всякий раз шлепаясь в лужу вместе с очередным провалившимся «народно-патриотическим» вождем, но неужели можно их за это осуждать или быть на них в претензии, тем более — спорить, правы ли они, что так поступают? Помилуйте, они — «в своем праве», такова их сущность.

Нельзя же ставить в вину корове то, что она жует траву, а не ловит мышей. Если бы национал-большевики не видели своего и страны будущего в соединении советской и досоветской традиций, «неделении на белых и красных», они были бы не национал-большевиками, а белогвардейцами. Спорить можно только с общих позиций. Но спор с идейными противниками бессмыслен, и я в него никогда не вступаю.

«Лакмусовая бумажка» для определения линии размежевания ведь очевидна. Это — ответ на вопрос, должен ли советско-коммунистический режим, созданный большевистским переворотом, быть безусловно и полностью уничтожен со всем своим идейно-политическим наследием, или нет? С теми, кто говорит «да», можно спорить — как, с чьей помощью, что потом и т. д. С теми, кто говорит «нет», говорить бессмысленно, в какие бы одежды они ни рядились и какие бы доводы ни приводили. Это враги.

Разговаривать с ними, создавая впечатление, что с ними вообще есть о чем говорить — значит не только оказывать им незаслуженную честь, но и дезориентировать людей, не имевших возможности составить о них адекватное представление. Подобное поведение стоит в том же ряду, что и получившие распространение в последнее время поползновения к «реабилитации» противников советчины. В том же номере газеты, кстати, было сообщение о том, что военный суд отказал в реабилитации адмирала Колчака, инициированной какой-то группой в Петербурге. Не знаю, что за группа, но если их намерения искренни — тем досаднее, что не понимают кощунственности своих действий. Нынешний режим есть прямое продолжение того, с которым боролся адмирал и реабилитация Колчака наследниками его врагов была бы таким оскорблением памяти белого вождя, хуже которой и придумать невозможно.

Реабилитируют ошибочно пострадавших «своих», в противном случае сама постановка вопроса абсурдна. Могло ли, скажем прийти в голову большевикам «реабилитировать» декабристов, народовольцев, террористов 1905 года и т. д.? Нет, конечно, потому что это означало бы, что те осуждены царским судом «неправильно», т. е. вовсе не боролись против самодержавия и никаких законов не нарушали. Для них это были герои, пострадавшие от враждебной силы, их деяния ставили в пример, а не пытались отрицать. Но героями враги русской государственности могли стать только после того, как эта государственность была уничтожена и преступниками были признаны ее защитники. Точно так же и доброе имя белых вождей может быть восстановлено в России не раньше, чем будет восстановлена подлинная российская государственность и будут признаны преступниками ее враги — защитники советской власти. И никак иначе.

Пресловутый «Великий Октябрь» был таким, каким был. Он положил начало советской власти и его Красная Армия утверждала в гражданскую войну и позднее. Ничего тут измениться не может. Ильин пережил Сталина и застал самый расцвет того «патриотизма» и «державности», по отношению к которому нынешние есть только бледное подражание. Однако же ему и в голову не пришла мысль о плодотворности этой тенденции для будущего России, а тем более о возможности какого-то сотрудничества с ней для борьбы против «мировой закулисы», о которой он знал уж никак не меньше какого-нибудь Назарова.

Поэтому когда нам говорят, что коммунисты изменились, что это ныне какие-то совсем другие люди, прежде всего спросим — изменилось ли их отношение к Октябрю и тем, кто отстаивал его с оружием в руках или на словах? По-прежнему ли они одобряют их, или, увидав все в истинном свете, проклинаят? Но оно не изменилось. Покажите мне, где и кто из их вождей и идеологов утверждал, что творцы «Великого Октября» и те, кто, неся на штыках их власть, в гражданскую войну назывался красными, были преступниками, а истинными героями были те, кто с ними боролся — и я охотно соглашусь, что да, коммунисты изменились. Но не только они не изменились, но и их прихвостни, которые себя коммунистами не называют, утверждают прямо противоположное. Посмотрите хотя бы на идеологию организации «Духовное наследие», обеспечившую пропагандистскую сторону зюгановской кампании.

Вот что мне показалось особенно забавным и курьезным в выпадах «Нашего Современника» — это попытка коммунистических подголосков поставить себя «правее» Белого движения и зачислить в свои ряды людей типа Башилова, противопоставив их Белому движению, да еще опираясь на них, обличать РОА. Насколько мне известно, все те деятели, которые действительно были правее Белого движения в целом, во-первых, сами все к нему принадлежали (составляя его крайне правый фланг), а во-вторых (и это главное!) — уж в 1941-45 гг. они-то как раз и были самыми лютыми ненавистниками Совдепии и сторонниками РОА. Если более либеральные и левые элементы эмиграции могли еще позволить себе «оборончество» или рассуждения о «двойной задаче» то уж монархисты и особенно башиловского толка — никогда. И объективно они были абсолютно правы, потому что историческая монархия не может быть восстановлена ранее, чем победит Белое Дело, т. е. будет устранено то (советчина), что делало ее восстановление абсолютно невозможным.

Но зарубежные авторы и читатели газеты должны знать это гораздо лучше, и было бы полезно, если бы «Наша Страна» внесла определенность

в этот вопрос. Не в порядке дискуссии с национал-большевиками (это же жулье, им ничего не стоит отрицать очевидное) — а для освещения известных истин, которые для эмиграции само собой разумеются, настолько банальны, что о них как-то и писать забыли. Но нынешнее поколение в России может этого и не знать. Между прочим, как и некоторых других вещей. Например, в одной из публикаций «Нашей страны» о сменовеховцах, возвращенцах и совпатриотах прежних времен Е. Веденеевой сказано: «А мы их знаем и помним как клеветников, провокаторов и доносчиков». Ну так и напомнила бы нам хотя бы их имена, а то мы знаем только современных, тогда как того, чтобы о них знали, заслуживают все они.

1998 г.

Белое Движение и Императорский Дом

Настоящая статья имеет целью осветить позицию Белого движения по отношению к легитимизму и взаимоотношения возглавителей основного ядра русской военной эмиграции с Российским Императорским Домом. Это представляет некоторый интерес в т. ч. и потому, что в последнее время получили широкое распространение весьма извращенные представления на этот счет. Кроме того, в связи с активным обсуждением в 1990–е годы вопросов престолонаследия, в условиях роста общественных симпатий к Белому движению проявилась тенденция, опираясь на авторитет последнего, противопоставить его легитимизму вплоть до утверждений, что права «кирилловичей» на престол изначально отвергались наиболее достойной частью эмиграции и не более значили в общественном мнении, чем претензии всяких иных лиц. Поэтому хотелось бы обратить внимание хотя бы на основной аспект этой проблемы — что именно стояло за позицией белого военного руководства и что это значило в смысле признания или непризнания принципа легитимизма. Под Белым движением понимается совокупность антибольшевистских сил, сражавшихся на всех фронтах и на завершающем этапе борьбы воплощавшееся Русской Армией ген. Врангеля, а с 1.09.1924 г. — созданным на ее основе Русским Обще-Воинским Союзом (РОВС) и его руководителями.

Как хорошо известно, в годы гражданской войны Белое движение не выдвигало монархического лозунга, и с точки зрения интересов его борьбы против большевизма это было по ряду причин совершенно правильно. Прежде всего, не следует забывать о той степени дискредитации монархической идеи и «старого режима» вообще, которая реально имела место после февраля и в течение ближайших к нему лет. И без того «старый режим» был пугалом, которым большевики успешно пользовались. В этом приходилось отдавать себе отчет и руководителям монархического движения в эмиграции. Кроме того, в начале борьбы, когда император находился в заточении провозглашение монархического лозунга спровоцировало бы немедленную расправу с ним, а после его гибели лозунг терял смысл, ибо не может быть монархии без претендента. Вопрос же о претенденте был долго неясен, ибо недоказанность смерти великого князя Михаила Александровича не позволяла заявить о своих правах и великому князю Кириллу Владимировичу.

Главное же состояло в том, что пока речь шла о реальной борьбе с

большевиками и оставалась надежда на успех (а она была, поражение Белого движение не было фатальным), важно было привлечь все антибольшевистские силы, ради чего приходилось мириться даже с проявлениями казачьего сепаратизма и существованием лимитрофных государств в Прибалтике и на Кавказе. Действуя на окраинах страны при отсутствии военной промышленности и запасов оружия и снаряжения (все это полностью осталось в руках большевиков), белые армии в огромной степени зависели от помощи союзников, чьи правительства под давлением внутренних сил относились к возможности выдвижения лозунга восстановления монархии крайне отрицательно.

Широко распространенный миф о монархических настроениях крестьянства, которым долгие годы тешили себя в эмиграции многие монархисты и на базе которого возводились едва ли не все построения целого ряда монархических группировок (прежде всего движения «народной монархии» И. Л. Солоневича и его последователей), оставался всего лишь мифом. Как ни парадоксально, «монархические настроения» (как общая тенденция тяготения к временам дореволюционной России) стали проявляться с конца 20-х годов, после «великого перелома» коллективизации, «раскулачивания», голода и т. д., но никак не ранее. Результаты выборов в Учредительное Собрание однозначно свидетельствуют о практически безраздельном эсеровском влиянии в деревне. Именно на это обстоятельство (а не на мифические монархические симпатии, об отсутствии которых современники хорошо знали) и были вынуждены ориентироваться белые вожди, боясь оттолкнуть крестьянство. Чисто крестьянских восстаний было великое множество, но ни одно сколько-нибудь заметное движение не происходило под монархическим лозунгом. Даже Тамбовское, Западносибирское и Кронштадтское восстания шли под совсем иными.

Непредрешенческая позиция, хотя и была теоретически ущербна, в этих условиях представлялась единственно возможной. Наиболее очевидным доказательством правильности непредрешенческого лозунга было то, что белые армии с монархическим знаменем все-таки были (Южная и Астраханская), однако по изложенным выше причинам уже к осени 1918 г. потерпели полный крах, хотя и оперировали в великорусских крестьянских районах Воронежской и Саратовской губерний.

Однако невыдвижение открыто монархического лозунга не отменяет того факта, что практически все руководители и абсолютное большинство наиболее дееспособных участников борьбы — прежде всего офицеры, на самопожертвовании которых только и держалось Белое движение, — были

монархистами. Белое движение вобрало в себя чрезвычайно широкий идейно-политический спектр противников большевизма, объединив самые разные силы — от последовательных монархистов до революционных в прошлом партий эсеров, народных социалистов и эсдеков-меньшевиков. Но настроения и идеология массы рядовых участников движения и особенно его ударной силы — офицерства вовсе не были пропорциональны настроениям политиков. П. Н. Милюков полагал, что среди собравшегося на юге офицерства не менее 80 % были монархистами, другие считали это преувеличением,^[31] но того факта, что большинство офицеров было настроено монархически и в целом дух белых армий был умеренно-монархическим, никто тогда не отрицал.

Тем более это было очевидно для самих руководителей Белого движения. Как отмечал А. И. Деникин, «Собственно офицерство политикой и классовой борьбой интересовалось мало. В основной массе своей оно являлось элементом чисто служилым, типичным „интеллигентным пролетариатом“. Но, связанное с прошлым русской истории крепкими военными традициями и представляя по природе своей элемент охранительный, оно легче поддавалось влиянию правых кругов и своего сохранившего авторитет также правого по преимуществу старшего командного состава. Немалую роль в этом сыграло и отношение к офицерству социалистических и либеральных кругов в наиболее трагические для офицеров дни — 1917 года и особенно корниловского выступления». Непредрешенчество в этих условиях было данью как традиционным представлениям о неучастии армии в политических спорах, так и конкретным обстоятельствам и настроениям в стране. В одном из писем ген. Алексеев совершенно искренне определял свое убеждение в этом отношении и довольно верно офицерские настроения: «Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии, конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав Добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонялись от этого основного принципа».^[32]

Кроме того, уже за годы войны произошло огромное «поправение», и лозунг непредрешенчества все более понимался не столько как

альтернатива монархическому, сколько как замена республиканскому, который в условиях того времени (названных выше) пришлось бы провозглашать, если бы требовалось «определиться». Нет ни малейшего сомнения, что в случае победы над большевиками реальная власть оказалась бы в руках именно этого офицерства, и монархия в той или иной форме была бы восстановлена. Так что если поставить вопрос, что несло России Белое движение в смысле государственного строя, то ответ можно вполне дать словами Деникина: «Конституционную монархию, возможно, наподобие английской». Это обстоятельство стало со временем вполне очевидно как большевикам, так и эсерам, которые в конце-концов перешли в оппозицию Колчаку и на сторону красных.

Тем не менее, в годы войны никакого отдельного монархического движения вне Белого движения не существовало («профессиональные монархисты» в лице «Союза русского народа» и т. п. организаций в ходе событий 1917 г. и после них обнаружили свою полную несостоятельность, несерьезность и неспособность), оно было частью Белого движения (остатки отдельных «монархических» армий также влились в Добровольческую армию Деникина). С еще большей определенностью монархические настроения проявились в эмиграции, где связь офицеров — носителей монархической традиции с массой военнослужащих, вместе работавших на стройках и шахтах, стала еще теснее. И когда в эмиграции монархическое движение открыто заявило о своем существовании как особая политическая сила, руководство Белого движения (т. е. практически Армии) должно было определить к нему свое отношение.

Поскольку сутью и смыслом существования Белого движения была борьба с установившейся в России коммунистической властью, его позиция по любому вопросу всегда исходила из интересов этой борьбы, и всякое явление рассматривалось прежде всего с точки зрения, как оно может повлиять на перспективы этой борьбы. Возглавленная в первые годы эмиграции Главнокомандующим ген. Врангелем, она сводилась к тому, чтобы ликвидировать коммунистический режим в России, без свержения которого были бессмысленны любые разговоры о будущем России, и тем более монархии. Поэтому Белому движению органически было присуще стремление обеспечить как можно более широкую коалицию антибольшевистских сил. Отсюда его непредвзятость, отсюда же и продолжение этой линии в эмиграции, выражавшейся в том, чтобы не отталкивать даже часть сторонников, прежде всего военных, определенным принятием монархического лозунга. Объективно такая позиция была абсолютно правильной — по крайней мере до того момента, пока

сохранялась хоть малейшая надежда на продолжение вооруженной борьбы (т. е. до начала 30–х годов).

Как писал Врангель П. Н. Краснову: «Вы не можете сомневаться в том, что по убеждениям своим я являюсь монархистом и что столь же монархично и большинство Русской Армии. Но в императорской России понятие „монархизм“ отождествлялось с понятием „родины“. Революция разорвала эти два исторических неразрывных понятия, и в настоящее время понятие о „монархизме“ связано не с понятием о „родине“, а с принадлежностью к определенной политической партии. (Т. е. констатировалось, что после революции монархизм перестал быть общепринятым и превратился в знамя только некоторой группы лиц.) Нужна длительная работа, чтобы в народном сознании оба эти понятия вновь слились воедино. Пока этот неизбежный процесс не совершится... пока оба эти понятия не станут вновь однородными, пока понятие „монархизма“ не выйдет из узких рамок политической партии, Армия будет жить только идеей Родины, считая, что ее восстановление является реальной первоочередной задачей».^[33] Потом и Н. Е. Марков (25.01.1925 в № 134 Еженедельник ВМС) пришел к пониманию этого: «Все истинные монархисты должны весь свой разум, всю свою волю, всю действенность и силы свои направить прежде всего на свержение злых поработителей русского народа, затем на убеждение народа в необходимости и благотворности для России полновластной монархии и наконец на всенародное призвание законного Царя из Дома Романовых», т. е. задачи ставились именно в той последовательности, о которой говорил Врангель.

Организационно и идейно монархическое движение в эмиграции впервые осмелилось заявить о себе только в мае-июне 1922 г. на Рейхенгалльском съезде (да и то упоминание о «законном Государе из Дома Романовых» было по тем временам большой смелостью), однако переговоры избранного на нем Высшего Монархического Совета во главе с Н. Е. Марковым с членами династии оказались безрезультатными. Великий князь Николай Николаевич наотрез отказался возглавить монархическое движение. В том же году и Земский Собор во Владивостоке, созванный ген. Дитерихсом, провозгласил задачу воссоздания монархии, но без упоминания о том, кто должен занять престол.

В дальнейшем с заявлением о своих правах великого князя Кирилла Владимировича и нежеланием ВМС признать их в монархическом движении обозначился глубокий раскол. При этом ВМС, не называя имени «законного Государя», предъявил претензии на подчинение ему армии, и когда таковые были отвергнуты, начал интриговать против

Главногокомандующего. Однако позиция последнего была вполне логичной: монархизм армии, с одной стороны, не мог быть «беспредметным», с другой стороны, она не могла принимать участия в дебатах о праве на престол того или иного лица: высшей целью ее существования было сохранения себя для борьбы, т. е. сохранения как армии, связанной железной дисциплиной и не могущей быть ареной партийных распри, хотя бы и монархических. (Этого иммунитета против партийных притязаний правых групп были лишены, впрочем, офицеры, не принимавшие участия в войне или воевавшие на других фронтах и в эмиграции находившиеся вне армии.)

Опасность для армии представляло и отсутствие единства в монархическом движении, принятие монархического лозунга грозило расколоть армию по «внутримонархическому» признаку: как ни парадоксально, армия, приняв единый монархический лозунг, грозила расколоться пополам (это в миниатюре произошло после манифеста Кирилла Владимировича об объявлении себя Императором — Белградский Союз Участников Великой Войны, принявший лозунг «За Веру, Царя и Отечество», раскололся почти надвое). В этих условиях Врангель вынужден был отдать приказ от 8.09.1923 г. № 82 категорически запрещающий всем офицерам, находящимся в составе армии (а равно членам офицерских союзов, каковые все включались в состав армии) состоять в каких бы то ни было политических партиях. Объяснял Главногокомандующий это так: «Ставя долгом своим собрать и сохранить Русскую Армию на чужой земле, я не могу допустить участия ее в политической борьбе. Воин не может быть членом политической партии, хотя бы исповедующей те же верования, что и он. И офицер старой Императорской Армии не мог состоять членом монархической партии, так же, как не мог быть членом любой другой... Значит ли это, что каждый из нас не может иметь своих политических убеждений?... Конечно, нет. Мы, старые офицеры, мы, служившие при русском Императоре в дни славы и мощи России, мы, пережившие ее позор и унижение, мы не можем не быть монархистами. И воспитывая будущее поколение русских воинов... мы можем лишь радоваться, что они мыслят так же, как и мы».^[34] И этот приказ был принят к исполнению всеми воинскими организациями и союзами, за исключением расколовшегося СУВВ.

Позиция ВМС была, конечно, более чем зыбкой, достаточно сказать, что ВМС, пытаясь прибрать к рукам армию и развернувший кампанию против противившегося этому Врангеля, выступая против Владимира Кирилловича, ориентировался на великого князя Николая Николаевича,

тогда как, во-первых, сам последний знаменем ВМС себя делать отнюдь не желал, а во-вторых, между ним и Главнокомандующим были самые теплые отношения.

Значило ли это однако, что Главнокомандующий и всецело преданные ему армия и военные круги сомневались в законности прав великого князя Кирилла или склонны были предпочесть им другого кандидата на престол? Для такого утверждения не обнаруживается абсолютно никаких оснований. Это было предметом борьбы внутри самого монархического лагеря, спором между различными монархическими «партиями», это ВМС противился открытому признанию этих прав, но не Армия, руководство которой как раз и стремилось избежать раскола такого рода. Невозможно привести ни одного заявления, из которого бы явствовало, что Армия не признавала законность прав великого князя Кирилла, или что она рассматривала как более предпочтительную или хотя бы равноценную какую-либо иную кандидатуру на престол.

«Возглавление» Николаем Николаевичем армии всегда рассматривалось только как средство для более эффективной борьбы с большевистским режимом, а не как приготовление к занятию им престола. В мае 1923 г. (когда парижский Союз Участников Великой Войны ввел в устав девиз «За Веру, Царя и Отечество», что произвело в военных кругах сильное впечатление) Врангель (хотя Николай Николаевич тогда не находил возможным открытое свое выступление) заявил: «Если бы Великому Князю удалось объединить вокруг себя русских людей, я, зная, каким обаянием Его имя пользуется среди нас, был бы счастлив повести Армию за ним». Однако речь в данном случае совершенно не шла о претензиях на престол, и даже о возглавлении монархического движения, а только о верховном возглавлении армии членом Императорского Дома. Более того, такое возглавление в принципе не только не противоречило правам Кирилла Владимировича, но даже и предполагалось самим последним.

В последовавшем за актом 26 июля 1922 г., о возложении на себя Кириллом Владимировичем блюстительства российского престола особом обращении к армии (впервые со времени революции к ней обращался член Императорского Дома) он говорил: «Молю Бога о том, чтобы, просьбе моей вняв, верховное главнокомандование над Русской Армией принял ЕИВ Великий Князь Николай Николаевич»^[35] Т. е. сам великий князь Кирилл выразил пожелание того, далее чего никогда не заходил и Врангель. Кстати, и когда ВМС вел агитацию за «возглавление» великим князем Николаем Николаевичем, в военных кругах это понималось не как «блюстительство», а как принятие им верховного командования. Так что по сути и спорить

было не о чем. В принципе, если бы Николай Николаевич согласился, то Главнокомандующий не имел никаких оснований не подчиниться этому решению.

Дело, однако, было в том, что непредрешенческую позицию в духе Белого движения занял сам Николай Николаевич. Но если Белому движению, как движению, ведущему практическую борьбу с советским режимом только и возможно было принять ее (коль скоро в его рядах были далеко не одни монархисты), то для члена Императорского Дома это выглядело в лучшем случае нелепо, а в худшем — как предательство самой монархической идеи. При том, что претензий на престол он не выказывал (даже когда Николай Николаевич решил, наконец, публично выступить, речь шла о том, чтобы «стать во главе национального движения», а не о престоле). (Его позиция напоминает высказывание некоторых ныне здравствующих представителей семьи Романовых.) Тем не менее, 16.11.1924 после получения письма Марии Федоровны с отрицательным отношением к действиям великого князя Кирилла, Николай Николаевич заявил о возглавлении им армии и всех военных организаций, что было принято последними, руководствующимися прежде всего интересами антибольшевистской борьбы.

Между тем манифест 5.04.1924 г. призвал всех воинских чинов «присоединиться к законопослушному движению, Мною возглавляемому, и в дальнейшем следовать лишь Моим указаниям», а 30.04. объявлялось «Положение о Корпусе Офицеров Императорских Армии и Флота», чем как бы формировалась армия, враждебная ВМС. Русской Армии этот призыв почти вовсе не коснулся, и в КИАФ вступили в основном старые генералы и штаб-офицеры, (многие уже и к 1917 г. находившиеся в отставке), не принимавшие по старости участия в борьбе, бывшие пленные, оставшиеся в Европе и часть белых офицеров других армий. 31.08.1925 манифест возвещал о восшествии на престол Императора Кирилла Владимировича. Таким образом подавляющая часть военной эмиграции осталась обособленной от легитимистского движения, что, впрочем, вовсе не означало враждебного к нему отношения. Эта ситуация продолжалась до смерти великого князя Николая Николаевича и ген. Врангеля.

Целый ряд членов Императорского Дома были близки РОВСу и главному органу белой мысли журналу «Часовой». Прежде всего это был Сергей Георгиевич Романовский, герцог Лейхтенбергский, сам участник Белого движения. Он тесно сотрудничал с РОВСом вплоть до смерти. В числе других членов Императорского Дома, связанных с РОВСом (посещавших в начале 30-х гг. молебны по случаю основания

Добровольческой армии, присылавших приветствия его органам печати и т. п.) были Андрей Владимирович, Анастасия Николаевна, Дмитрий Павлович (с декабря 1931 г. почетный председатель СРВИ), Гавриил и Вера Константиновичи. «Часовой» откликался на юбилеи и кончины лиц Императорского Дома (Александра Михайловича 1933 № 99, Ольги Александровны 1932 № 83).

РОВС мог признать великого князя Кирилла своим непосредственным главой уже в начале 30-х годов, если бы не младоросское влияние, сквозившее в его заявлениях, абсолютно неприемлемых для РОВСа и отрицавших самую суть Белой борьбы. Характерно, что ген. Шинкаренко, издавший в 1930 г. брошюру «Что же мы должны делать?» и отвечавший на этот вопрос — объединяться вокруг великого князя как национального вождя и созывать Национальный Зарубежный съезд, в 1932 г. после новогоднего обращения Кирилла Владимировича, составленного младороссами, дал ему резкий отпор, как покушающемуся на самую суть борьбы с угнетателями России.^[36] В принципе же возглавление всей военной эмиграции Кириллом Владимировичем рассматривалось как совершенно естественное дело. Вспоминая об этом, Е. Тарусский (соредактор журнала) писал в 1939 г.: «Две дороги Династии и Армии снова слились в одну. Императорский Дом должен принять верховное возглавление всего российского воинства за рубежом», При этом особо подчеркивались, что «Династия выше всего и всех» и выдвигались исходя из этого два требования: 1) она должна быть вне эмигрантской политики; 2) не возглавлять ни одну из организаций.^[37]

Положение коренным образом изменилось в конце 30-х годов. Когда младоросские заблуждения и иллюзии были вполне преодолены, позиция Главы Династии оказалась тождественной идеалам Белого движения, и, таким образом, все препятствия к непосредственному объединению вокруг него отпали. С 1938 г. «Часовой» уже в каждом номере публиковал сообщения «От главы Императорского Дома», сведения о жизни членов семьи великого князя (помолвке Киры Кирилловны), помещал на обложке портреты Кирилла Владимировича, фотографии посещения им Галлиполийского Собрания в Париже 16.12.38, корпуса-лицея в Версале, о его болезни и кончине (один из номеров был полностью посвящен его памяти). Великий князь Владимир Кириллович несколько раз принимал редактора «Часового» В. В. Орехова, а в журнале можно было встретить такие, например, строки: «Отвечая на приветствия, редакция „Часового“ рапортует Династии, Армии и Флоту: „Находящееся под сдачей Российское

Национальное Знамя сдам на Русской Земле Разводящему“ Кто разводящий? Император Всероссийский».^[38] Любопытно, что когда после похищения ген. Миллера РОВС переживал тяжелые времена, в члены Военного Совещания для возглавления и реформы РОВСа предполагалось ввести Бориса и Андрея Владимировичей, С. Г. Романовского, Гавриила Константиновича и Никиту Александровича.^[39]

Наконец, приказом № 5 от 9.02.1939 г. глава РОВСа ген. Архангельский, объявляя Обращение великого князя Владимира Кирилловича (гласившее, в т. ч.: «РОВС, являясь наибольшим ядром русского зарубежного воинства, должен особенно стремиться к сохранению своего единства и сплоченности. Когда настанет момент, Я призову всех к исполнению своего долга перед Родиной и Мне отрадно знать, что РОВС готов откликнуться на Мой призыв. Я высоко ценю героическую борьбу, которую вели Белые Армии на всех фронтах и не сомневаюсь, что чины Союза готовы и ныне отдать свои силы на освобождение и восстановление России на ее исторических началах.») ввел его в общее объединение эмиграции, образованное по призыву Главы Императорского Дома.

Характерно, что компромисс был достигнут на основе признания изначальной позиции РОВСа и Белого движения. Ген. Архангельский особо подчеркивал в приказе: «Входя в общее объединение эмиграции, к которому призывал Глава Императорского Дома, РОВС должен продолжать свою работу, сохраняя в силе все свои основоположения, на которых он был построен нашими вождями и создателями Белого Движения».^[40] Тогда, впрочем, РОВС уже не был единственной организацией, преемствующей Белому движению (отдельно существовали Гвардейское Объединение, Объединение конницы и конной артиллерии, Зарубежное Морское Объединение, Союз Кавказской армии, Национальный Союз Участников Войны ген. Туркула, КИАФ) и «Часовой», в частности, призывал к объединению всех их вокруг Великого Князя.

С этого времени позиция Главы Императорского Дома неизменно совпадала с точкой зрения Белого движения. В пасхальном послании 1939 г. он писал: «...Нынешняя власть за двадцать два года страданий народных залила потоками крови Родину нашу, довела ее до небывалого обнищания и продолжает предавать интересы страны на пользу III-го интернационала. Бессмысленно верить в ее перерождение во власть национальную и нельзя ее признать хранительницей государственных рубежей и защитницей интересов России. Эта анти-русская власть, учитывая опасность нарастающего из недр народных спасительного

национализма, силится направить здоровое устремление народа в русло своих отравляющих душу идей. Те, кто верят в достижения нынешней власти и готовы усматривать в ней как бы преемницу Созидателей Русского величия — в своем заблуждении не встретят сочувствия Моего. Интернациональная коммунистическая власть останется до конца своего врагом России и ее народов. Не может быть примирения и соглашения с богоборческой лженародной властью. Кто отождествляет с ней Русский народ, приносит ему и России только вред».^[41]

На приеме в Сен-Бриаке в 1939 г. Владимиром Кирилловичем было сказано: «Вести, которые поступают с нашей измученной Родины, неизменно подтверждают продолжающиеся страдания всех народов, населяющих необъятные пространства России. Уже долгие годы они ведут напряженную борьбу против ненавистой власти. Это накладывает на нас священную обязанность присоединиться к борьбе, ведущейся на родине. Как бы ни складывалась политическая обстановка, Я всегда буду помогать русскому народу вести эту борьбу и ожидаю поддержки Российских людей, находящихся за рубежом».^[42] «Обращение Главы Российского императорского Дома к Русским Людям» 3.11.1939 г. гласило: «Между современной советской и подлинной Россией существует столь же глубокое различие, как между тьмой и светом, между палачом и его жертвой. Коммунизм не изменяет своего существа: его цель по-прежнему остается разрушение современного мира со всей его вековой культурой.... Я почитаю своей священной обязанностью обратиться ко всем русским людям с словом предупреждения против опасного соблазна мнимыми великодержавными успехами советской власти, ибо они влекут за собой не возвеличение и освобождение России, а укрепление в ней власти богоборческого Интернационала».^[43]

Таким образом, к началу Второй мировой войны практически вся военная эмиграция — продолжательница Белого движения, объединилась под легитимистским знаменем, одновременно сохраняя свои принципы, позволяющие ей играть роль и связующего звена между немонархической частью эмиграции и Императорским Домом, глава которого выражал наиболее важные в идейно-политическом плане положения, общие для участников Белого движения.

1998 г.

Россия не виновата

Ничто не вносит такую путаницу в сознание, как подмена названий, когда одним и тем же словом именуются разные до противоположности понятия. Когда нынешняя «российская» армия оказывается не в состоянии противостоять чеченским бандитам, а «российская» дипломатия соучаствует в отторжении от Югославии исконных сербских земель, нормальному человеку обычно бывает стыдно, «за державу обидно» — вот до чего, дескать, довели Россию. И напрасно. Потому что Россия здесь совершенно не при чем. Ее еще нет, как не было с 1917 года.

Отождествление с Россией того, что существует ныне в пределах РФ, не только неразумно, но крайне вредно для общественного сознания. Когда мы привычно говорим «Россия», «российский» применительно к сегодняшним реалиям, мы понимаем, что это условность, что это не Россия, а территориально вдвое урезанная Совдепия, но абсолютное большинство населения страны находится под впечатлением того, что когда-то была Россия, потом вместо нее существовал СССР, а теперь снова стала Россия.

Имя нашей исторической державы принимает на себя и все совершаемые нынешним режимом мерзости, и весь пласт остаточного советского наследия. Вот уж несколько лет мы привыкли к газетным заметкам такого, например, рода: «В уральском городе Ирбит торжественно открыт памятник Ленину. Шесть лет назад он был снят с пьедестала. Энтузиасты отреставрировали его и водрузили на прежнее место, снабдив новой ленинской цитатой: „Классовая борьба продолжается, и наша задача — подчинить все интересы этой борьбе“». Недавно вот во Владивостоке принято решение восстановить памятник Дзержинскому... Но в России никогда не поставят памятников ни Ленину, ни Дзержинскому. Страна, где они стоят, должна именоваться по-другому.

Год назад проводился опрос: «Согласны ли Вы с мнением, что члены Царской семьи должны быть причислены к лику святых мучеников?» (оставим даже в стороне вопрос, какую цену по такой проблеме может иметь мнение в большинстве неверующих и более чем на 90 % не воцерковленных людей). Более половины (51 %) были «несогласны», а еще 27 % затруднились ответить. Теперь представьте, как это звучит: «Народ России — против канонизации Царской семьи!» Но так не может быть, это население Совдепии — против.

Это не Россия предала сербов, признала отторжение своих окраин, кланчит американские займы. Все это творит обломок Совдепии, плоть от плоти ее во главе с советскими же людьми творит подобное. Особенно противоестественно выглядит сочетание «российская армия» — как будто так могут именоваться всякие войска, укомплектованные русскими людьми. И во времена Орды русские отряды участвовали в ее походах, и РККА состояла из русских, только ни золотоордынским ханам, ни советским вождям не приходило в голову называть свои силы этим термином. Нынешним правителям — приходит. Но неужели же этого достаточно, чтобы и нам так считать: была советская, стала — российская?

Помнится, как-то один из южноамериканских, с позволения сказать, кадетских листков обвинял «Нашу Страну» в том, что она, обличая военную советчину, ведет «антиармейскую кампанию». Ну да, если угодно, — антиармейскую (потому что Красная, Советская армия — это ни что иное, как именно армия). Только это та самая кампания, которую вели Колчак, Врангель и другие руководители Белого движения в годы Гражданской войны, бойцы Русского Корпуса двадцать лет спустя и белая эмиграция все последующие годы (почитайте-ка труды русских офицеров-эмигрантов хоть 30-х, хоть 60-х годов). Настоящим русским патриотам всегда было ясно, что Красная Армия — это не наша армия и ее победы, против кого бы они ни были одержаны — не наши победы. Эта армия разрушила Россию и в годы Второй мировой войны защищала не ее, а советский режим и коммунистический строй. Но всегда находились недоумки, которым очень хотелось выдать желаемое за действительное.

Недавно вот довелось читать в одной из газет, наиболее плохо относящихся к исторической России апологетическую статью о командующем группировкой на северо-востоке адмирале В. Дорогине, который «слывет на Камчатке философом, интеллектуалом» и собственноручно написал курс лекций для матросов по истории флота. Какого рода этот курс видно из сожалений адмирала, что «матросам рассказывают о Первой мировой войне, а потом сразу о Великой Отечественной» а гражданскую выпускают. Если кто-то подумал, что он собирается рассказать о ней правду, то сильно ошибется. Это он недоволен стыдливостью нынешней власти в воспевании красных героев, защитников дела Октября. Но дальше следует совершенно замечательный пассаж. Дело в том, что под началом адмирала находится и 22-я «Чапаевская» дивизия, в один из полков которой в 1922 г. был зачислен почетным бойцом «сам» Ленин, и в 1-й роте до сих пор стоит его кровать, регулярно заправляемая солдатами. После 1991 г. ее «естественно, пытались свергнуть». Но

Дорогин отстоял, чем весьма горд и комментирует: «И пусть так будет!». Журналисты же пишут: «Дорогин вполне солидарен с тем, чего опасаются остальные офицеры, — действительно, если не „кровать Ильича“, то что взамен? На каком примере воспитывать солдат?... Это совсем не праздный вопрос для нынешней армии. На примере воевавших в Чечне? В Афганистане?»

Такая вот, понимаете ли, проблема стоит в «русской армии», которой из всей своей истории нечего взять, кроме «кровати Ильича». Попутно осуждается и «десяток лет реформ, ушедших во многом на то, чтобы сбросить за борт подобных Дорогину людей и сделать это расчищение одним из условий строительства жизни по-новому». А ведь точно — не выбросив их, русскую армию из советской не сделаешь.

Собственно, этого вообще нельзя сделать автоматически. Русскую армию можно создать, только распустив советскую. То есть, поступив примерно так, как поступали обычно в научных учреждениях, когда отдел или весь институт упраздняют, а потом объявляют конкурс на места во вновь созданном того же профиля, но берут туда не всех. Дело даже не столько в кадрах, сколько в самой сути армии. Абсолютное большинство нынешних офицеров вполне могли бы служить и в армии русской (тем более, что других взять неоткуда). Но бывший советский офицер должен знать, что он поступает на службу в совершенно другую, новую для него, русскую армию, основанную на иных традициях и принципах, чем, советская, которые он обязан принять, если хочет служить, — чтобы он туда не тащил советчину. В настоящее же время все происходит как раз наоборот: это его, советская армия и с какой стати он должен отказываться от ее традиций и принимать какие-то другие, менять Жукова на Врангеля и т. д.? Он их и не принимает, и чувствует себя «в своем праве». Но так эта армия никогда не будет русской.

В подобном же преобразовании нуждается и вся государственность, все законы, институты и учреждения РФ. Только тогда можно будет говорить без кавычек о русской государственности, русской власти, русской армии и т. д. Пока же их нет, Россия не виновата в нелепостях, глупостях и прямых преступлениях, совершаемых от ее имени самозванцами под русским флагом, и да не лягут они на ее доброе имя!

Руководство подлинной, исторической России, конечно, совершало в прошлом и будет, наверно, совершать в будущем различные ошибки. Но это были и будут русские ошибки, а не сознательные деяния чуждых и недостойных России людей.

1999 г.

«Цивилизованный патриотизм» и современное политическое сознание

В ходе политических событий в России в начале 90-х годов для кругов, заинтересованных в противостоянии тоталитаризму, закономерно встал вопрос о поисках альтернативы коммунистическому реваншу или режиму национал-социалистского типа. В условиях совершенно определенно обозначившегося подъема патриотических настроений в обществе, все чаще стало встречаться обращение к понятию т. н. «цивилизованного патриотизма». Было, в частности, высказано мнение о том, что «единственной и наиболее действенной силой, способной противостоять и левому большевизму и правому социализму, является просвещенный либерально-христианский консерватизм».^[44] Теоретически это совершенно верно, поскольку объективно такой силой является вообще всякая идеология, опирающаяся на выверенные веками традиционные для данной страны ценности. Ликвидация традиционного правопорядка не приносила ничего хорошего в самых разных странах: ни в Афганистане, ни в Камбодже, ни в Германии. Однако применительно к современной России это положение звучит достаточно спорно: названная идея, будучи однажды лишена адекватного социально-государственного содержания, массами овладеть в принципе не может, а среды, способной внушить ее правителям, у нас нет. Более того, для той среды, чьи интересы менее всего совместимы с господством тоталитарного начала (т. н. «демократической интеллигенции»), консервативная идея, как противоречащая «прогрессивному развитию», непопулярна до такой степени, что в свое время даже принятие трехцветного российского государственного флага трактовалось как угроза возвращения «православия, самодержавия, народности». Похоже, что очень немногие представители этой среды догадываются, что в реальной жизни вопрос будет стоять не о выборе между «прогрессизмом» и патриотизмом, а о выборе между патриотизмом «цивилизованным» и «красно-коричневым».

В настоящее время разделение взглядов по политическим вопросам имеет в основе своей ориентацию на три основных более или менее общеизвестных типа государственности и культуры: старую Россию, Совдепию и современный Запад, каждый из которых обладает набором черт, отличающих его от остальных. Под «старой Россией» имеется в виду

та Россия, которая реально существовала до переворотов 1917 года (с экономической свободой, но с авторитарно-самодержавным строем), под «Западом» — сочетание экономической свободы с «формальной демократией». Под «Совдепией» имеется в виду советский режим (пусть даже самого мягкого образца, допустим, 70-х годов) со всем тем, что было для него типично во все периоды и нетипично ни для Запада, ни для старой России, то есть, собственно, тоталитарный режим, основанный на коммунистической идеологии, не допускающий ни политической, ни экономической свободы и частной собственности.

К комбинациям этих трех образцов в разном порядке по предпочтению и сводятся, по большому счету, все возможные разновидности политических взглядов. Основных позиций существует, таким образом, шесть, среди которых две, условно говоря, «коммунистические» (ставящие на первое место Совдепию), две «либеральные» (предпочитающие Запад) и две «патриотические» (отдающие предпочтение старой России).

1) Предпочтительна Совдепия — неприемлем Запад. Типичный национал-большевизм или коммунизм сталинского типа. Такова советская идеология начиная с середины 30-х годов (особенно с 1943), с большими или меньшими изменениями просуществовавшая до 80-х. Сюда же относятся взгляды подавляющего большинства современных коммунистов КПРФ, Аграрной партии, а также наиболее красной части национал-большевиков типа Проханова, Антонова, Кургиняна, Володина (хотя некоторые из них в современных условиях предпочитают это скрывать и выглядеть более националистами).

2) Предпочтительна Совдепия — неприемлема старая Россия. «Досталинский» коммунизм и его предполагаемые модификации «с человеческим лицом». Такова идеология «детей Арбата» и всей горбачевской перестройки, а позже тех, кто был готов сомкнуться с коммунистами против пытавшего эволюционировать к «державности» ельцинского режима и Жириновского (наиболее полно представлена в «Общей газете» и отчасти в «Московских Новостях»).

3) Предпочтителен Запад — неприемлема Совдепия. Старый либерализм «кадетского» толка. Этот взгляд сейчас практически не представлен, хотя очень многие претендуют именно на эту политическую нишу, и в первую очередь Гайдар со своими сторонниками (взявшие эмблемой партии Петра I, но также готовые союзничать с красными против «российского империализма»). Наиболее адекватно его представлял, возможно, Б. Федоров со своим движением «Вперед, Россия!».

4) Предпочтителен Запад — неприемлема старая Россия. Новый

советско-диссидентский либерализм. Такова реальная идеология большинства современных демократов, хотя многие из них хотели бы казаться относящимися к предыдущей категории.

5) Предпочтительна старая Россия — неприемлем Запад. Новый русский национализм. Это идеология всех нынешних национальных организаций (РНЕ, НРПР, «русских партий» и др.), а также менее красной части национал-большевистского спектра (Стерлигов, Руцкой, часть авторов «Нашего современника» и «Литературной России»).

6) Предпочтительна старая Россия — неприемлема Совдепия. Старый российский патриотизм. В настоящее время на политической сцене не представлен. Этой ориентации придерживается ряд организаций, считающих себя продолжателями Белого движения, но политической деятельности не ведущих.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на практике разделение идет в зависимости не от того, какой образец ставится на первое место, а от того, какой ставится на последнее («абсолютное зло»), предмет наибольшей ненависти оказывается более значим, чем предмет наибольшего предпочтения. Хотя по идее, формально более близки друг другу две «коммунистические», две «либеральные» и две «патриотические» точки зрения, в реальной политике люди к конечном счете спланиваются по общности «негативного идеала» (который, кстати, как и все «чужое», психологически воспринимается более однородным, чем идеал позитивный, в который каждый склонен вносить собственные «детали»). Нетрудно заметить, что обе точки зрения, для которых главным злом является Запад, принадлежат современному «патриотическому движению», или, как его обычно называют в демократической прессе, «красно-коричневому» — политически единому в борьбе с нынешним режимом, хотя, казалось бы, несовместимыми идейно. Современный демократизм (для которого старая Россия по предпочтительности стоит на последнем месте) выросший из диссидентства, в свою очередь, тесно связан с идеологией уничтоженного Сталиным «истинного марксизма». Обе же точки зрения, считающие наибольшим злом советский режим, принадлежат людям, составившим некогда Белое движение, но его различным крыльям: лево-либеральному (в том числе эсеро-меньшевистскому) и правому (в значительной мере монархическому), идейно далекими, но политически бывшими едиными в борьбе с большевиками.

Собственно, Белое движение и воплощало старый российский патриотизм во всех его оттенках, и отношение к нему современных

идеологов разных лагерей чрезвычайно показательны. Насколько далеко находимся мы от «просвещенного консерватизма» можно судить хотя бы по отношению к наследию И. Ильина. На него любят ссылаться многие, одним нравится одно, другим — другое, но всё вместе — никому. Тут уместно напомнить, что именно взгляды Ильина наиболее адекватно выражают идеологию Белого Дела,^[45] в отношении к которому сказывается идейная суть современных властителей дум. Для людей, считающих созданный «Великим Октябрем» коммунистический режим вредоносным для страны, немислимо ставить на одну доску тех, кто его утверждал и тех, кто против него боролся, как это у нас сейчас практикуется. Белое движение было представлено, в отличие от красного монолита, предельно широким спектром — от эсеров до монархистов, но между «белым» и «красным» уже не может быть ничего «среднего» — это та граница, за которой — безусловное признание правоты большевистского переворота. Поэтому тот на первый взгляд странный факт, что, несмотря на то, что все «демократы» тех времен, все кумиры нынешней «либеральной» интеллигенции все до одного были «белыми», Белое движение не удостоилось у нее доброго слова, пожалуй, наиболее убедительным образом свидетельствует об истинном цвете ее убеждений.

Нельзя не коснуться здесь той ненависти, которой пользуется в известных кругах само слово «империя», часто используемое для обозначения начала, полярно противоположного демократическому. Между тем, если допустить, что «европейской демократии» хотя бы двести лет от роду, очевидно, что свыше 80 % ее истории прошло при имперском строе. В противном случае (коль скоро до 60-х годов нашего века территорию половины мира составляли империи европейских держав), следовало бы считать, что «настоящая» демократия существует всего лет 30–40. Когда же имеется в виду империя Российская, то опасение сказать о ней доброе слово, или даже быть в этом заподозренным, стало в известных кругах столь обязательным, что если вдруг по какой-либо причине у кого-то и возникает в этом необходимость, то это делается с таким количеством оглядок и оговорок, что, право же, не оправдывает затраченных усилий.^[46]

Крайне враждебное отношение к Российской империи большевиков (со всем набором соответствующих пропагандистских измышлений) было унаследовано и современным либерально-интеллигентским сознанием с той только разницей, что одной из центральных идей комплекса демократических представлений стало отождествление старой России с Совдепией. Более того, доминируют еще и опасения, чтобы в результате

подъема патриотических настроений она не вернулась на смену последней как еще большее зло. Подобного рода опасения, впрочем, столь же беспочвенны, сколь и неразумны, поскольку (к несчастью для тех, кто их высказывает) современный патриотизм имеет мало общего со старым.

Тот, старый, патриотизм предполагал, во всяком случае, некоторые вещи, совершенно необязательные для патриотизма нынешнего. Во-первых, безусловную приверженность территориальной целостности страны. И «западники», и «славянофилы», и либеральные, и консервативные русские дореволюционные деятели и люди, составлявшие цвет отечественной культуры — от Державина до Бунина были «империалистами», для которых осознание своего отечества как многонационального, но единого государства, было чем-то совершенно естественным. Равно как и вся русская эмиграция от Керенского до крайних монархистов если в чем и была едина (собственно, больше ни в чем, даже в отношении к советскому режиму было больше различий), так именно в этом. Даже по польскому вопросу, стоявшему совершенно особняком (это было единственное присоединенное национальное государство) большинство сходилось (весьма характерно здесь, например, единство Пушкина с Чаадаевым, совершенно по-разному оценивавших российскую историю); кстати, этот вопрос был решен еще до революции самой государственной властью — после Первой мировой войны Польша должна была получить независимость.

Во-вторых, непосредственно связанное с этой приверженностью отсутствие национализма в том понимании, которое общепринято в настоящее время; он никогда не носил в России «племенного» характера, а только «государственный». По иному и быть не могло, ибо, по справедливому замечанию Бердяева, «национализм и империализм совершенно разные идеологии и разные устремления воли. Империализм должен признавать многообразие, должен быть терпимым и гибким». Нынешний же патриотизм представлен почти исключительно «новым русским национализмом» либо национал-большевизмом. «Имперские» взгляды выражаются лишь в виде восстановления СССР, причем если они и примешиваются к идеологии «национал-патриотов», то только в той мере, в какой их взглядам вообще свойственна привязанность к советчине (но стремление коммунистов восстановить СССР не имеет отношения к российскому патриотизму, поскольку по сути своей есть лишь шаг к торжеству дела коммунизма во всем мире, вне чего коммунистическая идея бессмысленна).

Если в конце 80-х годов слово «патриот» было практически бранным

(почти как в 20-х), то после 1991 г. все чаще стали говорить о необходимости «цивилизованного патриотизма» (собственно, «просвещенный консерватизм» и есть нечто подобное) — одни, сокрушаясь об отсутствии такового, другие — признавая его существование, но лишь в качестве некоторой абстракции, без привязки к конкретным политическим деятелям. Хотя никаких конкретных критериев «цивилизованного патриотизма» не называлось, логично предположить, что он должен был быть, во-первых, все-таки патриотизмом (то есть, чтобы историческая Россия не оказалась для его представителей наибольшим злом), а во-вторых, цивилизованным — чтобы наибольшим предпочтением не пользовался тоталитарный режим (то есть Совдепия). Этим условиям отвечает половина из приведенных выше шести точек зрения: третья, пятая и шестая; поскольку же большинство «согласавшихся» на «цивилизованный патриотизм» отказалось бы считать таковым и ярое «антизападничество», то отпадает и пятая, и остаются только позиции, характерные главным образом для «досоветских» людей, понимающих патриотизм так, как он при всех различиях понимался большей частью старого русского общества.

Этот факт и объяснит нам, почему в современной политике «цивилизованного патриотизма» так пока и не обнаружено. Люди не те. Невозможно представить совместимость белых эмигрантов (см. заявление «Белая эмиграция против национал-большевизма», появившееся в конце 1994 г.)^[47] с кем-либо из нынешних наших политиков. А вот совместимость друг с другом последних очень велика. Как это не покажется странным, но практически все они при известных обстоятельствах могут быть совместимы друг с другом, что уже не раз демонстрировали. Если не прямо — так через друг друга (допустим, Б. Федоров не может сотрудничать с Зюгановым, но может с Явлинским, с коим вполне, как не раз заявлялось, может сотрудничать Зюганов; Явлинский — не может с Жириновским, но с последним может Зюганов). Причем коммунисты как наиболее чистое воплощение советчины, выступают закономерно и как общепримирующий фактор. Между советским демократом и советским коммунистом нет настоящего антагонизма. Это люди одной культуры, хотя и разных ее разновидностей.

Двух поколений, выросших при советской власти, оказалось более чем достаточно, чтобы представление о России было полностью утрачено. На фоне общего недоброжелательства даже те, кто искренне симпатизирует старой России, очень плохо представляет себе ее реалии. В сознании таких людей господствует мифологизированное представление о

дореволюционной России, причем когда при более близком знакомстве с предметом обнаруживается явное несовпадение реальности с мифом, то реальность отвергается и мифологический идеал ищется в более ранних эпохах — в средневековье (т. е. периоде, о реалиях которого существуют еще более смутные представления), которые, однако, при еще меньшем объеме информации об этом периоде, позволяют более уютно разместить дорогой сердцу миф.

Подобное умонастроение подогревается мощным потоком коммунистической поддержки. Коммунисты, которым реально-историческая Россия (которую они непосредственно угробили и на противопоставлении которой их режим неизменно существовал), охотно хватаются за мифическую Россию (в качестве таковой выступает допетровская, благо про нее за отдаленностью можно говорить все, что угодно), которая якобы отвечала их идеалам, и выступают как бы продолжателями ее, т. е. настоящими русскими людьми с настоящей русской идеологией. Их проповедь тем более успешна, что среднему советскому человеку с исковерканным ими же сознанием реальная старая Россия действительно чужда. Причина вполне очевидна: революция, положившая конец российской государственности, отличалась от большинства известных тем, что полностью уничтожила (истребив или изгнав) российскую культурно-государственную элиту — носительницу ее духа и традиций и заменив ее антиэлитой в виде слоя советских образованцев с небольшой примесью в виде отрেকшихся от России, приспособившихся и добровольно и полностью осоветившихся представителей старого образованного слоя. Из среды этой уже чисто советской общности и вышли теоретики и «философы истории» нашего времени всех направлений — как конформисты, так и диссиденты, как приверженцы советского строя, так и борцы против него, нынешние коммунисты, демократы и патриоты.

Эмиграция, в среде которой единственно сохранилась подлинная российская традиция, к этому времени перестала представлять сколько-нибудь сплоченную идейно-политическую силу и подверглась столь сильной эрозии (вследствие естественного вымирания, дерусификации последующих поколений и влияния последующих, уже советских волн эмиграции), что носители этой традиции и среди нее оказались в меньшинстве. Нельзя сказать, что в России совершенно нет людей, исповедующих симпатии к подлинной дореволюционной России — такой, какой она на самом деле была, со всеми ее реалиями, но это именно отдельные люди (обычно генетически связанные с носителями прежней

традиции) и единичные организации, не представляющие общественно-политического течения. Поэтому при разложении советско-коммунистического режима, когда появилась возможность свободного выражения общественно-политической позиции, мы увидели какие угодно течения, кроме того, которое было характерно для исторической России. Вот почему современный патриотизм — это либо национал-большевизм (ведущий начало от «сталинского ампира»), либо «новый русский национализм».

В условиях утраты традиции старого патриотизма, в современной системе представлений под «цивилизованным» фактически пришлось понимать патриотизм, так сказать, «умеренный» — как бы не такой «страшный», как у пресловутой «Памяти», которой во второй половине 80-х годов пугали друг друга демократические публицисты. Претенденты на эту политическую нишу время от времени объявлялись, причем из наиболее заметных первым был Жириновский, назвавшийся не как-нибудь, а «либеральным демократом» и сумевший занять соответствующую идеологическую нишу сразу же после отмены статьи о руководящей роли КПСС. Поскольку «цивилизованным» считался такой патриот, который был бы одновременно и «демократом», а среди последних патриотизм тогда был совсем не в моде, то он сразу привлек к себе внимание и успел получить достаточно респектабельную известность до того, как раскрылся во всей своей красе (в противном случае его ожидала бы участь «Памяти»). Затем в этом качестве пытались выступать «сверху» А. Руцкой, а «снизу» — деятели типа Аксючица, Астафьева и др., которые, с одной стороны, были демократами «в законе» (один — как второе лицо установившегося демократического режима, а другие — как выходцы из «Демократической России» — основного политического воплощения демократии в то время), а с другой — заявили после августа 1991 г. о своих патриотических устремлениях. Они естественно тяготели друг к другу (в начале 1992 г., когда было образовано Российское Народное Собрание, Руцкой примеривался на роль его неформального лидера и покровителя), но и кончили одинаково: руководители РНС через пару месяцев бросились в объятия Зюганова, организовав «объединенную оппозицию», а Руцкой под красным флагом возглавил сопротивление Верховного Совета.

Но в любом случае и эти поползновения на «цивилизованность» не были преобладающим типом патриотизма. Будет ли иметь успех тенденция, представленная Б. Федоровым (успехи которого оказались более чем скромны), или найдутся ли во властных структурах люди, желающие всерьез примерить на себя мундиры дореволюционной России, еще

совершенно неизвестно. В значительном числе такие могут обнаружиться разве что в новом поколении, не связанном с советским истеблишментом, тогда как окончательная консолидация режима и оформление его идеологии должны произойти не позднее середины следующего десятилетия. Поэтому пока что более оправданным будет исходить из того, что перспективы возрождения такого патриотизма, как в старой России, весьма сомнительны.

Но, не будучи империалистической, Россия может быть только националистической, а будучи националистической, демократической она уж никак не будет. Достаточно взглянуть, какими силами реально представлена национальная идея. В объективных же предпосылках перспектив этой идеи сомневаться тем более не приходится. Одно из самых смешных проявлений страусиной манеры демократического интеллигента прятать голову в песок — повторяемые как ритуальные заклинания и непонятно, на кого рассчитанные, сентенции о «многонациональности» и «многоконфессиональности» России. Старая Россия (в своих исторических границах), которую они признавать не желают, такой, положим, была, но нынешняя «Российская Федерация» — самое мононациональное из всех «государств бывшего СССР» (кроме, разве что, Армении). Собственно, многонациональна и многоконфессиональна любая страна, но при более, чем 80 % национально-однородного населения особо уповать на это обстоятельство не стоит (Казахстан является «государством казахской нации» при 40 % ее в населении). Если же, как многие настаивают, «отпустить» наиболее беспокойные «суверенитеты» и переселить в пределы РФ хотя бы часть «соотечественников», то и подавно. Коль скоро новообразованные прибалтийские государства представляют собой этнократические диктатуры при 50–70 % «титульного» населения и пресловутой «европейской цивилизованности», то что, в принципе, мешает таковой быть России? Кстати, национал-патриотическая концепция примата интересов русского народа вполне допускает систему, при которой Россия будет окружена зависимыми от себя и служащими ее интересам территориями, жители которых не будут допускаться в Россию полноправными гражданами (как то пришлось бы делать при сохранении территориального единства исторической России, и против чего как раз и протестует национал-патриотическое сознание).

Едва ли можно сомневаться, что попытка политически «пристегнуть» Россию к «Западу» не удалась. Победа откровенно прозападного лидера из наших «настоящих» демократов практически невозможна, а любая другая власть в России, независимо от степени «рыночности», симпатий к

западной культуре и личных отношений с западными лидерами, даже та, что придет с их благословения, неизбежно будет эволюционировать к «державной» политике. Она может быть «западнической», но не прозападной (какой, впрочем, и была при российских императорах). Но скорее всего она будет «антизападнической». Когда Россия окрепнет, «Западу» все равно рано или поздно придется выбирать между коммунистической Россией, стремящейся распространить свою экспансию по всему миру и Россией традиционной, вполне довольствующейся историческими границами и на переделку всего мира (в т. ч. и США) по своему образу и подобию не претендующую. Но это его проблемы.

Для внутренней же ситуации в стране существенно то, что, как уже говорилось выше, доминантой нынешней патриотической мысли является антизападничество именно в смысле отталкивания от европейской цивилизации как таковой, взгляд на «Запад» как на «онтологического» противника. И не видно, что бы могло помешать этому антизападничеству торжествовать в более или менее «красной» форме. Радетели «искоренения имперского сознания» могли быть довольны. Если бы не одно обстоятельство: в то время, как угрожающий желаемой ими однополярной картине мира российский империализм получил, возможно, смертельный удар, освобожденный от этого сознания, но смертельный для них самих русский национализм, расправил крылья и начал свое победное шествие. Приходится констатировать, что наибольшие шансы победить имеют ныне типы патриотизма, чуждые традициям исторической России. Рассмотрим их несколько подробнее.

«Новый русский национализм», о котором шла речь выше, при том, что его представители в большинстве случаев подчеркивают свои симпатии к старой России (и даже причисляются склонной валить в одну кучу всех своих неприятелей демократической интеллигенцией и неискушенным общественным сознанием к «реставраторам империи»), не имеет корней в ее культурно-государственной традиции и на деле подвергает остракизму основные принципы, на которых строилась реально-историческая России — Российская Империя. Творчество и деятельность представителей этого направления — от Баркашова до Солженицына олицетворяет и выражает реакцию на ту дискриминационную политику, которая проводилась в Совдепии по отношению к великорусскому населению и довела его до нынешнего печального положения. То есть это национализм такого рода, какой свойствен малым угнетенным или притесняемым нациям и руководствуется (сознательно или бессознательно) идеей не национального величия, а национального выживания. (В известной мере это явление имеет

свое оправдание, однако же печальные обстоятельства современного бытия русского народа могут служить оправданием самого факта возникновения этого течения, но отнюдь не его убожества и унизости для великой нации как такового.)

Этот национализм имеет ярко выраженный этнический характер и озабочен интересами не российского государства, а «русских людей». В наиболее радикальной форме это противопоставление нашло выражение в лозунге «Националисты против патриотов!»^[48] Патриоты в данном случае характеризуются как абстрактные «державники» и обвиняются в том, что им государство Россия настолько важнее интересов «русского человека», что они готовы допустить, чтобы русскими командовали нерусские (для части представителей этого направления характерно поэтому даже некоторое предубеждение против государственности вообще, как бы «национал-анархизм»). Естественно, что в этой среде основным объектом нападок являются реально-историческая дореволюционная Россия (та, что существовала к 1917 году) и особенно фигура Петра Великого (которым она в основном была создана), а наличие среди российской элиты множества носителей немецких, польских или татарских фамилий служит излюбленным аргументом для иллюстрации угнетения русского народа в имперский период инородцами.

Подобного рода патриотам (несмотря на их приверженность идее национального мессианства) не приходит в голову, что выдающимся достижением была как раз реально-историческая Россия. За все время существования российской государственности только в имперский («Петербургский») период — Россия была чем-то значимым в общечеловеческой истории и имела возможность вершить судьбы мира. (СССР, игравший в мире не меньшую роль, будучи образованием принципиально антироссийским, созданным для достижения внегосударственной мировой утопии, не имел никакого отношения к российской государственности.) Если Греция прославила себя своей античной цивилизацией, Италия — Римской империей, если временем наибольшего общемирового значения Испании был XVI век, Швеции — XVII, Франции — XVII–XVIII, Англии — XVIII–XIX, то венцом развития отечественной культуры и государственности стала Российская Империя XVIII — начала XX вв. Именно эта Россия была таким же значимым явлением мировой истории, как эллинизм, Рим, Византия, империи Карла Великого и Габсбургов в средние века, Британская империя в новое время.

Советское образование, соединенное с наивным мифологизаторством славянофилов XIX в. привело к распространению представлений о том, что

Россия рухнула едва ли не потому, что «слишком расширилась», европеизировалась, полезла в европейские дела вместо того, чтобы, «сосредоточившись» в себе, пестовать некоторую «русскость». Курьезным образом в этих воззрениях в качестве недостатков называются как раз те моменты, которые обеспечили величие страны. Характерно, что подобные взгляды особенно развились в последнее десятилетие, когда российская государственность оказалась отброшена в границы Московской Руси и представляют (часто неосознанные) попытки задним числом оправдать это противоестественное положение и «обосновать», что это не так уж и плохо, что так оно и надо: Россия-де, «избавившись от имперского бремени», снова имеет шанс стать собственно Россией, культивировать свою русскость и т. п. Соответственно, допетровская Россия, находившаяся на обочине европейской политики и сосредоточенная «на себе», представляется тем идеалом, к которому стоит вернуться.

Разумеется, у приверженцев этого подхода концы с концами не сходятся. Во-первых, уже Московская Русь не была чисто русским государством, более того — если куда и расширялась — так именно на Юг и Восток, населенные культурно и этнически чуждым населением, в присоединении которого обычно обвиняется империя Петербургского периода, тогда как приобретенные последней в XVIII в. территории — это как раз исконные русские земли Киевской Руси. Во-вторых, присоединить их, т. е. выполнить задачу «собрать русских» было немыслимо без участия в европейской политике, поскольку эти земли предстояло отобрать у европейских стран. Да Россия и до Петра пыталась участвовать в европейской политике, только в Московский период такое участие было безуспешным, а в Петербургский — принесло ей огромные территории. В-третьих, петровское «европеизирование» являлось по большому счету только возвращением в Европу, откуда Русь была исторгнута татарским нашествием. Киевская Русь — великая европейская держава, временно превратилась в Московский период в полуазиатскую окраину Европы, и это-то противоестественное положение и было исправлено в Петербургский период. Но поскольку именно «европейскость» России не устраивает современных «этнократов», корень зла видится им в реформах начала XVIII в.

Именно на почве отвержения реально-исторической России (европейской и «капиталистической») и апелляции к допетровским временам национализм этого рода отчасти созвучен «патриотическим» изысканиям современных коммунистов, представляющими в обобщенном виде явление, известное как «национал-большевизм». Как писал один из

органов отечественного фашизма (находящегося как раз на стыке между «новым русским национализмом» и национал-большевизмом): «Давайте посмотрим, где больше консервативной правды и русскости — в России образца пресловутого 1913 года, или в сталинской империи конца 40-х, повернувшейся к Православию, а в тайне, в сталинском сердце, и к Самодержавию?»^[49] Идеологи «нового русского коммунизма», со своей стороны, позволяют примкнуть к себе и «новому русскому национальному традиционализму» (при условии отказа последнего от антикоммунизма, антисоветизма, нетерпимости по отношению к атеистам, от идеализации монархии и столыпинских реформ).^[50]

На постулатах национал-большевизма, которые удалось внедрить в общественное сознание, и базируется, в сущности, современное восприятие компартии, обеспечивающее ей заметную популярность. Постулаты эти сводятся к тому, что: 1) коммунизм есть органичное для России учение, 2) коммунисты всегда были (или, по крайней мере, стали) носителями патриотизма и выразителями национальных интересов страны, 3) ныне они — «другие», «перевоспитавшиеся», — возглавляют и объединяют «все патриотические силы» — и «белых», и «красных» (разница между которыми потеряла смысл) в противостоянии с «антироссийскими силами», 4) только на основе идеологии «единства советской и досоветской традиции» и под водительством «патриотического» руководства КПРФ возможна реинтеграция страны и возрождение ее величия.

Национал-большевизм, протаскивающий советско-коммунистическую суть в национально-патриотической упаковке, имеет гораздо большие шансы быть воспринятым неискушенными в идейно-политических вопросах людьми, чем откровенно красная проповедь ортодоксов, и представляет на сегодняшний день пока более перспективный тип национализма, чем «новый русский национализм», с которым он в отдельных аспектах схож. Родоначальником национал-большевизма является, конечно, Сталин — такой, каким он становился с конца 30-х годов и окончательно заявил себя в 1943–1953 гг. Режим этого периода был первым реально-историческим образчиком национал-большевистского режима. В дальнейшем национал-большевистское начало присутствовало как одна из тенденций в среде советского руководства. После Сталина патриотическая составляющая была выражена слабее, у нынешних национал-большевиков она представлена значительно сильнее, но все равно речь идет лишь о степени, о градусе «патриотизма» одного и того же

в принципе режима.

В рассуждениях об «органичности» для России коммунизма и социализма существуют два подхода. В первом случае теория и практика советского коммунизма подаются (благодаря практически всеобщей неосведомленности в исторических реалиях) как продолжение или возрождение традиций «русской общинности и соборности», преданных забвению за XVIII–XIX вв., т. е. сам коммунизм выступает как учение глубоко русское, но, к сожалению, извращенное и использованное «жидами и масонами» в своих интересах. Во втором — «изначальный» коммунизм признается учением чуждым и по замыслу антироссийским, которое, однако, «пережитое» Россией и внутренне ею переработанное, ныне превратилось в истинно русское учение, — т. е. в этом случае «извращение» приписывается прямо противоположным силам и носит положительный характер. Но в любом случае ныне именно коммунизм объявляется «русской идеологией». Такое понимание роли коммунизма в российской истории логически требует объявления носителем его (до появления компартии) православной церкви, а очевидное противоречие, заключающееся в хорошо известном отношении к последней советского режима, списывается на «ошибки», совершенные благодаря проискам враждебных сил (а ликвидация патриаршества и секуляризация церковных земель в XVIII в. — как закономерное деяние «враждебного всему русскому» петербургского режима). Поскольку же к настоящему времени ошибки преодолены, а происки разоблачены, ничто не мешает православным быть коммунистами, а коммунистам — православными. Вследствие чего противоестественное словосочетание «православный коммунист» стало вполне привычным.

Центральное место в этой идеологии занимает «державность». Естественно, с замалчиванием того обстоятельства, что советско-коммунистическая «державность» начисто исключает российскую. Пока была Россия, не могло быть Совдепии, и пока остается Совдепия, не может быть России. Какие бы изменения ни претерпевала российская государственность за многие столетия (менялась ее территория, столицы, династии) никогда не прерывалась преемственность в ее развитии. Распространенные ныне попытки представить большевистский переворот явлением такого же порядка, что перевороты Елизаветы или Екатерины Великой, реформы Петра I или Александра II совершенно смехотворны: при всех различиях в образе правления и системе государственных институтов всякая последующая государственная власть и считала себя и являлась на деле прямой продолжательницей и наследницей предыдущей.

Линия эта прервалась только в 1917 году, когда новая власть полностью порвала со всей предшествующей традицией. Более того, отрицание российской государственности как таковой было краеугольным камнем всей идеологии и политики этой власти. Причем, советская власть это всегда подчеркивала, так что ее нынешние апологеты выглядят довольно смешно, пытаясь увязать досоветское наследие с советским. Последние годы, когда советская система все больше стала обнаруживать свою несостоятельность, ее сторонники пытаются «примазаться» к уничтоженной их предшественниками исторической российской государственности и утверждать, что Советская Россия — это, якобы, тоже Россия, только под красным флагом (а концом традиционной России, «органической частью которой был советский опыт», стал... август 1991 года).

Суть дела, однако заключается в том, что Совдепия — это не только не Россия, но Анти-Россия. Советский режим был всегда последовательно антироссийским, хотя по временам, когда ему приходилось туго, и бывал вынужден камуфлироваться под продолжателя российских традиций. Очередную подобную попытку мы наблюдаем и в настоящее время. Речь идет о готовности присовокупить к советским «ценностям» большую или меньшую часть дореволюционного наследия. Величина этой части находится в прямой зависимости от политической конъюнктуры. Когда их власть была крепка, коммунисты вполне обходились «советским патриотизмом» (в тяжелые годы присовокупив к нему имена нескольких русских полководцев и мародерски присвоенные погоны). Это когда они потеряли власть, задним числом родилась и стала усиленно распространяться идея, что КПСС подвергалась нападкам якобы потому, что «обрусела» и с 70-х годов стала выражать интересы русского народа, превратившись чуть ли не в партию русских патриотов.

Поскольку существование иного патриотизма, чем их собственный, представляет для идеологов национал-большевизма смертельную опасность, они стремятся представить дело таким образом, что объединяют «белых и красных», «от социалистов до монархистов» (либо, что никаких белых и красных не было и нет, во всяком случае, — в настоящее время, а есть только русские люди, которых искусственно разделяли и разделяют враги). Понятно, однако, что никакого примирения белых и красных не может быть уже потому, что абсолютно отсутствует почва для компромиссов. Размежевание красных и белых проходит по линии отношения к советскому режиму и всему комплексу советского наследия. Учитывая взаимоисключаемость России и Совдепии, всякий политический

режим может быть в реальности наследником и продолжателем лишь чего-то одного из них. Подобно тому, как невозможно иметь двух отцов, происхождение от одной государственности исключает происхождение от другой. Если исходить из продолжения исторической российской государственности, то ее разрушители — создатели государственности советской — являются преступниками, и все их установления, законы и учреждения полностью преступны, незаконны и подлежат безусловному уничтожению. Если же встать на точку зрения, хотя бы в какой-то мере принимающую или оправдывающую большевистский переворот и признающую легитимность советского режима, то не может быть речи о правопреемственности дореволюционной России, которую этот переворот уничтожил и, уничтожив которую, этот режим только и мог существовать.

Существует и «коммунистический монархизм», претендующий быть судьей между белыми и красными — как будто сам он — не одна из сторон, а нечто потустороннее, высшее по отношению к ним. Идея такой — своей, «красной монархии» наполняет знаменитую триаду «православие, самодержавие, народность» советским содержанием. С православием «красные монархисты» вполне согласны мириться, даже оставаясь большевиками, коль скоро оно призвано придавать их будущему режиму респектабельность (опять же в точном соответствии со сталинской практикой). Самодержавие они понимают и толкуют как тоталитарную диктатуру, а народность — как социализм со всеми прелестями пресловутого «коллективизма», воплощенного в колхозном строе. Земский Собор в национал-большевистской интерпретации представляется в том духе, что съезжаются какие-нибудь председатели колхозов, советов, «красные директора», «сознательные пролетарии» и т. п. и избирают царем Зюганова.

Парадоксальным образом национал-большевизм находит выражение в идеологии не только современных коммунистов, но и формально противостоящего им нынешнего режима, который, с одной стороны, объективно остается советским, а с другой — испытывает потребность опереться на российскую традицию. В последнее время власти явно проигрывают в этом своему сопернику — национал-большевистской оппозиции, но обе стороны в равной мере постулируют тезис о «единстве нашего исторического наследия», т. е. о советском режиме, как законном наследнике и продолжателе исторической России (именно этот взгляд был в свое время зафиксирован в пресловутом «Договоре о гражданском согласии»). Вот почему существует опаснейшая перспектива все более полной реставрации советчины руками нынешних властей.

Надо полностью отдавать себе отчет в том, что в принципе советско-коммунистический режим в России продолжал и продолжает существовать. Не потому только, что власть в стране по-прежнему находится в руках той же самой коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что остаются незыблемыми его юридические и идеологические основы, то есть как раз все то, что было бы уничтожено прежде всего в случае победы Белого движения в гражданской войне. Поступившись частично экономическими принципами и отодвинув в тень наиболее одиозные идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идеологическую и юридическую преемственность от большевистского переворота, отмечая его как государственный праздник, и ведя свою родословную не от исторической России, а от созданного Лениным Советского государства. Нынешняя власть даже официально является продолжением власти не уничтоженной, а созданной Октябрем. Никакой революции (вернее, контрреволюции) ни в 1991, ни в 1993 году не произошло, и не похоже, чтобы кто-то был в ней заинтересован.

Быстрые перемены последних лет были, конечно, очень значительны и оказались способны для большинства населения, привыкшего до того к десятилетиям почти неизменного «застоя» совершенно затемнить представление о сущности нынешней власти. Сама эта власть, в свою очередь, не жалеет усилий представить себя как что-то действительно совершенно новое, и в этом ей немало способствует несколько оттертая от привычной кормушки красная оппозиция, настойчиво пропагандируя тезис о том, что к власти пришли какие-то «буржуи», «февралисты» и т. д. Трагедия, между тем, заключается как раз в том, что никакие «буржуи», вообще никакие новые люди к власти в России не пришли.

Лучшим доказательством этого являются, конечно, учебники истории, которые и по концепции, и по структуре, и по отношению к старой России представляют собой слегка подправленные советские учебники, начиная с привычной марксистской трактовки истории как классовой борьбы и кончая ленинскими постулатами о «стадиях капитализма», «признаках империализма», «этапах освободительной борьбы в России» и т. п. Борьба против исторической российской государственности и ее уничтожение большевиками одобряются, события трактуются вполне «антибуржуазно» — Февральская революция выступает как проявление «кризиса буржуазной цивилизации», тогда как Октябрьская мотивируется «возвышенными идеалами и самыми чистыми побуждениями» (что никак не вяжется с обвинениями нынешних властей в пропаганде капиталистических ценностей), защитники советской власти восхваляются, ее противники

осуждаются. То есть, едва ли нуждается в особых доказательствах тот очевидный факт, что для нынешней власти красные являются «своими», а белые — врагами. «Большевизм победил, сохранив государственность и суверенитет России» (так резюмируются итоги гражданской войны) — это цитата не из «Советской России» или «Завтра», а из официального пособия для поступающих в вузы. Власти, похоже, не очень задумываются над тем, что они при этом играют на поле, подлинными и законными хозяевами которого являются откровенные коммунисты, и возвращение последних воспринимается психологически естественным, коль скоро те более соответствуют «общепринятой» трактовке истории.

В последние десятилетия реальной и последовательной оппозиции всей системе большевизма в стране не было и в интеллигентской среде. Более того, после формальной отмены власти КПСС, выражать такую позицию стало «неприлично». Почему-то надо было опять непременно находить какие-то достоинства в наследии Октября и выбирать между различными воплощениями одного и того же порочного строя. В общественное сознание был внедрен взгляд, согласно которому люди, пытающиеся преодолеть большевистское наследие, являются... такими же большевиками (точно так же можно ставить знак равенства между стреляющими друг в друга полицейским и бандитом). Термин «большевизм» как-то незаметно лишился своей конкретной идейно-политической сути, стал трактоваться как синоним вообще всякой нетерпимости, экстремизма, насильственности, превратился в ярлык, который стал с успехом использоваться как раз против врагов реально-исторического большевизма. Того же происхождения замечательная логика, согласно которой, если нельзя вернуть разрушенного, то надо хотя бы оставить памятники разрушителям.

Метод стирания различия между добром и злом, правдой и ложью в условиях дискредитации и деформации коммунистического режима стал подлинной находкой для сторонников сохранения советского наследия. Прославлять красных стало немодно, да и неловко — все-таки очевидно, что они воевали за установление того режима, все преступления которого сделались, наконец, широко известны, и за тот общественный строй, который не менее очевидно обанкротился, и носителями «светлого будущего всего человечества» объективно не были. Получается, что они были, мягко говоря, «неправы» и сражались за неправо дело. Но нельзя же было допустить естественного вывода, что тогда, значит, за правое дело сражались белые. Выход был найден: неправы были и те, и другие (либо, наоборот, своя правда стояла и за теми, и за другими).

Регулярно читая демократическую периодику, нетрудно заметить, что сталкиваясь с проблемой избежания «красно-коричневой» напасти, ее авторы хотели бы видеть ее возможно более «красной» и менее «коричневой». Зюганов, например, оказывается плох не потому, что коммунист (это-то еще ничего), а потому, что любит цитировать И. Ильина и распространяться о православии. В ходе прошлой предвыборной кампании доходило до смешного: иные демократы гневно обличали Зюганова за отход от идей марксизма-ленинизма и призывали коммунистов к бдительности в отношении своего лидера. Самое забавное, что такого рода люди (чрезвычайно почитающие Ленина как великого борца с «великорусским шовинизмом») были вполне искренни, всерьез полагая, что «сделают хуже» Зюганову, тогда как этот-то «отход» только и поддерживает на плаву КПРФ. С антикоммунистической точки зрения Зюганов, положим, тоже плох именно этим, но по другой причине — маскируя свой нераскаянный ленинизм в подобную упаковку, он более опасен.

Что поделать, коммунисты оказались способны кое-чему учиться на уроках истории, осознав, что их любимая идея никогда уже не победит в интернациональной упаковке, а только в «национальной», в форме национал-большевизма, и им, как Зюганову, ничего не стоит быть одновременно и «социал-демократом» и «национал-патриотом». Это демократические «двоечники» все ведут разговоры о «левой перспективе», возлагая надежды на социал-демократию в надежде найти таких левых, которые не прикончили бы их как «жидов и масонов». Найти таких можно, только к власти они никогда не придут. Если западная социал-демократия выросла из «демократического капитализма», то наша — из советского социализма, у нас социал-демократами именуют себя стыдливые коммунистические приспособленцы, возлагать на коих какие-то надежды просто смешно.

Любопытно, что и в выборе между некрасным и красным национализмом предпочтение отдается последнему (то ли благодаря полагающейся ему хотя бы формально примеси «пролетарского интернационализма», то ли влияет генетическая память). Достоевский кажется страшнее и неприятнее. Вздумай кто из правителей обратиться к дореволюционному наследию — реакцию «демократической интеллигенции» предсказать несложно: побегут заливать огонь «российского империализма», начнут искать для объединения против него «сохранивших свой интернационализм» коммунистов (а, не найдя таковых, будут заигрывать со всякими). Однако возможный в ближайшем будущем

«постсоветский» правитель будет ведь не Колчаком или Врангелем, а нормальным советским человеком, который, оказавшись в подобной ситуации, гораздо проще и быстрее демократов найдет общий язык с коммунистами — на «национальной» основе (пожертвовав частью дореволюционной атрибутики). Так что, поспособствовав удушению «гидры контрреволюции», красного национализма со всеми вытекающими для нее последствиями «демократическая общественность» все равно избежать не сможет. Представить режим типа существовавшего в 1943–1953 гг., только чуть менее красный и более «патриотический» довольно легко. Трудно представить благоденствующих при нем наших демократов. Похоже, что наступит время, когда ненавистники «империи» и рады будут вернуть соответствующие ей нравы и установки, да от них и следа не останется.

Сейчас режим стремится стабилизироваться, вбирая в себя еще более красную чем он оппозицию и по-возможности полнее сливаясь с ней идеологически. В этих условиях его лозунг «Больше стабильности!» неминуемо означает «Больше советскости!». Стабилизация ему необходима для предотвращения любых действительных перемен, которые по большому счету могут быть направлены только в одну сторону — в сторону изживания коммунистической идеологии. Нынешний режим, с одной стороны, стремится законсервировать советскую государственно-политическую традицию, а с другой — создать впечатление, что эта традиция уже была ликвидирована в августе 1991 г., и, следовательно, никакой другой «контрреволюции» больше не требуется, и даже помышлять об этом не должно. Тогда как для возвращения страны на путь её естественного развития совершенно ясна как раз необходимость осуществления подлинной контрреволюции. И прежде всего — установления однозначной оценки большевистского переворота как величайшей катастрофы в истории страны, а советского режима — как незаконного и преступного по своей сути на всех этапах его существования. Пока большевистский переворот не считается преступным антигосударственным деянием, его наследие не подлежит отмене и уничтожению а, следовательно, не может и установиться власть, возводящая себя к исторической российской государственности.

Представляются очевидными, по крайней мере, две вещи. Во-первых, становление подлинного «цивилизованного патриотизма» невозможно без возвращения к традиции исторической России. Во-вторых, первоосновой такого возвращения является разрыв с советским государственным наследием и ориентация на правопреемство по отношению к традиционной

российской государственности. Такая переориентация не может быть осуществлена в рамках господствующей до настоящего времени советской правовой системы и потребует принятия действующей властью принципиальных политических решений. Решений, принимаемых с полным осознанием того, что, поступая так, она действует единственно легитимным образом. Когда, какая власть и при каких обстоятельствах на это решится, вопрос, конечно, открытый. Но для тех, кто стремится избежать торжества выросших на советско-коммунистической почве «красно-коричневых» мутаций патриотизма, это — единственно возможный путь.

1999 г.

Российское монархическое движение: взгляд со стороны

В прошлом году информационно-экспертной группой «Панорама» были выпущены два издания, посвященные монархическому движению в стране: «Русские монархисты. Документы и тексты» (сост. В. Прибыловский и А. Трифонов) и «Полемика о российском престолонаследии. Сборник материалов» (В. Прибыловский). Эти объемистые труды — пожалуй, наиболее полный свод материалов о современном монархическом движении и с этой точки зрения выполнены вполне профессионально (чем, впрочем и отличаются обычно издания «Панорамы»). Документы 26 включенных в издание организаций подобраны в целом так, что достаточно полно характеризуют их позиции (разве что излишне увлечение уставами), равно как приведена и основная аргументация сторон в вопросах престолонаследия.

Оба издания предваряются небольшими вступительными статьями о монархическом движении, содержащими ряд верных наблюдений, но не свободных от фактических ошибок. Например, самозванца Павла Шебардина не существует, есть Эдуард Борисович Шабалин, именующий себя Павлом II. Термин «непредрешенчество» в том смысле, в каком он применен автором по отношению к позиции части монархистов, во-первых, не имеет ни малейшей связи с тем, что подразумевалось под ним в годы гражданской войны, а во-вторых, если и именовать так некоторую часть монархистов, то вовсе не тех, которые выступают за референдум о монархии (это вообще не монархическая позиция), а тех, кто, декларируя безусловную приверженность монархии, считают вопрос о конкретном ее носителе непринципиальным или преждевременным и обходят его. Но это частности.

Главное же то, что, стремясь объективно осветить монархическое движение и составив свои работы как своды фактических данных, авторы, тем не менее, создают совершенно извращенную его картину, весьма вредную с точки зрения восприятия монархического движения неосведомленной публикой. Это движение предстает по изучении названных трудов в весьма неприглядном свете. Но не столько из-за действительных его недостатков и темных сторон, вызванных «человеческим фактором», сколько из-за того, что авторы подошли к делу чисто формально, не обладая пониманием смысла и сути монархического

движения. Этот упрек мы вправе сделать, потому что если авторы, не будучи монархистами, и не обязаны разбираться в нюансах чисто монархических разногласий, то как специалисты в политике, они обязаны разбираться в ее основных реалиях.

Позволю себе выразить уверенность, что при составлении, допустим аналогичного труда о демократических организациях, авторам не только не пришло бы в голову включать туда ЛДПР или «Народовластие» на том основании, что в названии их декларируется приверженность демократии, но сама мысль о таком включении показалась бы им кощунственной. Однако к монархическому движению они подошли именно таким образом.

Монархическое движение по своему существу есть движение за восстановление исторической российской государственности, за преодоление советского наследия и осуществление прямого правопреемства не от какой-то абстрактной, выдуманной, скроенной по лекалу современных фантазеров, а совершенно конкретной реальной России — той самой, что была уничтожена в 1917 году. Поэтому оно немыслимо вне восстановления прав правившей династии без всяких «выборов». Строго говоря, никаким другим, кроме как «легитимистским» монархическое движение не бывает. Монархия и единовластие отнюдь не синонимы. Не причислять же к монархическим партиям КПСС на том основании, что генсеки обладали вполне «самодержавной» властью.

Собственно, тот подход, который ныне именуется «легитимистским» (признающий право на престол старшей ветви династии) и есть единственная форма монархического движения, и, кстати (что очень плохо сейчас известно), до 90-х годов никем в эмиграции (где только и существовало монархическое движение), за исключением отдельных лиц, не представлявших никакого особого течения, не оспаривался. Спор шел лишь о правомерности, своевременности и целесообразности конкретных действий Великого Князя Кирилла Владимировича. Речь могла идти о «выборе русским народом» государственного строя вообще, но вопрос о том, что в случае восстановления монархии ему надо «баллотироваться» наряду с другими претендентами, просто не стоял; к концу же 30-х годов вся монархическая (и даже не только) эмиграция сплотилась вокруг его наследника.

Идея Земского Собора в том виде, как она бытует ныне, есть чисто советское изобретение, имеющее отношение не к внутримонархическим разногласиям, а к борьбе между сторонниками восстановления исторической России и «советскими патриотами» (национал-коммунистами). Поэтому изображать «легитимистов» и «соборников» как

равноценных участников монархического движения — извращать самую суть его.

Еще правомерно, положим, относить к монархистам те организации, что не признают нынешнего Главу Императорского Дома, но выросли на эмигрантской, несоветской почве, например, веймарновских раскольников РИСО (хотя не знаю, наберется ли там с десятков членов), или тех, кто не акцентирует внимания на конкретных фигурах, но безусловно привержен монархической идее без всякой советской примеси. Но причислять к «монархическому движению» коммунистов, заведомых сторонников советчины, коммунистических подголосков, союзников КПРФ, разного рода советских ублюдков, серьезно рассуждающих об установлении жуковских и джугашвилиевских династий (а именно такие составляют большинство среди приводимых 26 «монархических организаций»), умственно неполноценных и просто сумасшедших лиц — просто несерьезно.

Я далек от мысли, что авторы рецензируемых изданий преследовали сознательную цель нанести ущерб монархическому движению, оно для них — такой же объект наблюдения, как и всякое другое. Но даже с профессионально-политологической точки зрения такой «сверхформальный» подход едва ли делает честь исследователям, которые прекрасно осведомлены и о биографиях, и о советской сущности «монархистов» из «Русского Вестника», «Завтра» и т. п. изданий. А уж от переkreщивания на одной из страниц логотипов нашей газеты и «Русского Вестника» тем более можно было воздержаться.

1999 г.

Кому мы наследуем

В последние годы не раз уже вставал вопрос о ликвидации ленинского капища у стен Кремля, однако всякий раз решался отрицательно. Причем одним из главных аргументов неизменно был тот, что это-де есть «покушение на нашу историю», что в мавзолее покойся «основоположник нашего государства». Солидаризируясь или соглашаясь с ним, власти лишний раз, свидетельствуют, что являются прямыми наследниками преступного большевистского режима и от «красной оппозиции» недалеко ушли. Не секрет, что современное восприятие компартии, обеспечивающее ей заметную популярность, базируется, в сущности, на некоторых постулатах идейно-политического течения, известного как «национал-большевизм», которые удалось внедрить в общественное сознание, и главным из которых является тезис о патриотизме коммунистов. Тезис этот, по сути своей еще более смехотворный, чем утверждение об органичности для России их идеологии, не является, в отличие от последнего, новшеством в идеологической практике коммунистов. Из всех основных положений нынешней национал-большевистской доктрины он самый старый и занял в ней центральное место еще с середины 30-х годов, т. е. тогда, когда стало очевидным, что строить социализм «в отдельно взятой стране» придется еще довольно долго.

Между тем, нет ничего более нелепого, чем говорить о «патриотизме» партии, занимавшей открыто антинациональную и антигосударственную позицию как во время Русско-японской, так и Первой мировой войн. Ленин, как известно, призывал не только к поражению России в войне с внешним врагом, но и к началу во время этой войны войны внутренней — гражданской. Более полного воплощения государственной измены трудно себе представить, даже если бы Ленин никогда не получал немецких денег (теперь, впрочем, уже достаточно широко известно, что получал — как именно и сколько). При этом призывы Ленина к поражению России не оставались только призывами. Большевики под его руководством вели и практическую работу по разложению русской армии, а как только представилась первая возможность (после февральской революции), их агентура в стране приступила и к практической реализации «войны гражданской» — натравливанию солдат на офицеров и убийствам последних. Уже к середине марта только в Гельсингфорсе, Кронштадте, Ревеле и Петрограде было убито более 100 офицеров.

В соответствии с ленинскими указаниями первостепенное внимание закономерно уделялось физическому и моральному уничтожению офицерства: «Не пассивность должны проповедовать мы — нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц». Поскольку душой всякой армии является ее офицерский корпус, а основой ее существования — воинская дисциплина, лучшего средства обеспечить поражения России, естественно, и не было.

Пользуясь нерешительностью и непоследовательностью Временного правительства, ленинцы весной, летом и осенью 1917 года вели работу по разложению армии совершенно открыто, вследствие чего на фронте не прекращались аресты, избиения и убийства офицеров. Атмосферу в частях хорошо характеризует такая, например, телеграмма, полученная 11 июня в штабе дивизии из 61-го Сибирского стрелкового полка: «Мне и офицерам остается только спастись, т. к. приехал из Петрограда солдат 5-й роты, ленинец. В 16 часов будет митинг. Уже решено меня, Морозко и Егорова повесить. Офицеров разделить и разделаться. Много лучших солдат и офицеров уже бежало. Полковник Травников.»

В результате деятельности большевиков на фронте к ноябрю несколько сот офицеров было убито, не меньше покончило жизнь самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800), многие тысячи лучших офицеров смещены и изгнаны из частей. Даже после переворота, полностью овладев армией, Ленин продолжал политику ее разрушения, поскольку там сохранялись еще отдельные боеспособные части и соединения. Как отмечал В. Шкловский (известный впоследствии литкритик): «У нас были целые здоровые пехотные дивизии. Поэтому большевикам пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожившему аппарат командования». К середине декабря фронта как такового уже не существовало, по донесению начальника штаба Ставки, «При таких условиях фронт следует считать только обозначенным. Укрепленные позиции разрушаются, занесены снегом. Оперативная способность армии сведена к нулю... Позиция потеряла всякое боевое значение, ее не существует. Оставшиеся части пришли в такое состояние, что боевого значения уже иметь не могут и постепенно расползаются в тыл в разных направлениях». Между тем большевики (в еще воюющей стране!) в декабре 1917 — феврале 1918 перешли к массовому истреблению офицеров, которых погибло тогда несколько тысяч: в Одессе свыше 400, в Севастополе 16–17 декабря 128 и 23–24 февраля — около 800 чел., в Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии и Алуште — 1–1, 2 тыс., в Киеве

— от 3 до 5 тыс. и т. д.

Учитывая эти обстоятельства, говорить о «вынужденности» унижительного (привлеченный к переговорам в качестве эксперта полковник В. Е. Скалон застрелился, не вынеся позора) Брестского мира не вполне уместно, коль скоро заключавшие его сознательно довели армию до такого состояния, при котором других договоров и не заключают. Заключение его выглядит, скорее, закономерной платой германскому руководству за помощь, оказанную большевикам во взятии власти. Другое дело, что когда «мавр сделал свое дело» и российской армии больше не было, немцы не склонны были дорожить Лениным, и он был готов на все ради сохранения власти.

По условиям мира от России отторгались Финляндия, Прибалтика (Литва, Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, Моонзундские о-ва), Украина, часть Белоруссии и Закавказья (Батумская и Карсская области с городами Батум, Карс и Ардаган). Страна теряла 26 % населения, 27 % пахотной площади, 32 % среднего урожая, 26 % железнодорожной сети, 33 % промышленности, 73 % добычи железных руд и 75 % — каменного угля. Флот передавался Германии (адмирал А. М. Щастного, выведший Балтийский флот из Гельсингфорса в Кронштадт, был цинично принесен в жертву, чтобы оправдаться перед немцами — его расстреляли). Кроме того, устанавливались крайне невыгодные для России таможенные тарифы, а по заключенному позже финансовому соглашению Германии еще выплачивалась контрибуция в 6 млрд. марок. Этот договор вычеркивал Россию из числа творцов послевоенного устройства мира, а для жителей союзных с ней стран однозначно означал предательство, что пришлось почувствовать на себе множеству российских граждан, оказавшихся в Европе в то время и попавших туда после Гражданской войны, нисколько не повинным в ленинской политике. Жертвы и усилия России в мировой войне были обесценены одним росчерком пера, и их плодами предоставлено было пользоваться бывшим союзникам.

И вот человек, ценой уничтожения России взявший и ценой ее унижения сохранивший власть — ради сотворения на ее месте чудовищного монстра Совдепии, пугала и позора цивилизованного мира, продолжает считаться «основоположником нашего государства». Так не пора ли людям, взявшим флаг и герб уничтоженной Лениным страны, определиться — в каком все-таки государстве они живут?

Нынешние власти оказались в нелепой и нелегкой для себя ситуации, сохранив в неприкосновенности советскую государственную традицию и ту идеологическую основу (одним из важнейших элементов ее и является

ленинский мавзолей), которой подпитываются прокоммунистические настроения и без ликвидации которой невозможен перелом в массовом сознании. Основа эта глубоко проникла в образ жизни населения и поддерживается привычным с детства набором мыслительных стереотипов и зрительных образов, (тогда как, будучи однажды решительно выветрена из сознания населения, едва ли могла бы быть восстановлена в нем заново).

Более того, несмотря на заявления президента о «конце советско-коммунистического режима», нынешний режим пока что и практически, и юридически является его продолжателем, ведя свою родословную (как и все его органы и учреждения, начиная с армии и ФСБ) не от исторической российской государственности, а именно от большевистского переворота. Это находит адекватное отражение в идеологической практике — от школьных программ, по-прежнему трактующих историю страны в марксистском духе, а большевистский переворот — вполне благожелательно (в них Зюганову достаточно будет просто в очередной раз поменять акценты), до бережного сохранения (за единичными исключениями) соответствующих памятников и наименований.

Со стороны властей не было дано однозначной оценки большевистскому перевороту как катастрофе, уничтожившей российскую государственность (ныне вроде бы ими восстанавливаемую) и советскому режиму как преступному по своей сути на всех этапах его существования, не были ликвидированы по всей стране соответствующие атрибуты и символика, не были уничтожены все формы почитания коммунистических преступников.

Понятно, что заявления о борьбе с коммунизмом со стороны режима, празднующего годовщину «Октября» как государственный праздник, крайне неубедительны, если не сказать смехотворны. Главное же — ему приходится играть на «чужом поле», подлинными и законными хозяевами которого являются коммунисты. Власти при этом выглядят такими же коммунистами, только стыдливými и «антипатриотичными», а в этой роли они лишены возможности эффективно противостоять национал-большевизму, протаскивающему советско-коммунистическую суть в патриотической упаковке, которая (как явствует из сравнения успехов Зюганова и Анпилова) имеет гораздо большие шансы быть воспринятой, чем проповедь ортодоксов.

В этих условиях возвращение тех, кто не стыдится называть себя коммунистами, воспринимается психологически естественным, а «курс реформ» выглядит чем-то вроде НЭПа, который сегодня есть, а завтра — не обязательно. До тех пор, пока в общественном сознании будет сохраняться

угроза возвращения коммунистов (в т. ч. и путем эволюции самой власти в сторону советского прошлого) нельзя ожидать от людей, чтобы они связывали свое будущее со свободной экономикой.

Для ликвидации идейно-политической базы коммунистической реставрации следовало бы предпринять ряд мер как пропагандистского, так и политического характера, в ряду которых ликвидация мавзолея представляется одной из первоочередных. Только тогда в обществе может быть создано такое же отношение к советско-коммунистическому режиму и его наследию, какое было создано, например, в послевоенной Германии по отношению к нацистскому прошлому. Будь это сделано ранее, едва ли были возможны как события 1993 г., так и нынешнее влияние компартии.

Что же до того, что Ленин «неотъемлемая часть нашей истории», то ведь и Батый, и Самозванец были не менее неотъемлемой ее частью, однако же памятников им в России почему-то не ставили и праху их не поклонялись. Теперь вот говорят, что тревожить ленинские останки — «негуманно», наследники гонителей церкви апеллируют даже к христианскому всепрощению. Думается, что в начале XVII века москвичи были привержены православию никак не меньше, чем сейчас. Что не помешало им поступить с останками Лжедмитрия вполне адекватно его заслугам: они были сожжены и развеяны пушечным выстрелом. Едва ли он принес нашей стране большее зло, чем обитатель мавзолея.

2000 г.

О характере современной политической элиты

Символы — на то и символы, чтобы лучше и нагляднее всего свидетельствовать, кто есть кто и что есть что. Разрешение «вопросов государственной символики» (не столько даже сам факт, сколько то, как это было сделано, а особенно путинская речь) расставило все на свои места.

Будь коммунисты сильны, а символику надо было бы срочно утверждать, повод для иллюзий оставался бы. Но то, что это сделано именно теперь, когда они гораздо слабее, чем прежде, показывает, что дело вовсе не в них, а в самой власти. Путин сам инициировал разговоры о символике, и инициировал их с единственной целью — вернуть советскую, т. е. начал с восстановления и того немногого, что было убрано при Ельцине, сознательно конституировав свой режим как национал-большевистский — с соответствующим идеологическим обоснованием («неразрывность нашей истории», «преемственность поколений» и т. д.). В этом свете продолжение использование трехцветного флага и герба — есть политическое мародерство, прямое продолжение «сталинского ампира» 1943–1953 гг.

Любопытно, что демократы из числа бывших поборников «истинного ленинизма» и «социализма с человеческим лицом» уже начинали было писать, что перед угрозой авторитарного режима «пока не поздно, надо попытаться открыть новую страницу взаимоотношений российских коммунистов и российских демократов». Но, как обычно, сели в лужу. «Новую страницу взаимоотношений с коммунистами» открыл Путин, которому это, конечно, было куда как проще сделать.

Совершившийся поворот дал однозначный ответ и на вопрос о сущности нынешней элиты. Для нее он оказался совершенно органичным. Для представителей недавно конфликтовавших и конкурировавших фракций, радостно воссоединившихся под звуки советского гимна, не может, разумеется, быть более подходящей идеологии, чем идеология единства советской и постсоветской истории, которая в них же самих и персонифицирована.

Страной как правил, так и правит порожденный советской властью специфический слой «кухарок, управляющих государством», вполне сложившийся к концу 30-х годов из «выдвиженцев» и «образованцев» и представленный к настоящему времени уже вторым-третьим поколением.

Остается только удивляться, что этот очевидный факт в последние

годы все время норовили «забыть» или игнорировать (распространилось даже мнение о некой «революции младших научных сотрудников»). Между тем, даже к моменту высшего пика «демократического правления» — на весну 1993 года среди двух сотен человек, реально управлявших страной, три четверти (75 %) были представителями старой номенклатуры, а коммунистами были 9 из 10. Доля тех, кого можно с натяжкой отнести к «младшим научным сотрудникам» (это, как правило, заведующие отделами и секторами), не превышала четверти, да и из них лишь 10 % не состояли в КПСС (наиболее впечатляюще выглядел состав местных властей: 92 % коммунистов, причем представителей номенклатуры 87,5 %).

Губернаторское сообщество, призванное ныне в лице Государственного совета «разрабатывать стратегию развития страны», по своим социальным характеристикам и к настоящему моменту если и отличается от состава властных структур центра, то в худшую сторону. Большая часть губернаторов принадлежит к поколению целиком советскому, лишь менее трети (31,5 %) моложе 50 лет. В целом «шестидесятилетних» (60 лет и старше) — 31,5 %, «пятидесятилетних» (50–59 лет) — 37,1 %, «сорокалетних» (40–49 лет) — 27 % и «тридцатилетних» (до 40 лет) — 4,5 %. Практически все они, даже самые молодые (за единственным исключением), при этом были членами коммунистической партии. Но самое существенное то, что почти все они (опять же — даже некоторые из наиболее молодых) принадлежали до 1991 г. к советско-коммунистической номенклатуре — 91 %, причем 60 % — к номенклатуре областного уровня.

Между прочим, термин (в духе «единства нашей истории»), избранный для собрания этой публики, лишь усиливает комизм ситуации: при сравнении с известной картиной Репина нынешний Государственный Совет выглядит примерно так, как треуголки и мундиры с эполетами на голых телах каких-нибудь негров, разграбивших разбившийся европейский корабль.

Обращает на себя внимание, что даже почти все так называемые «молодые реформаторы» в большинстве либо успели побывать членами советской политической элиты, либо вышли из этой среды. Молодость далеко не всегда является гарантией качественной «новизны» человека, поскольку происхождение часто оказывает на психологию даже более сильное влияние, чем собственный жизненный опыт. Люди типа Гайдара за отдельными исключениями никогда не смогут в полной мере отряхнуть со своих ног прах советчины уже по одному тому, что это означало бы для них отречение не только от «дела отцов», но от всего того, что только и сделало

их теми, кто они есть, позволило им достичь своего социального положения. Так что и из молодого поколения во власть до сих пор попадают почти исключительно люди, так или иначе принадлежащие советской системе — если не по членству в номенклатуре, то по происхождению, если не по происхождению, то по взглядам.

Реакция так называемых «правых» из круга СПС на возвращение к советской символике также весьма характерна: свое «непримиримое» отношение к этой акции они высказали, но естественная в этом случае мысль перестать сотрудничать с режимом, вполне обнаружившим свое советское лицо, никому из них в голову, конечно, не пришла.

По-настоящему новый элемент в стране представляет собой только слой предпринимателей, не связанных с правившей номенклатурой и не являющихся представителями криминальных структур. Он, в отличие от последних, сложился естественным путем и вполне адекватен нормальному порядку вещей. Каждый из них не обладает пока заметным экономическим весом (это, как правило, «средний бизнес»), они не объединены политически или даже организационно. Однако вместе взятые они уже сейчас отвечают за значительную долю ВВП, и в настоящее время только они могут рассматриваться как источник формирования новой экономической элиты.

Налицо очевидная разница между характером элиты политической (вполне советской на всех уровнях власти) и экономической и связанное с этим противоречие.

Элита политическая в обозримом будущем останется прежней и ничего хорошего от нее ожидать не приходится. Люди этого пошиба могли, положим, при всем их убожестве, более или менее успешно управлять сделанной «под них», отлаженной Сталиным и обладавшей огромным запасом инерции советской системой, однако теперь она сильно разрушена, и без достаточного количества приличных и дееспособных людей не обойтись. Но если при проведении «традиционалистского» курса Путин мог бы рассчитывать на поддержку таковых из числа лиц, отвергающих советчину и ориентирующихся на традиционную российскую государственность (и этого было бы достаточно, даже если бы т. н. «либеральная интеллигенция» отшатнулась в оппозицию), то следуя просоветским курсом, он может опираться только на людей того же качества и интеллектуального потенциала, что и прежняя номенклатура, или на беспринципных приспособленцев, хотя и неглупых, но бесчестных. Его окружение (частью «чекистское», частью унаследованное от Ельцина) по преимуществу из людей этих двух сортов и состоит. Но пока Путин в

этом вполне убедится, может пройти еще немало времени.

Элита экономическая в ближайшем будущем будет-таки состоять из людей, вполне отвечающих своему предназначению. Повод для пессимизма здесь — не в составе ее самой, а в том, насколько ей будет позволено развернуться. Потому что экономическая свобода при политическом господстве советской номенклатуры — не более, чем пресловутый НЭП, временная уступка обстоятельствам, чтобы с помощью «неправильных» людей обеспечить сохранение «правильной» власти.

Но пока, во всяком случае, было бы хорошо, если бы элита политическая по крайней мере поменьше вмешивалась в сферу деятельности элиты экономической — в экономику. Хотя бы в интересах самосохранения, потому что когда развалится все, не уцелеет и она.

2000 г.

Белое движение и современность

Белое движение, несмотря на все события последних полутора десятков лет, так и не получило в общественном мнении адекватной оценки. Когда преступная сущность коммунистического режима выявилась в полной мере, казалось бы логичным воздать должное тем, кто ему противостоял. Однако этого не произошло и по сию пору. С самого начала «гласности» атмосфера однозначного отрицания красных не сопровождалась признанием белых, тенденция «красных ругать, но белых не хвалить», так и закрепилась в средствах массовой информации.

«Демократические» круги вынуждены были поносить своих идейных предшественников — красных, чтобы настроить население против партийного режима, который они сочли своевременным заменить «демократическим». Но признать и воздать должное белым они тоже не могли, ибо белые были прежде всего патриотами и боролись за Великую Единую и Неделимую Россию. И как бы ни было для них нелогичным не признать боровшееся с тем же режимом несколько десятилетий назад Белое движение, но еще более нелогичным было бы им солидаризироваться с защитниками столь ненавистой им российской государственности. Поэтому ими реабилитируется кто угодно — только не жертвы красного террора, восстанавливается память о приконченной соратниками «ленинской гвардии» — но не о белых воинах. Что же касается национал-большевизма, господствующего в т. н. «патриотическом движении», то с точки зрения этой идеологии тот факт, что одни воевали за Россию, а другие — за мировую революцию оказывается ничего не значащим, коль скоро все они были «русскими людьми».

Суть дела, однако, в том, что красные не только не боролись за Россию, но и сами не приписывали себе тогда подобных побуждений, как то сразу же обнаруживается при обращении к материалам тех времен. Патриотическим языком они заговорили значительно позже, и для них это было вопросом выживания, а не добровольным «исправлением». Когда же жизнь заставила менять шкуру, — тогда и появились задним числом утверждения, что они-де и всегда были «за отечество».

Белых и красных пытаются ставить на одну доску, хотя их сущность принципиально различна. Можно очень по-разному представлять себе конкретные формы государственного, общественного и экономического устройства. Но при всем многообразии политических взглядов, все те, что

основаны на естественном порядке вещей, все-таки стоят по одну сторону черты, за которой — то, что принесли большевики. Это и есть разница между Белым и Красным.

Благодаря практически полной неосведомленности в исторических реалиях, общественному сознанию легко было навязать представление о «белой» идеологии как о чем-то специфическом, какой-то особой системе взглядов, одного порядка с красной. Отсюда попытки найти между ними что-то «среднее» или «не разделять ни той, ни другой», либо, напротив объединять их.

Но наша гражданская война не была борьбой каких-то двух группировок за власть в государстве, как война «Алой и Белой розы», не была борьбой между одной Россией и другой Россией. Это была борьба за государство и против него — борьба между Россией и мировой коммунистической революцией, между идеологией классовой ненависти и идеологией национального единства.

Для того, чтобы понять, за что сражались стороны в Гражданской войне, достаточно обратиться к лозунгам, начертанным на знаменах тех лет. Они совершенно однозначны, и всякий, кто видел листовки, газеты и иные материалы тех лет, не сможет ошибиться относительно того, как формулировали свои цели враждующие стороны. Предельно сжато они выражены на знаменах в буквальном смысле этого слова: с одной стороны — «Да здравствует мировая революция», «Смерть мировому капиталу», «Мир хижинам — война дворцам», с другой — «Умрем за Родину», «Отечество или смерть», «Лучше смерть, чем гибель Родины» и т. д. Знамена красных войск, несущих на штыках мировую революцию, никогда, естественно, не «осквернялись» словом «Родина».

Белое движение возникло как патриотическая реакция на большевистский переворот, и было прежде всего движением за восстановление уничтоженной большевиками тысячелетней российской государственности. Никакой другой задачи основоположники Белого движения никогда не ставили, их усилия были направлены на то, чтобы ликвидировать главное зло — паразитирующий на теле страны большевистский режим, преследующий откровенно антинациональные цели установления коммунистического режима во всем мире.

В Белом движении соединились люди самых разных взглядов, сходящиеся в двух главных принципах:

- 1) неприятие большевистского переворота и власти интернациональных преступников,
- 2) сохранение территориальной целостности страны.

Эти принципы нашли воплощение в емком и, собственно, единственном лозунге Белого движения: «За Великую, Единую и Неделимую Россию».

Ядром движения, стали, естественно, образованные круги, прежде всего служилые, всегда бывшие носителями государственного сознания. Советскому человеку было положено считать, что белые армии состояли из помещиков и капиталистов, которые воевали за свои поместья и фабрики, «одержимые классовой ненавистью к победившему пролетариату». Но в годы самой гражданской войны и сразу после нее сами большевистские деятели иллюзий на этот счет себе не строили, и из их высказываний (не предназначенных для агитплакатов) совершенно ясно, что они хорошо представляя себе состав своих противников («офицеры, учителя, студенчество и вся учащаяся молодежь», «мелкий интеллигент-прапорщик»).

Русское офицерство уже со второй половины XIX в. представляло собой чисто служилый элемент, живший на весьма скромное жалованье и к «помещикам и буржуазии» имевший отношение весьма отдаленное. К концу XIX в. даже среди всех потомственных дворян в стране помещиками было не более трети, среди служивших — гораздо меньше. Но половина офицеров даже не были дворянами по происхождению, а доля помещиков даже среди генералитета составляла порядка 10 %, среди армейской элиты — офицеров Генерального Штаба — не имели никакой собственности 95 %.

За годы же Мировой войны (тогда было произведено около 220 тыс. человек, то есть больше, чем за всю историю русской армии до 1914 г.) офицерский корпус стал в общем близок сословному составу населения (а офицеры военного времени по происхождению представляли практически срез социальной структуры страны). Ген. Н. Н. Головин свидетельствовал, что из 1000 прапорщиков, прошедших школы усовершенствования в его 7-й армии, около 700 происходило из крестьян, 260 из мещан, рабочих и купцов и 40 из дворян (и действительно, среди выпускников военных училищ военного времени и школ прапорщиков доля дворян всегда менее 10 %). Офицерский корпус притом включал едва ли не всю образованную молодежь России, поскольку практически все лица, имевшие образование в объеме гимназии, реального училища и им равных учебных заведений и годные по состоянию здоровья были произведены в офицеры.

Эта масса молодых прапорщиков и подпоручиков, недавних студентов, гимназистов, семинаристов, рядовых солдат и унтер-офицеров, произведенных за боевые отличия, была весьма и весьма скромного

материального положения. Объединяли ее, конечно, не имущественные интересы, а невозможность смириться с властью антинациональных сил, выступавших за поражение своей страны в войне, которую эти офицеры считали Второй Отечественной, разлагавших армию и заключивших Брест-Литовский мир.

Но как бы ни была велика роль этих офицеров в белой борьбе, особенно на первом этапе, большинство в белых рядах составляли все-таки не они, а как раз «рабочие и крестьяне», причем, что очень важно — пленные из бывших красноармейцев. Лучшие части белых армий на Юге — корниловцы, марковцы, дроздовцы уже к лету 1919 г. в большинстве состояли из этого элемента, а в 1920 г. — на 80–90 %. Все белые мемуаристы единодушно отмечают, что именно этот контингент, т. е. люди, уже побывавшие под властью большевиков, были гораздо более надежным элементом, чем мобилизованные в районах, где советской власти не было или она держалась недолго.

Так было на Юге. На Востоке же и Севере России белые армии были практически полностью «рабоче-крестьянскими», целые дивизии состояли даже сплошь из самых натуральных «пролетариев» — ижевских и воткинских рабочих, одними из первых восставших против большевиков и тяжело за это поплатившихся (в одном Ижевске большевики после захвата города истребили 7983 чел. членов их семей). Эти рабочие полки прошли при отступлении через всю Сибирь, вынося в тайге на руках свои пушки и боролись в Приморье до самого конца 1922 г.

Советская пропаганда, особенно впоследствии, говоря о гражданской войне, предпочитала делать основной упор на так называемых «интервентах», представляя белых по возможности не в качестве основной силы сопротивления большевизму, а в качестве «пособников мирового капитала», каковой и должны были воплощать страны Антанты. Антанта же усилиями апологетов партии, призывавшей к поражению России в войне с Германией превратилась в символ чего-то антироссийского. И из сознания советского обывателя совершенно выпал тот очевидный факт, что Россия — это и была главная часть Антанты, без которой ее, Антанты никогда бы не сложилось. И так называемые «интервенты» не только не были врагами подлинной, исторической России, а были ее союзниками, обязанными оказать России помощь в борьбе против немецкой агентуры, в качестве которой совершенно неприкрыто выступали тогда большевики.

Другое дело, что «союзники» оказались эгоистичными и недальновидными и не столько оказывали такую помощь, сколько преследовали свои корыстные цели. Теперь можно, конечно, рассуждать о

том, на ту ли сторону стала Россия в европейском противостоянии. Но, как бы там ни было, а такова была воля ее Государей, и никаких других союзников у России в 1917 г. не было. И в любом случае вина их перед Россией не в том, что они проводили «интервенцию», а в том, что они этого как раз практически не сделали, предоставив большевикам утвердить свою власть и уничтожить белых — последних носителей российской государственности, сохранявших, кстати, безусловную верность союзникам и идее продолжения войны с Германией.

Практически нигде, за исключением отдельных эпизодов и Севера России (и то в крайне ограниченных масштабах) союзные войска в боях с большевиками не участвовали, и потери в массе потерь белых армий исчисляются сотыми долями процента. Их участи ограничивалось лишь материальной помощью, и то в отдельные периоды и крайне скудной по сравнению с возможностями, которыми они располагали.

Идеология участников белой борьбы не представляла собой какой-то специфической партийной программы. Она была всего лишь выражением движения нормальных людей против ненормального: противоестественной утопии и преступных результатов попыток ее реализации.

Белые не предрешали конкретных форм будущего государственного устройства России, оставляя решение этого вопроса на усмотрение органа народного представительства, который предполагалось создать после ликвидации большевистского режима, несомненной для них была лишь необходимость восстановления тех основ русской жизни, которые были попорчены большевиками, и сохранение территориальной целостности страны.

Последнему принципу белое руководство было особенно привержено, не допуская отступлений от него даже в тех случаях, когда это могло обеспечить решающий стратегический перевес. Ни Колчак, ни Деникин как носители верховной власти никогда не считали возможным признавать отделение от России каких бы то ни было территорий. Такая политика, если и уменьшала шансы на успех, то имела высокий нравственный смысл. Равно как и лозунг «За помощь — ни пяди русской земли» по отношению к союзникам и некоторые другие аспекты, осложнявшие сотрудничество с последними.

Что касается «непредрешенчества», то, поскольку сутью и смыслом существования Белого движения была борьба с установившейся в России коммунистической властью, его позиция по любому вопросу всегда исходила из интересов этой борьбы. Она сводилась к тому, чтобы ликвидировать большевистский режим, без свержения которого были

бессмысленны любые разговоры о будущем России, и тем более монархии. Непредрешенческая позиция, хотя и была теоретически ущербна, в этих условиях представлялась единственно возможной. Тем более, что она отражала объективную реальность — отсутствие единства по этому вопросу в среде самих участников движения и в равной мере даже среди ее ядра. Учитывая весь спектр настроений среди добровольцев, можно полагать, что «конституционная монархия, возможно, наподобие английской» была бы тем вариантом, который имел наибольшие шансы примирить большинство их.

Возвращаясь к современности, нетрудно заметить, что все основополагающие установки и лозунги, которые сейчас вынужденно приняты государственной властью — культ российской государственности, идеология национального единства, озабоченность территориальной целостностью страны, отрицание «классовой борьбы» (вплоть до принятия закона, карающего за «возбуждение социальной розни»), экономическая свобода — чисто «белые». Это все то, что было в старой России, за что боролись белые и все то, что было так ненавистно красным. Однако власть отождествляет себя не с белыми, а с красными, и ведет преемство не от исторической России, а от большевистского режима.

Основное противоречие современной жизни — как раз и есть противоречие между объективно востребованными ныне «белыми» (то есть, собственно, нормальными, естественными и здравыми идеями и устремлениями) и «красным» происхождением тех, кому приходится их проводить. И не случайно, что в наиболее наглядном и концентрированном виде это противоречие проявляется в отношении к самому Белому движению.

2000 г.

Монархизм и монархисты в РФ

Представление о существовании в современной России некоего «монархического движения», едва ли можно считать вполне основательным. Во всяком случае то, что принято относить к таковому, производит весьма странное впечатление. В издании одного уважаемого информационного агентства приводились сведения аж о 26 «монархических организациях». При ближайшем рассмотрении, однако, большинство среди них составляют сообщества заведомых сторонников советчины, разного рода коммунистических подголосков, союзников КПРФ, либо явно умственно неполноценных и просто сумасшедших лиц.

Если в Зарубежье еще сохранились остатки подлинных организаций монархического толка (в частности, РИСО; выходит до сих пор газета «Наша Страна»), то в России монархическое движение с самого начала оказалось маргинализировано и приобрело облик, способный, скорее, дискредитировать отстаиваемую им идею.

Принято считать, что движение распадается на два крыла: «соборническое» и «легитимистское». Однако идея Земского Собора в том виде, как она бытует ныне, есть чисто советское изобретение, имеющее отношение не к внутримонархическим разногласиям, а к борьбе между сторонниками восстановления исторической России и «советскими патриотами» (национал-коммунистами). В национал-большевицкой интерпретации дело представляется в том духе, что съезжаются какие-нибудь председатели колхозов, советов, «сознательные пролетарии» и т. п. и избирают царем Зюганова или генерала Макашова. Вполне серьезно выдвигалось, например, предложение возвести на престол внуку маршала Жукова или потомков Сталина.

Так что довольно привычно стало именовать монархистами сторонников национал-социалистской диктатуры. Но монархия и единовластие отнюдь не синонимы. Подлинно монархическое движение по своему существу не может быть ничем иным, как движением за восстановление исторической российской государственности, за преодоление советского наследия и осуществление прямого правопреемства не от какой-то абстрактной, выдуманной, скроенной по лекалу современных фантазеров, а совершенно конкретной реальной России — той самой, что была уничтожена в 1917 году. Строго говоря, никаким другим, кроме как «легитимистским» монархическое движение не

бывает. Между тем подлинная историческая Россия, национал-большевикам (а «красные монархисты» есть одна из разновидностей этого течения) глубоко антипатична. Им нужна своя, красная, социалистическая монархия (в духе «Мы скажем — руки прочь, имперьялисты, от нашего советского креста!»).

Монархическая «пресса» и по форме, и по содержанию представляет собой настолько жалкую картину, что у всякого непредвзятого читателя (для которого, по идее, она и должна бы издаваться) неминуемо создает впечатление крайней убогости самого движения. Но, похоже, эти издания и не рассчитаны на популярность в сколько-нибудь широкой среде, они издаются исключительно «для своих». Эти «листки» — частью приторно-слащавые, частью крикливо-истерические по тону, создают о своих создателях впечатление, примерно сходное с впечатлением от футбольных «фанатов».

Такие издания (даже примерно одной направленности) обычно еще и состязаются в «правоверности», изобилуя взаимными обличениями. Подобная возня у несуществующего трона выглядит по меньшей мере смехотворно. «Профессиональный» монархизм вообще производит весьма невыгодное впечатление, невольно превращая вполне органичную, само собой разумеющуюся для естественного порядка вещей идею в нечто экзотическое.

В реальности даже и «легитимистская» среда едва ли отвечает своему названию. По существу, единственной вполне респектабельной организацией этого толка можно было считать Межрегиональное монархическое движение, созданное на базе РДС и уже в силу состава участников сколько-нибудь адекватно отражающее традицию исторической российской государственности. Однако стать в общественном сознании «лицом» движения ему не удалось.

Более того, все заметнее становится смыкание с национал-большевизмом ряда представителей и этого направления. Некоторые «легитимистские» деятели, подлизываясь к властям, симпатии которых им представляются совершенно очевидными, любят распространяться о «том хорошем, что было при советах», и даже не прочь изобразить самого Великого князя Владимира Кирилловича почитателем Совдепии (к чести последнего, совершенно безосновательно).

В одной из газет, например, призывалось не отмечать 7 ноября как «День непримиримости» (как это было всегда принято в русской эмиграции) на том основании, что в нем участвуют и немонархисты. Отказ от борьбы с большевиками под предлогом, что противниками последних

были и «февралисты», вообще говоря, — реализация излюбленной мысли ГПУ, которое в 20–30-х годах прямо ориентировало свою агентуру на работу по разложению белой эмиграции через монархические организации, рассчитывая именно на такое восприятие. Другой же орган прямо солидаризировался с национал-большевистскими «обличителями» Белого движения из «Нашего современника».

Вообще критика Белого движения «справа» — сюжет, на котором стоило бы остановиться, поскольку он неплохо иллюстрирует советскую природу современного «монархизма».

Как хорошо известно, в годы гражданской войны Белое движение не выдвигало монархического лозунга. Поскольку сутью и смыслом существования Белого движения была борьба с установившейся в России коммунистической властью, его позиция по любому вопросу всегда исходила из интересов этой борьбы. Она сводилась к тому, чтобы ликвидировать большевистский режим, без свержения которого были бессмысленны любые разговоры о будущем России, и тем более монархии. Поэтому Белому движению органически было присуще стремление обеспечить как можно более широкую коалицию антибольшевистских сил. Объективно такая позиция была абсолютно правильной — по крайней мере до того момента, пока сохранялась хоть малейшая надежда на продолжение вооруженной борьбы.

Не следует забывать о той степени дискредитации монархической идеи и «старого режима» вообще, которая реально имела место в первые пореволюционные годы. Не будь тогда монархия пугалом, большевики не делали бы упор в своей пропаганде на обвинении белых в намерении ее реставрировать (основной мотив советских всегда в духе «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон»). Кроме того, в начале борьбы, когда император находился в заточении провозглашение монархического лозунга спровоцировало бы немедленную расправу с ним, а после его гибели лозунг терял смысл, ибо не может быть монархии без претендента. Вопрос же о претенденте был долго неясен, ибо недоказанность смерти великого князя Михаила Александровича не позволяла заявить о своих правах и великому князю Кириллу Владимировичу.

Широко распространенный миф о монархических настроениях крестьянства, которым долгие годы тешили себя в эмиграции многие монархисты и на базе которого возводились едва ли не все построения целого ряда монархических группировок, оставался всего лишь мифом. Как ни парадоксально, «монархические настроения» (как общая тенденция

тяготения к временам дореволюционной России) стали проявляться с конца 20-х годов, после «великого перелома» коллективизации, «раскулачивания», голода и т. д., но никак не ранее. Результаты выборов в Учредительное Собрание однозначно свидетельствуют о практически безраздельном эсеровском влиянии в деревне. Именно на это обстоятельство (а не на мифические монархические симпатии, об отсутствии которых современники хорошо знали) и были вынуждены ориентироваться белые вожди. Чисто крестьянских восстаний было великое множество, но ни одно сколько-нибудь заметное движение не происходило под монархическим лозунгом.

Непредрешенческая позиция, хотя и была теоретически ущербна, в этих условиях представлялась единственно возможной. Наиболее очевидным доказательством правильности непредрешенческого лозунга было то, что белые армии с монархическим знаменем все-таки были (Южная и Астраханская), однако по изложенным выше причинам уже к осени 1918 г. потерпели полный крах, хотя и оперировали в великорусских крестьянских районах Воронежской и Саратовской губерний.

Наконец, в годы войны никакого отдельного монархического движения вне Белого движения не существовало («профессиональные монархисты» в лице «Союза русского народа» и т. п. организаций в ходе событий 1917 г. и после них обнаружили свою полную несостоятельность, несерьезность и неспособность), оно было частью Белого движения (остатки отдельных «монархических» армий также влились в Добровольческую армию Деникина). Организационно и идейно монархическое движение в эмиграции впервые осмелилось заявить о себе только в мае-июне 1922 г. на Рейхенгалльском съезде (да и то упоминание о «законном Государе из Дома Романовых» было по тем временам большой смелостью).

Что кажется особенно курьезным — так это попытка коммунистических подголосков в монархическом обличье поставить себя «правее» Белого движения и зачислить в свои ряды «самых крайних» монархистов, противопоставив их Белому движению, да еще опираясь на них, «обличать» последнее, да и всякие антисоветские взгляды. Как хорошо известно, все те деятели, которые действительно были правее Белого движения в целом, во-первых, сами все к нему принадлежали (составляя его крайне правый фланг), а во-вторых (и это главное) — они-то как раз и были самыми лютыми ненавистниками Совдепии (если более либеральные и левые элементы эмиграции в 1941-45 гг. могли еще позволить себе «оборончество» или рассуждения о «двойной задаче» то монархисты — никогда). Но несхождение концов с концами национал-большевиков

никогда не смущало; собственно, вся суть этого течения состоит в сочетании несовместимых вещей.

Идеологические завихрения последнего десятилетия лишний раз убеждают в том, что надо бы воспринимать окружающую действительность такой, какова она есть, а не такой, какой ее хотелось бы видеть. К сожалению, и 80 лет назад, и теперь монархическое движение становилось прибежищем слишком большого числа людей, мягко говоря «неадекватных», имея явную «перегрузку» по части тупых фанатиков, истерических кликуш и т. п. элемента, в конце-концов маргинализировавшего движение и едва ли не саму идею, которая, оторванная от реальной ситуации и здравого смысла, превращается в оружие против себя самой.

2004 г.

Тупик «антиевропеизма»

Одной из наиболее устойчивых и распространенных мифологем современного «патриотического» сознания является убеждение в извечном военно-политическом противостоянии России «Западу». Этот тезис выступает в несколько различных вариантах в зависимости от особенностей конкретной среды, но, так или иначе, враг неизменно помещается на западе, отчего невинный термин, обозначающий сторону света, приобрел значение средоточия мирового зла.

Основным источником его бытования в настоящее время является, конечно, советское наследие — традиция противостояния коммунистического лагеря во главе с СССР «капиталистическому» (то есть нормальному) миру, частью которого была до 1917 г. и Россия. Апологеты именно этого, вполне реального противостояния, со сталинских времен не прочь были «подверстать» к нему уничтоженную ими историческую Россию. Противостояние НАТО и Варшавского договора, порожденное конкретно-историческими обстоятельствами захвата власти коммунистами (силы, имеющей весьма сомнительное отношение что к православию, что к славянству) сначала в России, а после Второй мировой войны и в непосредственно прилегающих к ней восточно-европейских странах, в национал-большевистской интерпретации выводилось то из противостояния славянского мира романо-германскому, то православного — католическо-протестантскому, то «евразийского» — «атлантическому». Собственно, суть национал-большевизма (частным случаем которого является «евразийство») и состоит в облагораживании большевизма путем подыскивания ему «исторических корней» в национальной традиции. Естественно, что это должно было найти отражение и во внешнеполитической сфере.

Разумеется, у представления об «антизападном противостоянии» имелись и источники, лежащие вне советской традиции: многовековая богословская полемика православия с «латинством» и славянофильские представления, особенно в их поздней форме, лучше всего представленные Н. Я. Данилевским. Однако в формировании именно того типа «антизападного» сознания, которое существует в настоящее время, эти источники сыграли минимальную роль: суть претензий к Европе «реакционера» Данилевского советскому человеку была неизвестна, а искренней опоры на религиозную традицию у апологетов богоборческого

режима быть не могло. Почему и «антиинославное» рвение коммунистических подголосков из советской церковной среды, далеко превосходящее по накалу, но мало сходное типологически с позицией прежней русской церкви, выглядит вполне комично. В нем, конечно, гораздо больше от «антибуржуазного» пафоса большевиков, чем от православной богословской традиции (во всяком случае, замечательная мысль, что из ненависти к европейскому христианству следует возлюбить «братьев-мусульман» до 1917 популярна не была).

Примитивизм общественного сознания, помноженный на практически полную неосведомленность в области исторических реалий представляет, естественно, самую благоприятную почву для навязывания ему подобных взглядов. Представление о том, что если нечто было на моей памяти (а тем паче при моем участии), то так оно было и всегда, вполне нормально для неискушенного сознания. Например, коль скоро большинству довелось повоевать с немцами и посмотреть кинофильм «Александр Невский», то двух точек, отстоящих друг от друга на 800 лет, но соединенных прямой линией, оказывается совершенно достаточным, чтобы было невозможно воспринять мысль, что многие столетия до начала XX в. из всех европейских стран именно с немецкими государствами Россия имела наиболее близкие и дружественные отношения.

Разумеется, при самом беглом взгляде на реальную историю тезис об извечной борьбе России против «Запада» или Европы не выдерживает никакой критики, «в чистом виде» такое вообще ни разу не встречается, поскольку никогда в своей истории российское государство не воевало против какой-либо чисто европейской коалиции, а только в союзе с одними европейскими странами против других, либо с конкретными «одинокими» странами (для каждой из которых оно к тому же никогда не было ни единственным, ни даже главным противником). Собственно, единственным случаем, когда Россия воевала с европейскими странами без европейских же союзников была Восточная (Крымская) война, которая вовсе не была войной европейской, это была очередная русско-турецкая война, в которую вмешались англо-французы. Со времени активного участия России в общеевропейской политике (по меньшей мере с XVII в.) она никогда не была «парией» в Европе, против которой объединялись бы все или большинство европейских стран (между тем, как, например, Франции в этой роли быть доводилось не раз: не только в 1792–1815 гг., но и при Людовике XIV, когда 1688–1697 гг. в Аугсбургской коалиции против нее объединились почти все континентальные державы), или даже три-четыре европейские страны (как случалось с целым рядом других, начиная

с традиционных противников России Польши и Швеции).

Очевидно, что Россия по многим показателям отличается от других стран, но и все европейские страны и группы их весьма различны между собой. Страны с романской традицией отличаются как от германских, так и от славянских, католические не в большей мере отличаются от православных, чем от протестантских и т. д. Русское, российское государство со времени своего существования в силу географических реалий оказалось и всегда было восточным форпостом европейского мира, мира «белого человека», никакой другой сухопутной границы не имевшего. И тот факт, что ему в одно время доводилось быть жертвой чуждого ему мира азиатского, а в другое — напротив, включать в свои пределы огромные азиатские территории, вовсе не означает, что русский народ сам по себе есть народ «недостаточно европейский», полуазиатский или «евразийский».

В восприятии «отличия» мы опять же сталкиваемся с давлением над общественным сознанием реалий жизни двух-трех последних поколений современности, ибо коммунистическая Совдепия, разумеется, резко отличалась от всей остальной Европы, но это реалии только XX века, равно как тенденции «демократизации», «глобализации» и проч. По сравнению же с полутора-двумя тысячами лет «традиционной» европейской истории прошлое столетие лишь ничтожно малый отрезок времени, и свойственные ему тенденции нельзя назвать даже завершенным экспериментом (кстати, современная Европа имеет с традиционной лишь немного более общего, чем СССР с Россией). «Традиционная» же Испания отличалась от таковой же Норвегии никак не меньше, чем последняя от России и т. д.

Но что есть «противостояние»? В любом случае отличие или даже устойчивая неприязнь на основании такого отличия отнюдь не равны вражде или противостоянию. Последнее же в межгосударственных отношениях подразумевает вполне конкретные проявления, причем не антипатии к внутреннему устройству, образу правления или порядкам другой страны, не заявления видных «властителей дум», не газетные кампании и не истерики «общественного мнения», а кровь и пот, потраченные на борьбу, материальные усилия и человеческие жертвы в многолетних войнах. Все то, что действительно невозможно игнорировать и что, кстати, хорошо поддается учету.

В рассуждениях о противостоянии «Западу» к тому же не вполне ясно, что это, собственно, такое. В одних случаях под ним имеются в виду все европейские страны, кроме славянских, в других — все, кроме православных, в третьих — все, кроме России. При «славянско-

православном» подходе концы с концами, понятно, не сходятся, поскольку половина зарубежных славян не православные, а половина православных — не славяне, а одна из двух оставшихся и славянских, и православных стран — Болгария после ее освобождения никогда союзницей России не была, а совсем наоборот. С другой стороны, причислять к «Западу» славян и православных тоже как-то не принято.

В принципе-то пытаться так или иначе очертить «Запад» дело заведомо безнадёжное, поскольку и за пределами России, славянства или православного мира никакой целостностью традиционная Европа никогда не обладала. В свое время Н. Я. Данилевский, оспаривая тезис о борьбе между Европой и Азией, справедливо отмечал, что такой борьбы «и существовать не могло, потому что Европа, а еще более Азия, никогда не сознавали себя чем-то целым, могущим вступать в борьбу» (что, однако, странным образом не помешало ему рассуждать о противопоставлении «целой» Европы России).

Как бы там ни было, а очевидно, что «остальная» Европа никогда не ополчалась ни против России, ни против православия, ни против славянства, равно как ни православный мир, ни славянство никогда совместно против остальной Европы в целом или хотя бы отдельных ее стран никогда не воевали. Однако, об «извечном противостоянии» было бы вполне правомерно говорить и в том случае, если бы обнаружилось, что те или иные крупные западноевропейские страны на протяжении своей истории тратили свои усилия преимущественно на борьбу с Россией (православием, славянством), либо, напротив, для России (славянства, православного мира) основным содержанием их истории была борьба с западноевропейскими странами.

Посмотрим, насколько это верно, были ли на протяжении всей «традиционной» постантичной истории (до начала XX в.) для романо-германских государств преимущественными врагами страны славянские, для католических и протестантских стран Европы — государства православные и была ли для каких-либо западноевропейских стран преимущественным врагом Россия. И наоборот.

Что касается «славянско-православного» аспекта, то даже, что называется «невооруженным взглядом» видно, что славянские племена и государства или государства православные никогда и никакой геополитической общности не образовывали, а если некоторым из них и доводилось объединяться в совместной борьбе — то всегда против Турции, но никогда против романо-германских, католических или протестантских европейских стран.

Поскольку же вооруженное противостояние обычно имеет место с ближайшими соседями, то неудивительно, что и в раннее средневековье славянские племена и протогосударства гораздо чаще воевали между собой, чем с германскими. Католическая Чехия очень рано стала частью германской общности, входя в состав Священной Римской империи, причем ее глава был одним из семи курфюрстов, избиравших германского короля и императора. Католическая Польша примерно в равной мере враждовала как с немецкими государственными образованиями, так со Швецией и Русью, а позже Турцией.

Обе православные славянские страны — Сербия и Болгария на протяжении своей независимой истории в качестве основного врага имели православную же Византию, а в XIV в. и после освобождения в XIX в. — Турцию; на IX–XIV вв. приходится 66 лет болгаро-византийских и 20 лет сербо-византийских войн, по 14 лет войн этих стран с турками, одно столкновение между собой и одно — с Венгрией (у Болгарии еще одно с Латинской империей). Для православных неславянских Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии) и возникшей из них Румынии главным врагом была та же Турция.

Что же касается Византии, то для этого «столпа православия» основной противник всегда был на Востоке. Это арабы в VII в. лишили ее двух третей ее афро-азиатских владений, и это турки-сельджуки в X в. низвели ее до уровня одной из второстепенных европейских держав. В эпоху своего наибольшего могущества (VI–VIII вв.) ей случалось, конечно, воевать и с варварскими германскими государствами (причем практически всегда Византия была нападающей стороной), но на 27 лет войн за это время с вандалами, готами, франками и др. приходится 30 лет войн с болгарами, около 30 со славянами, 25 с аварами, более 20 с народами Палестины и Северной Африки, около 40 с Ираном и почти 50 с арабами. Позже, в IX–XIV вв. на немногим более 70 лет войн с Венгрией, Венецией, сицилийскими норманнами и государствами крестоносцев приходится (помимо около 90 лет войн с болгарами и сербами) более 30 лет войн с арабами, более 20 с печенегами и половцами, более 10 с кавказскими и киликийскими армянами, около 50 с турками-сельджуками и столько же — с турками-османами, которые в следующем столетии и положили конец существованию Византии.

Но то, что на протяжении своего существования более 80 % своих усилий Византия тратила на борьбу с восточными, а не с западными противниками, мало кому известно, а про разгром Константинополя крестоносцами в 1204 г. знают все, причем событие это преподносится как

одно из доказательств борьбы «латинства» с православием. Между тем, богословская полемика тогда не только не была поводом к вражде, но, напротив, не мешала обращаться за помощью против общего врага христианства. С исламом Византия не полемизировала. Она с ним воевала. Причем в византийских войсках давно уже сражались западные рыцари, и именно обращение императора Алексея I за помощью к папе и европейским государям в 1090–1091 г. послужило поводом для начала Крестовых походов.

События же 1204 г. вообще ни малейшего отношения к розни между католичеством и православием не имели. Участники IV крестового похода вмешались в междоусобную борьбу в Византии на стороне Исаака II (свергнутого и ослепленного его братом Алексеем III) по просьбе его сына Алексея, взявшись восстановить того на престоле за 200 тыс. марок, что и было сделано. Однако Исаак и Алексей, пытаясь собрать обещанную сумму, были вновь свергнуты, а рыцарская вольница, не получив своих денег, взяла и разграбила Константинополь, поделив затем между собой византийские земли. Совершенно очевидно, что вероисповедные отличия тут не при чем. Тем более, что в ходе того же похода в конце 1202 г. рыцари точно так же и по тем же материальным соображениям вмешались в борьбу между Венецией и Венгрией (также участницами крестоносного движения) и точно так же взяли и разграбили Задар на далматинском побережье. Но про штурм Задара никто не помнит, а штурм Константинополя последующей традицией был превращен в «знаковое» событие.

Но вернемся к России. В домонгольский период «держава Рюриковичей» была таким же европейским государством, что и существовавшие западнее нее (с которыми она заключала династические браки). Сопоставимая по значению с Франкской или позже Священной Римской империями, она с ними никогда не враждовала. И вообще о ее противостоянии Западу речь идти не могла, поскольку основные противники Руси и в то время были на юге и на востоке. За эти столетия известно около 30 столкновений с поляками (в т. ч. случаи, когда русские князья ходили в Польшу в помощь польским королям против их недругов и наоборот, поляки поддерживали русских князей), вдвое меньше — с венграми, да дюжина столкновений с рыцарями Тевтонского ордена, с начала XIII утвердившегося в Прибалтике. Однако все они вместе взятые составляют лишь примерно одну пятую часть всех военных столкновений Руси, ибо за то же время произошло полтора десятка столкновений Руси с Византией и дунайскими болгарами, десяток походов на восток: против хазар, на Каспий и Северный Кавказ, более 20 столкновений с волжскими

булгарами и мордвой, около 30 с летто-литовскими племенами, около 40 — с прибалтийскими финно-уграми (чудь, емь) и, наконец, более 100 столкновений со степными кочевниками (печенегами, торками, но главным образом половцами).

Для периода ордынского ига говорить о борьбе с Европой представляется вовсе неуместным, поскольку ни единого, ни полностью самостоятельного русского государства не существовало. Сохранившие самостоятельность княжества вели войны со своими западными соседями, но с центром и северо-востоком русских земель они никакой политической связи не имели. Галицкое княжество на юге воевало с Польшей, Венгрией и Чехией, но оно было равным им субъектом международных отношений в этом регионе, и эти страны больше воевали между собой, чем с ним. Новгород и Псков вели постоянную пограничную борьбу с Орденом и шведами (в которой всем известные победы Александра Невского были лишь эпизодами; подобных столкновений за 1240–1480 гг. произошло более 80, причем ряд вторжений новгородцев в Прибалтику производит гораздо более сильное впечатление).

Но это были обычные локальные войны, и нет никаких оснований приписывать орденским рыцарям какие-то далеко идущие цели в отношении всей Руси (тем паче, что силы подобным целям были совершенно несоизмеримы). Вообще, объектами крестовых походов немцев, шведов и датчан в XII–XIII вв. были языческие прибалтийские племена (финны, ливы, эсты, пруссы), с которыми и велись многолетние ожесточенные войны, а никак не русские княжества. Кстати, и для Тевтонского ордена основными противниками были вовсе не псковичи и новгородцы, а Польша и Литва (которые и нанесли ему в 1410 г. сокрушительный удар под Грюнвальдом).

При этом все столкновения с поляками, венграми, шведами и немцами за два с половиной века татарского ига вместе взятые составят лишь треть от всех столкновений русских княжеств за этот период (в т. ч., не считая междоусобных, около 80 с Литвой, около 20 с финно-угорскими племенами, около 90 с татарами). С конца XV столетия и до Смуты русское государство четырежды воевало со Швецией, трижды с Литвой и с Ливонским орденом и дважды с Польшей (в т. ч. последний раз с уже объединенным польско-литовским государством). Однако основным содержанием русской внешней политики в это время, поглощавшим большую часть сил и средств, была все-таки борьба с остатками Орды — с Казанским, Астраханским и Крымским ханствами (свыше 70 столкновений за это время), походы на восток в вятские и югорские земли, завоевание

Сибири. Ну и, конечно, мысль о том, что в средние века для Европы как таковой, потерявшей миллионы человек в многих сотнях войн между европейскими государствами, хоть какое-то значение имела Россия, может быть плодом только шизофренического сознания.

С тех пор же, как после Смуты Россия начинает все более активно участвовать в общеевропейской политике, она, как уже говорилось, не только не воевала в одиночестве против европейских коалиций, а, напротив, обычно входила в состав таких коалиций, создаваемых против какой-либо из европейских стран.

Уже в 1496–1497 гг. Иван III воевал со Швецией в союзе с Данией; и Ливонская война Ивана Грозного, и борьба за Смоленск в 1632–1634 гг. были прямым участием в общеевропейской политике, причем в последнем случае — непосредственным участием в Тридцатилетней войне, где Россия оказалась на стороне антигабсбургской коалиции. В 1656–1658 гг. Россия принимала участие в т. н. «1-й Северной войне» на стороне Польши, Дании и Австрии против Швеции и Бранденбурга, в Северной войне 1700–1721 гг. Россия воевала против Швеции в союзе с Данией, Саксонией и Польшей, в 1733–1735 Россия участвует в войне Франции и Австрии за польское наследство наряду с Сардинией и Испанией, в 1756–1763 — в Семилетней войне между Пруссией и Австрией (наряду с Англией, Францией, Швецией, Испанией и Саксонией), в 1788–1790 гг. воюет со Швецией в союзе с Данией, разделы Польши в конце XVIII в. происходили в союзе с Австрией и Пруссией. Начиная с 1798 до 1815 г. Россия участвовала почти во всех коалициях против Франции (а в 1807–1812 находилась в состоянии войны с Англией, будучи, напротив, союзницей Франции), в 1849 г. помогла Австрии подавить венгерский мятеж.

Особо следует сказать о коалициях антитурецких, ибо если какую-то страну и можно было назвать «врагом Европы», то эта честь принадлежит, конечно, Османской империи. Турки с самого начала XIV в. постоянно находились в состоянии войны с каким-либо европейским государством или коалицией последних (появление турок на Балканах и продвижение их в глубь Европы создали для последней угрозу, для ликвидации которой Австрия, Венгрия, Сербия, Польша, Чехия, Валахия, немецкие государства, Венеция и другие итальянские государства, Испания не раз создавали коалиции и устраивали общеевропейские крестовые походы). С этого времени за первые 300 лет мирными были только 75, в XVII в. войны с турками шли 40 лет (причем Крымские 1687–1689 и Азовские 1695–1696 гг. походы были формой участия России в войне 1683–1699 гг. против Турции Австро-польско-венецианской коалиции). В XVIII в. без участия

России европейцы воевали с Турцией только в 1714 (черногорское восстание) и 1714–1718 гг. (Австрия и Венеция). Последней акцией такого рода стало Наваринское сражение 1827 г., когда европейские страны совместно выступили в поддержку независимости Греции, и русский флот вместе с английским и французским полностью уничтожил турецкий.

«Один на один» России случалось воевать только с двумя своими европейскими соседями — Польшей (1613–1618, 1632–1634, 1654–1655 и 1658–1667) и Швецией (1614–1617, 1741–1743 и 1808–1809) — странами, которые в XVII в. были между собой злейшими врагами (они воевали в 1598–1605, 1621–1629, 1655–1660 гг.), и обнаружить в войнах с ними «противостояние России Европе» никак нельзя. Так что и в XVII–XIX вв. невозможно уловить даже намека на какую-то антироссийскую заостренность политики европейских держав. Лишь в середине XIX в., когда Россия несколько десятилетий после 1815 г. почивала на лаврах первой по могуществу державы Европы и собиралась в 1853 г. окончательно решить «Восточный вопрос», ей пришлось столкнуться с вооруженным противодействием некоторых из них (Англии, Франции и примкнувшей к ним Сардинии), но это был единственный случай такого рода. Вообще участие России в европейских войнах (за исключением периода 1799–1814 гг.) в сравнении с общим их количеством было крайне скромным. С середины же XIX в. до Первой мировой войны, когда в Европе произошло до десятка войн (в т. ч. такие крупные как Австро-франко-итальянская 1859, Австро-прусская 1866 и Франко-прусская 1870–1871) Россия ни с одной европейской страной не воевала.

Да и нетрудно заметить, что все основные европейские государства за 300 лет в XVII–XIX вв. либо вообще никогда не воевали с Россией, либо столкновения с ней были редкими эпизодами и занимали весьма скромное место в их бурной военной истории. Если учитывать все случаи столкновений (даже в составе коалиций), то окажется, в частности, что Германия (Пруссия) сталкивалась с Россией лишь однажды — в Семилетней войне, тогда как, например, с Францией — в 9 крупных войнах, с Австрией — в 5 и т. д.; Австрия — вообще ни разу (тогда как с Францией — 13 раз, с итальянскими государствами — 11, с Пруссией — 5, с другими немецкими государствами — 5, с Испанией — 4, со Швецией — 3 и т. д.; Англия — дважды (с Францией — 13, с Испанией — 12, с Голландией — 6, с германскими государствами — 9 и т. д.); Франция — 7 раз (тогда как с Англией и Австрией — по 13 раз, с Испанией — 10, с Пруссией — 9, с итальянскими государствами — 5, со Швецией и Голландией — по 4, с Португалией — 3 и т. д.). Даже для соседей России,

наиболее часто с ней воевавших — Швеции и Польши войны с Россией вовсе не были основным занятием. Швеция воевала с Россией 6 раз, но с другими странами за это время — втрое больше (в т. ч. по 5 раз с Польшей и Данией, 4 с Францией, 3 с Австрией и др.), Польша — 9 раз (включая мятежи XIX в.), но и это менее половины всех ее войн за это время.

Соответственно, и людские потери (убитые и умершие от ран и болезней), понесенные европейскими странами в войнах с Россией (85 % их приходилось на участие России в европейских коалициях) составляли крайне незначительную часть — примерно 10 % общих их потерь за это время (примерно 140 тыс. в XVIII и 760 тыс. в XIX столетиях из 7,8 млн. всех потерь за эти столетия). В то время как в войнах между собой европейские государства потеряли в XVII в. свыше 2,6 млн. чел., в XVIII в. — около 3,8 млн. и в XIX в. свыше 3,1 млн. чел. Причем ряд европейских войн отличался чрезвычайной ожесточенностью (особенно между протестантами и католиками в XVI–XVII вв.). В современном общественном сознании как катастрофические расцениваются потери Второй мировой войны, когда основные участники потеряли до 10 % населения, однако, например, в Тридцатилетней войне Германия (Священная Римская империя) лишилась 50 % населения, причем отдельные области — до 70 (в Чехии, например, из 2,5 млн. жителей осталось 0,7) и даже 90 % населения.

Посмотрим теперь, кому же действительно «противостояла» Россия в это время, на войны с кем тратила свои ресурсы. Как и в прежние времена, с XVII в. до Первой мировой войны, это были Юг и Восток. С Турцией России приходилось сталкиваться в 1632–1641, 1674, 1676–1678, 1711–1736–1739, 1768–1774, 1787–1791, 1802–1812, 1827, 1828–1829, 1853–1856 и 1877–1878 гг., не говоря о том, что XVII столетие прошло в постоянной борьбе с вассальными Турции крымскими татарами, опустошавшими южные окраины (урон, нанесенный ими, был огромен; в начале XVII в. иранский шах, знакомый с состоянием восточных рынков рабов, выражал удивление, что в России еще оставались жители; только за первую половину XVII в. было угнано из России не менее 150–200 тыс. чел., не меньшими были потери русского населения на территории Речи Посполитой, куда за то же время было совершено 76 набегов). С Ираном Россия воевала четырежды (1722–1734, 1796, 1803–1813, 1826–1828). С конца XVIII в. Россия ведет войны на Кавказе, а с конца 30-х годов XIX в. — в Средней Азии (первая экспедиция куда была отправлена еще в 1717 г.), наконец, продолжается освоение Сибири и Дальнего Востока, в ходе которого приходилось иметь столкновения как с монголами, так и с

Китаем (1647–1658 и 1685–1686), а на рубеже XX в. Россия приняла участие в Китайском походе 1900 г. и Русско-японской войне.

Понесенные потери (убитыми и умершими от болезней), которые для XVIII–XIX вв. довольно хорошо известны, также дают представление о «приоритетах». Шведские войны XVIII–XIX вв. обошлись России примерно в 130 тыс. чел., польские — менее 50 тыс., участие в Семилетней войне — 120 тыс., в наполеоновских войнах — около 460 тыс. (всего около 760 тыс.). В то же время в одних турецких войнах погибло не менее 740 тыс. чел., в экспедициях на Кавказе, Средней Азии и иранских войнах в XVIII в. 150 тыс., в иранских войнах XIX в. не менее 30 тыс., в кавказских войнах XIX в. — 145, в Средней Азии — около 10 тыс., в Сибири и на Дальнем Востоке — около 60 тыс. (в т. ч. 51 тыс. в Русско-японской войне), т. е. всего на южных и восточных рубежах примерно 1140 тыс. чел.

Так что никакой особой враждебности «Европы» к России на деле не просматривается, налицо как раз традиционная вражда ее с Востоком, и прежде всего с Турцией. Другое дело, что кому-то это может показаться огорчительным, а такая история — «неправильной», поскольку из таких-то и таких-то соображений дружить следовало не с теми, и воевать — не с теми. Тому, кто по каким-то причинам особенно не любит, допустим, немцев, или католиков, или англичан, или протестантов, представляется, что именно с соответствующими странами России и следовало бы бороться. Хотя более логичной и естественной выглядит точка зрения, согласно которой, напротив, к тем или иным странам, нациям и конфессиям следовало бы относиться в зависимости от того, какую роль они реально играли в российской истории.

Конечно, над антипатиями обычно давит и ситуация настоящего момента. Обострение отношений с той или иной страной или группой стран или устойчиво плохие с ними отношения на протяжении жизни конкретного поколения людей порождают соблазн перенести эту ситуацию и в прошлое, придать ей «естественное» оправдание как явлению «онтологическому». Тогда и выхватываются из истории отдельные «правильные» события и возводятся в ранг «судьбоносных», в то время, как сколь угодно большое число однопорядковых им «неправильных» игнорируется.

Кроме того, людям, посвятившим себя служению определенной идее, обычно свойственно придавать преимущественное значение «слову», а не «делу», а также принимать первое за второе. Были ли, скажем, во второй половине XIX в. в России основания подозревать Европу во враждебности? Были, потому что европейская пресса того времени была полна

антироссийскими статьями, а общественное мнение относилось к России более чем прохладно. Но если посмотреть на суть претензий к Европе того же Данилевского, видно, что справедливы они именно в отношении общественного мнения (обвинения России в том, что она есть «завоевательное государство», «гасительница свободы», «противница прогресса» и т. п.), но никак не в отношении реальной политики европейских государств.

Подобное отношение существовало и за сотню лет до того, но европейские правительства им никогда (до 20-х годов XX в. во всяком случае) не руководствовались. Причем «общественное мнение» в разных европейских странах было примерно одинаково (между прочим, точно такое же с 60-х годов XIX в. существовало и в самой России), что не мешало одним из них дружить с Россией против других в зависимости от реальных интересов. Это и неудивительно, учитывая, что в то время те, кто определял политику государств и те, кто создавал общественное мнение, были людьми совершенно разными. Так что «фобии» к реальной истории и политике имели весьма отдаленное отношение.

Разумеется, с третьего десятилетия XX в. «общественное мнение» (а правильнее будет сказать — те, кто его создает) в результате «восстания масс» получило гораздо большие возможности влиять на государственную политику, да и ряды тех, кто ее определяет, в огромной мере пополнились теми, кто ранее создавал «общественное мнение». Однако и до настоящего времени заметно, что «мнение» и политика вещи все-таки разные.

Но и сейчас «православно-патриотические круги», судя по себе, часто путаются относительно истинных мотивов тех или иных действий западных стран. Весьма наивно, в частности, предполагать, что, допустим, отношение тех к сербам во время распада Югославии и косовских событий вызвано ненавистью к их православности. Очевидно же, что к православности греков, давно состоящих в НАТО или болгар и румын, туда стремящихся (а равно самостийных украинцев), никаких претензий нет. В данном случае дело не в религии, а в политике — желании или нежелании принять определенные правила поведения.

Между прочим, и когда говорят о враждебности современных европейских кругов к русскому православию, речь на самом деле идет не о вражде к нему «европейских религий» — католичества или протестантизма. Это проявление не отношения к православию инославных конфессий, а отношения секулярных европейских кругов к религии как таковой — к тенденциям возрождения ее претензий на политическую роль в обществе, каковые просматриваются в России, но не просматриваются на

Западе. Нет ни малейшего сомнения, что если бы подобные поползновения вдруг обнаружила бы в самой Европе католическая церковь или протестантские фундаменталисты, реакция была бы несравненно более острой.

Любопытно, что в иных случаях «антизападнический» настрой, поддерживаемый избыточной риторикой православных кругов против инославия, оборачивается против самого православия. Если до сих пор обычным было третирование христианства частью «патриотических» кругов как навязанной нам «жидовской веры» (с соответствующими симпатиями к славянскому язычеству), то в последнее время проклюнулась идея о том, что христианство есть чуждая «западная вера» и было навязано Руси... западными крестоносцами (а родная — то ли ислам, то ли что-то, ассоциируемое с драконом). Непосредственным источником, видимо, послужили писания группы сумасшедших математиков во главе с Фоменко, но связь последних с «неоевразийскими» поползновениями совершенно очевидна.

Подыскивание «исторических корней» современным идейно-политическим «антизападным» фобиям представляется довольно нелепым еще вот по какой причине. На вопрос, в чем состоит суть «европейства», ответов может быть много — каждый ответит в зависимости от собственных предпочтений и антипатий. Но что совершенно очевидно, так это то, что современный «Запад» или «Европа» не имеет, кроме названия и территории, почти ничего общего с понятиями и представлениями традиционной европейской культуры и государственности.

Для тех, кого наши «патриоты» почитают наследниками Людовика XIV, Генриха VIII, Наполеона III, королевы Виктории или Бисмарка, подобное наследие — примерно то же, что для советской власти «проклятый царизм». К людям, которым бы вздумалось пропагандировать связанные с ними культурные, социальные или политические реалии (а тем паче руководствоваться в своей позиции соответствующими предпочтениями), нынешняя «Европа» отнеслась бы куда более истерично, чем к политикам типа Ле Пена, иначе как «фашизм» это бы не квалифицировалось.

И социально, и психологически современная «европейская демократия» гораздо ближе ее нынешним советско-православным ненавистникам, чем традиционной Европе, с которой она не более схожа, чем какое-нибудь совковое «евразийство» с культурными и политическими традициями Российской империи. Грань проходит не между «европейством» и «русскостью», а между общей для всех европейских

стран от Португалии до России и от Норвегии до Греции великой цивилизацией белого человека и ублюдочной «цивилизацией масс», поправшей как инославие, так и православие, традиционную государственность как России, так и западных стран.

2004 г.

Забытая война

Войну, начавшуюся 90 лет назад, современники называли Второй Отечественной, а также Великой войной. Но парадоксы общественного сознания таковы, что уже через несколько десятилетий, Первая мировая война оказалась не только в тени Второй, но была почти полностью забыта.

Между тем, уступая последней по абсолютным размерам потерь, для судеб мира она имела никак не меньшее, а, пожалуй, гораздо большее значение, чем Вторая. Не говоря о том, что без нее не было бы и Второй (в результатах 1918-го года были заложены семена 1939-го), именно она открыла новую, продолжающуюся и поныне, эпоху в мировой истории. И не только потому, конечно, что в одной из воевавших стран группе международных преступников, руководствующихся утопической идеологией, удалось осуществить свой безумный эксперимент — в конце — концов, эксперимент этот, унеся еще несколько десятков миллионов жизней, провалился и остался в прошлом, а коммунистическая идеология обанкротилась.

Но именно война 1914–1918 гг. не только неузнаваемо изменила политическую карту Европы и вывела на мировую сцену новую великую державу в лице США, но вызвала во всех воевавших странах такие внутренние изменения — социальные, психологические и культурные, которые провели резкую грань между обществом XX века и предшествующих столетий (и в этом смысле известное выражение, что «XIX век кончился в 1914 году» вполне справедливо). Новейшая история действительно начинается с Первой мировой войны.

У нас в стране этой войне и ее героям особенно «не повезло». Усилиями большевистской пропаганды Вторая Отечественная превратилась в массовом сознании в позорную «империалистическую», так что подвиги на ней русских воинов не то что даже были забыты, а вообще как бы не имели права на существование. Исходя из сущности большевистской доктрины, принципиально интернациональной и антироссийской, воевать за геополитические интересы своей державы (а тем более Российской империи) было, понятно, проявлением «несознательности», а делать это сознательно — преступлением. Поэтому участие в той войне (равно как и вообще служба в «старой армии») в «анкетном» смысле было отягчающим фактором.

Даже когда ленинским последышам, припертым к стене логикой

истории, пришлось на время забыть о мировой революции и приняться изображать из себя патриотов, Первая мировая так и не была «реабилитирована». С известного времени стало можно прославлять героев Полтавы, Измаила и Бородина, с некоторой оглядкой («николаевский режим») защитников Севастополя, на высшем пике «сталинского ампира» — даже Порт-Артура, но не Первой мировой.

И это совершенно понятно, ибо в этой войне большевики фактически участвовали — на противоположной стороне. И чем большее место в советской пропаганде занимала «слава русского оружия», тем более неприглядно выглядели бы действия большевиков против этого оружия в 1914–1917 гг.

Ленин, как известно, призывал не только к поражению России в войне с внешним врагом, но и к началу во время этой войны войны внутренней — гражданской. Более полного воплощения государственной измены трудно себе представить, даже если бы Ленин никогда не получал немецких денег (теперь, впрочем, уже достаточно широко известно, что получал — как именно и сколько). При этом призывы Ленина к поражению России не оставались только призывами. Большевики под его руководством вели и практическую работу по разложению русской армии, а как только представилась первая возможность (после февральской революции), их агентура в стране приступила и к практической реализации «войны гражданской» — натравливанию солдат на офицеров и убийствам последних.

Естественно, что главными врагами большевиков были те, кто вел Россию к победе, после которой о планах «революционного переустройства» пришлось бы надолго, если не навсегда, забыть. Поэтому если во всех других странах, в том числе и потерпевших поражение, подавляющее большинство генералов и офицеров окончили свои дни, окруженные почетом и уважением, часто — в глубокой старости, то русских ждала совсем другая участь.

Во время той войны многие издания помещали портреты убитых, и, взглядываясь в обрамленные траурными рамками лица, трудно отделаться от ощущения, что этим людям, в сущности, очень повезло. Как-никак, они пали со славой в рядах своих частей, умерев с убеждением, что Россия осуществит свои исторические задачи, были с честью погребены и оплаканы. Им не пришлось испытать позора и унижения 1917 года, не пришлось, как десяткам тысяч их соратников, окончить свои дни с кляпом во рту и пулей в затылке в наспех вырытых рвах и зловонных от крови подвалах чрезвычайек, умереть, лишенным даже пенсии, от голода или

влачить нищенское существование в изгнании.

Жестокий парадокс: Россия — важнейший член Антанты — одержавшей победу коалиции, столько для этой победы сделавшая и не раз спасавшая своих союзников, — была не только лишена ее плодов, но и исчезла как государство, раскрыта на «национальные» части и превращена в площадку для экспорта «мирового пожара». Этот революционный «удар в спину», когда победа была уже совсем близка, — поистине одна из самых трагических насмешек истории.

Сейчас, когда плоды большевистского расчленения страны сказались в полной мере и то, что называется Россией, пребывает в границах XVI века, и даже нефтью торговать не может иначе как прощая ее наглое воровство лимитрофными «суверениями», а одна 3-я турецкая полевая армия обладает большими возможностями, чем все российские сухопутные войска, трудно представить себе, что 90 лет назад вопрос стоял об обладании Константинополем и Черноморскими проливами, и до осуществления заветного лозунга «Крест на Святую Софию!» оставалось едва ли более года.

Ведь Россия не проигрывала той войны. Она просто не дожидая до победы, перестав существовать, уничтоженная внутренней смутой. Между тем, к 1917 г. русский фронт был совершенно благополучен, дела на нем обстояли никак не хуже, чем на западе и не существовало ни малейших оснований ни чисто военного, ни экономического порядка к тому, чтобы Россия не продержалась бы до конца войны (тем более, что не будь Россия выведена из войны, война бы кончилась гораздо раньше). Русская промышленность, разумеется, имела худшие шансы быстро приспособиться к войне, чем германская, но к лету 1916 г. кризис был преодолен, от снарядного голода не осталось и следа, войска были полностью обеспечены вооружением и в дальнейшем его недостатка не ощущалось (его запасов еще и большевикам на всю Гражданскую войну хватило).

В ту войну противнику не отдавали полстраны, как в 1941-42 гг., неприятельские войска вообще не проникали в Россию дальше приграничных губерний. Даже после тяжелого отступления 1915 г. фронт никогда не находился восточнее Пинска и Барановичей и не внушал ни малейших опасений в смысле прорыва противника к жизненно важным центрам страны (тогда как на западе фронт все еще находился в опасной близости к Парижу). Даже к октябрю 1917 г. если на севере фронт проходил по российской территории, то на юге — по территории противника (а в Закавказье — так и вовсе в глубине турецкой территории)

В той войне русские генералы не заваливали врага, как сталинские маршалы 30 лет спустя, трупам своих солдат. Боевые потери русской армии убитыми в боях (по разным оценкам от 775 до 908 тыс. чел.) соответствовали таковым потерям Центрального блока как 1:1 (Германия потеряла на русском фронте примерно 300 тыс. чел., Австро-Венгрия — 450 и Турция — примерно 150 тыс.). Россия вела войну с гораздо меньшим напряжением сил, чем ее противники и союзники.

Выставив наиболее многочисленную армию из воевавших государств, она, в отличие от них не испытывала проблем с людскими ресурсами. Напротив, численность призванных была избыточной и лишь увеличивала санитарные потери (кроме того, огромные запасные части, состоявшие из оторванных от семей лиц зрелого возраста служили благоприятной средой для революционной агитации). Даже с учетом значительных санитарных потерь и умерших в плену общие потери были для России несравненно менее чувствительны, чем для других стран (заметим, что основная масса потерь от болезней пришлась как раз на время революционной смуты и вызванного ей постепенного развала фронта: среднемесечное число эвакуированных больных составляло в 1914 г. менее 17 тыс., в 1915 — чуть более 35, в 1916 — 52,5, а в 1917 г. — 146 тыс. чел.).

Доля мобилизованных в России была наименьшей — всего лишь 39 % от всех мужчин в возрасте 15–49 лет, тогда как в Германии — 81 %, в Австро-Венгрии — 74, во Франции — 79, Англии — 50, Италии — 72. При этом на каждую тысячу мобилизованных у России приходилось убитых и умерших 115, тогда как у Германии — 154, Австрии — 122, Франции — 168, Англии — 125 и т. д.), на каждую тысячу мужчин в возрасте 15–49 лет Россия потеряла 45 чел., Германия — 125, Австрия — 90, Франция — 133, Англия — 62; наконец, на каждую тысячу всех жителей Россия потеряла 11 чел., Германия — 31, Австрия — 18, Франция — 34, Англия — 16. Добавим еще, что едва ли не единственная из воевавших стран, Россия не испытывала никаких проблем с продовольствием. Германский немислимого состава «военный хлеб» образца 1917 г. в России и присниться бы никому не мог.

При таких условиях разговоры о стихийном «недовольстве народа» тяготами войны и «объективных предпосылках» развала выглядят по меньшей мере странно: в любой другой стране их должно бы быть в несколько раз больше. Так что при нормальных политических условиях вопрос о том, чтобы «продержаться» даже не стоял бы. Напротив, на 1917 г. русское командование планировало решительные наступательные операции.

Но, как известно, не всех такое течение событий устраивало. И уже после февраля все резко изменилось. Пользуясь нерешительностью и непоследовательностью Временного правительства, ленинцы весной, летом и осенью 1917 года вели работу по разложению армии совершенно открыто, вследствие чего на фронте не прекращались аресты, избиения и убийства офицеров. К ноябрю несколько сот офицеров было убито, не меньше покончило жизнь самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800), многие тысячи лучших офицеров смещены и изгнаны из частей. Армия стала практически небоеспособна. Величайших трудов стоило просто удерживать войска на позициях, нести боевую службу, выделять наряды, ремонтировать позиции и т. д.

К середине декабря фронта как такового уже не существовало, по донесению начальника штаба Ставки, «При таких условиях фронт следует считать только обозначенным. Укрепленные позиции разрушаются, занесены снегом. Оперативная способность армии сведена к нулю... Позиция потеряла всякое боевое значение, ее не существует. Оставшиеся части пришли в такое состояние, что боевого значения уже иметь не могут и постепенно расползаются в тыл в разных направлениях». Учитывая эти обстоятельства, говорить о «вынужденности» унижительного Брестского мира не вполне уместно, коль скоро заключавшие его сознательно довели армию до такого состояния, при котором других договоров и не заключают. Заключение его выглядит, скорее, закономерной платой германскому руководству за помощь, оказанную большевикам во взятии власти. Другое дело, что когда «мавр сделал свое дело» и российской армии больше не было, немцы не склонны были дорожить Лениным, и он был готов на все ради сохранения власти.

Этот договор вычеркивал Россию из числа творцов послевоенного устройства мира, а для жителей союзных с ней стран однозначно означал предательство, что пришлось почувствовать на себе множеству российских граждан, оказавшихся в Европе в то время и попавших туда после Гражданской войны, нисколько не повинным в ленинской политике. Жертвы и усилия России в мировой войне были обесценены одним росчерком пера, и их плодами предоставлено было пользоваться бывшим союзникам.

2004 г.

Украина и Белое движение

В свете последних событий на Украине, возможно, нелишне будет вспомнить обстоятельства возникновения украинской «самостийности» и ее взаимоотношениях с силами, отстаивавшими единство России.

До 1-й мировой войны вопрос об украинском сепаратизме не стоял, тем более не было ни малейших проявлений такого рода среди населения Малороссии (даже в 1918 г. германские представители доносили, что, несмотря на соответствующую пропаганду, не удастся искоренить из его сознания убеждение о принадлежности России). Очагом «самостийности» со второй половины XIX в. были украинские земли, находящиеся под властью Австрии — Галиция (да и то — лишь воспитанная австрийцами их интеллигенция, масса же населения всегда тяготела к России). С началом войны в Вене под эгидой австрийского Генштаба был создан «Союз Визволения Украины», целью которого был отрыв Украины от России и, по объединении ее с Галицией, создание автономного образования в составе Австро-Венгрии, но пропаганда его на российскую армию никакого успеха не имела, и ни одного инцидента на этой почве до 1917 в армии не было.

Следует заметить, что образовавшая в Киеве после февральских событий т. н. Центральная Рада была учреждением вполне самочинным, образованным явочным порядком «депутатами» от новосозданных на революционной волне групп, кружков и мелких организаций, объявивших себя партиями, и население Украины ни в малейшей степени не представляла (никаких выборов в нее не было; на выборах же в органы городского самоуправления летом 1917 г. «сознательные украинцы» полностью провалились, не получив ни одного места; общероссийские партии получили 870 мест, федералисты — 128). Создание же украинских «вооруженных сил» носило и вовсе характер скверного анекдота: собравшаяся в Киеве толпа дезертиров устроила митинг, на котором, дабы избежать отправки на фронт, потребовала признать себя «Первым украинским полком», с чем Рада и согласилась. Понятно, что эта карикатурная «власть» и последующие события могли стать возможны только в условиях вакуума власти в результате тотального развала российского государственного организма в те месяцы.

По своему политическому облику Рада и созданное ею летом 1917 г. «правительство» (т. н. Генеральный секретариат) были крайне левыми (в основном социалистами-революционерами и социал-демократами), что и

обусловило их поведение во время Гражданской войны. В этом смысле разница между ними и большевиками была крайне невелика, и вопрос стоял лишь о «месте под солнцем». После большевистского переворота радовцы некоторое время пытались даже соперничать с большевиками в роли организатора «социалистического правительства для всей России». Но большевиками было образовано параллельное «украинское правительство» в Харькове, и в конце декабря на Украине образовалось два правительства, обвинявших друг друга в «контрреволюционности».

Однако большевики, в отличие от опереточных войск Рады, опирались на реальную силу Красной гвардии. В декабре 1917 г. Петлюра, чтобы держать в руках по крайней мере Киев, даже обратился за содействием к В. В. Шульгину для привлечения русских офицеров в украинские части, изъявляя намерение порвать с большевистскими тенденциями Винниченко и австрофильскими Грушевского и утверждая, что «имеет только двух врагов — немцев и большевиков и только одного друга — Россию». Но соглашение не состоялось, да и было поздно: к середине января 1918 г. подвластная Раде территория ограничивалась Киевом, небольшой территорией к северо-западу от него и несколькими уездами Полтавской и Черниговской губ.

Единственным выходом для Рады было заключить соглашение с немцами (которые 12 января признали право за ее делегацией вести переговоры самостоятельно от большевиков), но т. к. Германия формально не могла заключать договор с государством, которое еще само себя не провозгласило независимым, то 22 января «самостийность» в пожарном порядке и была провозглашена — 39 украинских марксистов (члены Малой Рады) учредили «Украинскую Народную Республику».

Через три дня Рада была выброшена из Киева подошедшими большевиками, но сами самостийники пострадали мало. Удар большевиков обрушился на находившихся в городе русских офицеров, которых было перебито около 5 тыс. чел.

1 марта большевики были изгнаны немцами, с которыми вернулась и Рада. Ею брезговали не только противники немцев (французский консул считал, что «нет ничего, кроме банды фанатиков без всякого влияния, которая разрушает край в интересах Германии»), но и представитель австрийского командования доносил в Вену: «Все они находятся в опьянении своими социалистическими фантазиями, а потому считать их людьми трезвого ума и здоровой памяти не приходится. Население относится к ним даже не враждебно, а иронически-презрительно».

Естественно, что с еще большим отвращением относились к

«самостийникам» участники зарождавшегося Белого движения. Полковник М. Г. Дроздовский, пробивавшийся со своим отрядом с Румынского фронта на Дон по югу Украины, писал в своем дневнике: «Немцы — враги, но мы их уважаем, хотя и ненавидим... Украинцы — к ним одно презрение как к ренегатам и разнузданным бандам».

Однако вскоре случилось так, что Украина стала если не одним из очагов, то одним из источников кадров Белого движения. 30 апреля 1918 г. правые круги (опирающиеся на крепких крестьян и землевладельцев) провозгласили гетманом генерал-лейтенанта П. П. Скоропадского, а Раду разогнали; УНР сменилась «Украинской Державой». Ситуация на Украине для сторонников единства России коренным образом изменилась.

Гетманская власть в отличие от петлюровской не была на деле ни националистической (лишь по необходимости употребляя «самостийные» атрибуты и фразеологию), ни антирусской. Это давало возможность даже возлагать некоторые надежды на нее и ее армию как на зародыш сил, способных со временем освободить от большевиков и восстановить всю остальную Россию. Собственно, все 64 пехотных (кроме 4-х особых дивизий) и 18 кавалерийских полков представляли собой переименованные полки русской армии, 3/4 которых возглавлялись прежними командирами. Все должности в гетманской армии занимали русские офицеры, в абсолютном большинстве даже не украинцы по национальности. Все они оказались в гетманской армии потому, что стояли во главе соединений и частей, подвергшихся в конце 1917 г. «украинизации». Для иллюстрации их настроений достаточно сказать, что из примерно 100 лиц высшего состава гетманской армии лишь менее четверти служили потом в украинской (петлюровской) армии, а большинство впоследствии служило в белой армии.

В это время Украина и особенно Киев превратились в Мекку для всех, спасающихся от большевиков из Петрограда, Москвы и других местностей России. К лету 1918 г. на Украине находилось не менее трети всего русского офицерства: в Киеве до 50 тыс., в Одессе — 20, в Харькове — 12, Екатеринославе — 8 тысяч. Как вспоминал ген. бар. П. Н. Врангель: «Со всех сторон России пробивались теперь на Украину русские офицеры... ежеминутно рискуя жизнью, старались достигнуть они того единственного русского уголка, где надеялись поднять вновь трехцветное русское знамя».

Надо сказать, что в дальнейшем все офицеры, служившие в гетманской армии (подобно служившим у большевиков) должны были при поступлении во ВСЮР пройти специальные реабилитационные комиссии, (в чем нашло свое отражение как крайне нетерпимое отношение

руководства ВСЮР к любым проявлениям сепаратизма, так и неприязненное отношение лично Деникина к Скоропадскому), что было не вполне справедливо, поскольку эти офицеры в огромном большинстве относились с сочувствием к добровольцам, и гетманская армия дала тысячи офицеров и генералов как ВСЮР, так и Северо-Западной армии генерала Юденича (в частности, таких известных впоследствии генералов как И. Г. Барбович, В. К. Шевченко, И. М. Васильченко, М. Н. Волховский, П. С. Махров, Г. Я. Кислов, В. Ф. Кирей, Д. Р. Ветренко, Л. А. Бобошко и др.

Кроме того, Украина была очагом формирования Южной Армии (монархической и прогерманской ориентации). В июле 1918 г. в Киеве было образовано ее бюро (штаб) и в течение 3-х месяцев по всей Украине было открыто 25 вербовочных бюро, через которые отправлено в армию около 16 тыс. добровольцев, 30 % которых составляли офицеры, и около 4 тыс. в Добровольческую армию. Гетман П. П. Скоропадский активно поддерживал идею создания Южной армии. Именно он передал в армию кадры 4-й пехотной дивизии (13-й Белозерский и 14-й Олонецкий полки), из которых планировалось еще весной создать Отдельную Крымскую бригаду украинской армии. Кроме того, Южной армии были переданы кадры 19-й и 20-й пехотных дивизий, почти не использованные в гетманской армии. Именно они послужили основой для 1-й и 2-й дивизий Южной армии, а в начале 1919 года организационно вошли в состав Добровольческой армии 5-й дивизией и 13-м Белозерским полком 3-й дивизии.

Независимо от Южной в Киеве рядом организаций правого толка и тоже при непосредственном участии гетмана Скоропадского формировались Саратовская и Астраханская армии. Этим армиям (как и Южной) из украинской казны были переданы значительные суммы на содержание. С 30 сентября 1918 г. формирования всех этих армий (более 20 тыс. чел.) до начала 1919 г. воевали в составе Донской армии, а затем влились во ВСЮР.

Еще более важное значение имела другая форма организации русского офицерства на Украине — создание русских добровольческих формирований. Организацией таковых в Киеве занимались ген. И. Ф. Буйвид (формировал Особый корпус из офицеров, не желавших служить в гетманской армии) и ген. Л. Н. Кирпичев (создававший Сводный корпус Национальной гвардии из офицеров военного времени, находящихся на Украине, которым было отказано во вступлении в гетманскую армию). Офицерские дружины, фактически выполнявшие функции самообороны впоследствии стали единственной силой, могущей противодействовать

Петлюре и оказывавшей ему сопротивление.

Между тем бывшие деятели Центральной Рады обратились за помощью к «социально близким» большевикам, установив контакт с советской миссией, прибывшей в Киев для переговоров, и в обмен на помощь готовящемуся против гетмана восстанию обещали легализацию большевистских организаций на Украине, причем Винниченко соглашался даже на установление советской власти при условии принятия его планов украинизации и «диктатуры украинского языка».

Восстание это началось 14 ноября в Белой Церкви, причем «универсал», обнародованный по этому поводу петлюровской Директорией и призывавший бороться против «царского наймита» был выдержан в чисто большевистском духе: «В этот великий час, когда во всем мире падают царские троны, когда на всем свете крестьяне и рабочие стали господами, мы разве позволим себе служить людям, которые хотят Украину продавать бывшим царским министрам и господствующему классу, которые собрались в контрреволюционное логово на Дону?».

Гетман в последний момент откровенно принял прорусскую ориентацию, выпустив 14 ноября грамоту о федерации Украины с Россией, и пытался войти в связь в командованием Добровольческой армии, но было уже поздно. Как бы там ни было, когда немцы отказали гетману в поддержке, петлюровцам, сжимавшим кольцо вокруг Киева, как и в других местах Украины, противостояли только русские офицерские отряды, членов которых часто ждала трагическая судьба (после взятия Киева было истреблено несколько сот офицеров).

Но вскоре «сознательным украинцам» пришлось убедиться, что абсолютное большинство сил, поддержавших антигетманское восстание, были на самом деле не пропетлюровскими, а пробольшевистскими. В выборе между англо-французами (начавшими высаживаться на юге) и большевиками большинство Директории склонялось на сторону последних и готово было принять большевистскую программу при условии что власть останется у них, а не перейдет к «конкуренту» — Харьковскому правительству, под властью которого к концу января 1919 г. была уже почти вся Украина (на протесты Директории Москва отвечала, что войну ведет не она, а Украинское советское правительство). 2 февраля, всего через 45 дней, петлюровцам вновь пришлось бежать из Киева: сначала в Винницу, затем в Проскуров и Ровно.

Между тем, в Галиции также образовалось украинское правительство, создавшее свою армию, которой пришлось вступить в борьбу с поляками, вознамерившимися вернуть Польшу «от можа до можа». В конце апреля

Петлюра бежал из Ровно в Галицию, но так как в мае поляки повели в этом районе наступление против галичан, ему с правительством и армией пришлось бежать дальше, вдоль старой русско-австрийской границы, здесь он оказался зажатым между большевиками и поляками, пока летом 1919 г. ему не удалось закрепиться на небольшой территории с городами Волочиск и Каменец-Подольский. Однако положение УНР оставалось крайне шатким.

В это время Галицийская армия под давлением поляков была вынуждена отойти на территорию, занятую петлюровцами, что спасло петлюровский фронт, но заставило власти УНР в значительной мере пожертвовать «левизной», т. к. галичане социалистических поползновений Директории отнюдь не одобряли.

Летом 1919 г. на Украине развернулось наступление Вооруженных Сил на Юге России, против большевиков, что заставило последних бросить все силы против Деникина, оголив правобережную Украину, и объединенные галицийско-петлюровские силы в начале августа перешли в наступление на Киев (в основном галичане), на Волынь и Одессу.

Украина (особенно города, где население почти поголовно было привержено идее государственного единства) дала белым массу добровольцев (впоследствии украинскими деятелями в эмиграции было подсчитано, что 75 % белой армии на Юге составляли «несознательные» украинцы). Но теперь вопрос о взаимоотношениях Белого движения с «самостийниками» приобрел предельную остроту, поскольку впервые они оказались в непосредственном соприкосновении. И разрешился он так, как только и мог разрешиться, учитывая сущность петлюровской власти.

Любопытно, что, несмотря на то, что до войны Галиция была рассадником «украинства», теперь именно Галицийская армия и правительство, адекватно оценивая ситуацию, стояли за сотрудничество с Деникиным, сумев поступиться русофобством после того, как культивировавшая его среди галицийской интеллигенции Австрия пала. В то время как петлюровские социалисты, напротив, люто ненавидели белых.

В это время польские войска вышли на линию Двинск — Бобруйск — Каменец-Подольский, а с юга к Каменцу и Киеву подходили добровольцы. Когда 30 августа к Киеву одновременно подошли с юго-востока Добровольческая, а с запада Галицийская армия и части УНР, то последним пришлось уступить Киев добровольцам, а петлюровцы, пытавшиеся сорвать русский флаг, были с позором выгнаны из города.

Через день после этого было заключено перемирие между Петлюрой и поляками и начаты переговоры о союзе ценой уступки петлюровцами

Польше Восточной Галиции и большей части Волыни (Ковель, Владимир-Волынский, Луцк, Дубно, Ровно и др.). Вскоре же было достигнуто негласное соглашение между поляками и большевиками, по которому большевики приостанавливали действия на фронте Двинск — Полоцк, а поляки обязывались не предпринимать наступления на фронте Киев — Чернигов (что и было выполнено, позволив большевикам бросить все силы против ВСЮР).

Петлюровцы после киевского инцидента организовали ряд провокаций против добровольцев, в том числе разоружив в середине сентября белый отряд на ст. Вирзула, в ответ на что Деникин приказал поступать подобным образом и с ними. Вскоре Петлюра начал полномасштабные военные действия против ВСЮР, предложив большевикам заключить военный союз против Деникина. Галицийская армия после этого прервала общение с петлюровцами и в полном составе перешла под командование ВСЮР. Петлюровцы же были добровольцами разбиты и отброшены к бывшей австрийской границе.

Подобное поведение поляков и петлюровцев осенью 1919 г., означавшее по сути спасение советской власти от гибели, не принесло, как известно, пользы ни тем, ни другим. После крушения белого фронта в конце 1919 г. петлюровцы больше не были нужны большевикам и ни на какое соглашение с ними рассчитывать больше не могли. И пока Петлюра разглагольствовал в Польше об извечной любви украинцев к полякам, омрачавшейся лишь интригами москалей, остатки его армии (4,3 тыс. чел.), скрываясь от красных частей, поблуждав по юго-восточной части Правобережной Украины (т. н. «зимний поход») вышли в Галицию, перейдя на роль младшего партнера Польши.

Развернув в конце апреля 1920 г. наступление, поляки 7 мая заняли Киев, но петлюровцы, к вящему их унижению, туда допущены не были. Заключив в октябре 1920 г. перемирие с большевиками, поляки совершенно проигнорировали факт существования УНР и ее армии (к тому времени достигшей 15 тыс. чел.) и последняя откатилась под натиском большевиков в Галицию, где была своими союзниками разоружена и интернирована в лагерях.

Так что «украинского государства», от коего ведут свое происхождение нынешние самостийники и в те годы практически никогда не существовало иначе как в виде вассальной территории Германии, Польши и Совдепии, а в чрезвычайно краткие (полтора-два месяца) периоды самостоятельного существования контролируемая им территория не составляла и 10 % от той, на которую оно претендовало.

Следует, впрочем, заметить, что ряду видных деятелей украинской левой самостийщины (Грушевский, Голубович, Винниченко и др.) все-таки удалось выступить в той роли, на которую они склонны были согласиться в 1917–1918 гг.: вернувшись в СССР и покаявшись, они приняли самое деятельное участие в проводимой большевиками в 20–х — начале 30–х годов тотальной «украинизации», сполна удовлетворяя свои инстинкты... пока с переменой курса соввласти на борьбу с «буржуазным национализмом» не оказались там, где оказались.

2005 г.

Россия и США

Не так уж много вещей в современной политике, которые по лицемерию, бессмысленности и смехотворности могут сравниться с рассуждениями о «политическом партнерстве» и «союзнических отношениях» России и США (будем пока понимать под этими терминами только современные геополитические субъекты). Как и почти всегда в геополитических вопросах, реальность лежит на поверхности и совершенно очевидна, но почему-то считается нужным делать вид, что ее не существует, а существует это самое «партнерство».

Если даже не задаваться риторическими вопросами, против кого создается американцами система ПРО и кто мыслится вероятным противником, когда российские ВС пытаются запустить на маневрах оставшиеся стратегические ракеты, «партнерство» — даже в борьбе с пресловутым «международным терроризмом» выглядит довольно странно (те террористы, которые против нас — это террористы, а которые против вас — борцы за свободу).

Да и, мягко говоря, «несовпадение» российских и американских геополитических интересов — вещь столь же объективная, сколь и очевидная. Приоритетом России, лишенной в 1991 г. половины своих территорий и потенциала, является их возвращение, без которого она никогда не сможет вновь обрести статуса великой державы. Приоритетом США, основой американской политики, является недопущение именно этого — того, чтобы под контролем московского правительства вновь оказались потенциал и ресурсы территорий исторической России, позволившие бы ему говорить с США на равных.

Разница только в том, что американцы предельно откровенно и постоянно декларируют этой свой приоритет, тогда как руководство РФ не только никогда о своем не заикалось, но и с не меньшим постоянством рьяно отрицает даже возможность наличия у него таких «крамольных» мыслей. Причина очевидна. США сильны, а РФ слаба, причем не только и не столько абсолютно (все-таки и сейчас РФ способна уничтожить США, во всяком случае, нанести им такой ущерб, который навсегда покончит с их лидерством в мире), сколько «принципиально» — двенадцать лет назад РФ добровольно поставила себя в такое положение по отношению к США, которое заведомо исключает что-либо подобное. Хозяин вправе лишний раз напомнить слуге о недопустимости покушения на свое имущество, но

слуге никогда не придет в голову вслух обнаружить такие намерения.

Будь иначе, давно были бы поставлены вопросы, почему, например, США вправе объявлять «зоной своих интересов» практически любые территории, отстоящие от ее границ на многие тысячи километров, а со стороны России даже самые робкие попытки влияния на «постсоветском пространстве» неизменно квалифицируются как «имперские амбиции»? Почему США могут размещать свои базы в любой точке земного шара, а Россия не смеет даже вблизи своих границ? Почему, наконец, США вправе определять, какие территории «признавать» российскими, тогда как Россия над законностью того, чем владеют США, не размышляет?

Для нынешних американских политических кругов и сформированного ими же общественного мнения аксиоматично, что Россия — это та резервация в виде РСФСР, которая в 20–30-х годах образовалась в ходе большевистского членения исторической России, причем и эта территория должна непременно еще делиться на «суверении» (и какой вой поднимется, если руководство РФ вздумает пересмотреть административно-территориальное устройство!). Между тем, если подходить к США с теми же самыми принципами, которые они применяют по отношению к России, то никаких США вовсе не должно было бы существовать. Ибо если Украина, Молдавия, Казахстан и другие неотъемлемые части исторической России не должны ей принадлежать, то США следует просто самоликвидироваться, потому что в рамках такой логики это государство не имеет права **ни на единый клочок** своей территории.

Но Россия не ставит вопроса ни о необходимости преобразования США во славу принципа «самоопределения поработенных наций» в конфедерацию суверенных ирокезских, апачских, сиуских, семинольских и др. республик, ни о возвращении Мексике Техаса и Калифорнии, захваченных в результате вот уж действительно «агрессивных войн» (Россия, заметим, никаких ранее ей не принадлежавших земель ни у одного цивилизованного и продолжающего ныне существовать государства не захватывала). Конечно, американцы, в отличие от России, в свое время весьма радикально решили вопрос с присоединяемыми землями, практически поголовно истребив туземцев (в свете чего упреки по поводу притеснения каких-нибудь «свободолюбивых чеченцев» просто умилительны), но при том подходе, который большевики применили к России (и который с точки зрения американских политологов для России должен быть увековечен) «ирокезии» создать все равно можно было («суверении» ведь создавались и при совершенно ничтожной доле

«титульного населения»), а уж негритянских республик наплодить — и подавно.

Конечно, на вопросы, почему все можно США и ничего нельзя России, есть простой и исчерпывающий ответ («Что дозволено Юпитеру...»), с которым не поспоришь, потому что мир реально устроен именно так и никак иначе. Но вот вопрос, с какой стати и до каких пор в этом статусе должны быть именно США, уже не столь однозначен. И уж во всяком случае никто не запретит желать занять сопоставимое положение тому, кто на это хотя бы в принципе способен. Но делиться не хочется, и нет более ненавистного противника, чем такой претендент. Какое тут «союзничество»...

Итак, называя вещи своими именами, Россия и США — государства сейчас не только не дружественные, но определенно враждебные, ревниво следящие за всяким сближением неприятеля с третьими сторонами. И если заверения в обратном на высоком уровне есть понятный и необходимый дипломатический ритуал, то бессмысленности и нелепости бесконечных заклинаний того же рода, предназначенных для населения, остается только дивиться.

В какой степени такое положение естественно, извечно ли и отчего происходит? Возможны ли на самом деле «партнерство» и «союзничество»? Несмотря на все вышесказанное, полагаю, что естественно оно лишь в определенной степени, не вечно и не фатально, а партнерство и даже союз не должны казаться чем-то принципиально невозможным.

Обычно причину антиамериканизма склонны видеть в советском происхождении современного истеблишмента РФ, костяк которой составляет коммунистическая номенклатура второго-третьего разлива, с этими настроениями выросшая, ими и живущая. Это справедливо лишь отчасти, потому что не менее антиамерикански настроены «патриотические» круги, оппозиционные этому истеблишменту. Можно, конечно, сказать, что эти круги — национал-большевистские и сами проникнуты советским духом. Это в большинстве случаев тоже будет правдой.

Однако антиамериканизм может иметь и совершенно иную природу. В нем едина, в частности, практически вся «православная общественность» вне зависимости от степени «розовости» ее представителей. Причем антиамериканизм православных кругов носит гораздо более глубокий характер, чем достаточно беспринципной нынешней «партии власти», поскольку проистекает из полярности фундаментальных представлений о

мире и человеке православной традиции и идеологии «прав человека», роль насадителя которой в мире взялись исполнять США. Наконец, если даже оставить в стороне течения «евразийского» толка, достаточно укоренено представление о Западе (возглавителем которого предстают США) как извечном, «онтологическом» противнике России и «русской цивилизации». Причем противостоянию Западу придается значение совершенно исключительное, несравнимое с конфликтами с другими противниками, вплоть до признания этого противостояния основным смыслом исторического бытия.

Но и совершенно не разделяя упомянутых концепций, а оставаясь на позициях реально-исторической России «до 1917 года», проникнуться симпатией к современной американской политике довольно трудно.

Очевидно, что до 1917 г. Россия и США, независимо от того, какой степенью симпатии их внутреннее устройство пользовалось в разных кругах каждой из стран, на государственном уровне воспринимали друг друга как равные государства и между ними не существовало не только непримиримого, но и вообще какого-либо антагонизма. Более того, на протяжении недолгой к тому времени истории США, их интересы не только ни разу враждебным образом не пересекались, но в возникавших конфликтах Россия и США неизменно были союзниками.

Есть мнение, что отказ от советского наследия и возвращение к правопреемству с исторической Россией, само по себе способно принести РФ симпатии США и дружеские с ними отношения. Однако если старая Россия и СССР представляют собой явления противоположные, то и США образца 1917 г. и современные — достаточно разные. И если 80 лет назад американские дипломаты могли отправлять донесения своему правительству в том духе, что не следует пользоваться трудностями России и способствовать отделению от нее окраинных территорий, то в настоящее время дело обстоит противоположным образом. Прежнюю Россию прежние США признавали в тех границах, в каких она существовала, да и смешно было бы «не признавать» принадлежности России каких-то земель (например, Прибалтики), бывших в ее составе за сотню лет до появления самих США). Нынешние США, как уже говорилось, желают видеть нынешнюю Россию в тех пределах, какие ей выкроил преступный большевистский режим (который в свое время США не признавали дольше всех других держав), и не только желают, но и сделали это основным смыслом своей политики.

Есть, опять же, точка зрения, что такое отношение вызвано опасениями возрождения «империи Зла» с возвращением нынешней власти

РФ в лоно советско-коммунистической практики. Разумеется нынешние власти дают все основания для подобных опасений, да собственно они и не скрывают, что являются продолжателями советского режима. Но еще больше оснований сомневаться, что отрицательное отношение США даже к крайне робким «имперским» амбициям РФ вызвано именно этим, и что к другой — исторической России, возродись она сегодня, оно было бы лучше.

Совсем наоборот. Если посмотреть на тон комментариев окол властной американской прессы, то путинская власть порицается не столько за тяготение к советчине, сколько как раз за «возрождение царского авторитаризма» и «российского империализма». Полагать, что переход РФ на путь правопреемства от исторической России был бы встречен в США с одобрением, было бы крайне наивно. Напротив, для нынешних американских властей, руководствующихся в своей политике относительно России идеологией школы Бжезинского-Киссинджера, было бы подлинным кошмаром, если бы отряхнувшие со своих ног прах советчины российские власти предъявили бы претензии на наследство уничтоженной большевиками исторической России.

Так что невозможность в настоящее время российско-американского партнерства обусловлена может быть даже не столько советскостью нынешних российских властей, сколько принципиально антироссийским настроем нынешних властей американских, для которых если и есть разница между СССР и исторической Россией, то не в пользу последней.

Вопрос о возможности партнерства и союзнических отношений с США зависит, скорее, от того, возможна ли другая американская политика по отношению к России. Есть ли в американском истеблишменте силы, не разделяющие «киссинджеро-бжезинское» отношение к российской государственности. По некоторым наблюдениям, такие силы есть, но в настоящее время совсем не они определяют курс американской политики.

Между тем, кто бы ее ни определял, и как бы ни отождествляли они Россию с СССР, есть некоторые объективные вещи, с которыми американским политикам следовало бы считаться.

СССР был поистине «империей Зла» именно потому, что пытался всему миру навязать свою маразматическую и с точки зрения сложившихся за тысячелетия естественных человеческих представлений преступную идеологию. Поскольку цель и смысл самого существования этого квазигосударства состояли в установлении мирового господства коммунистического строя, мирное сосуществование с ним в исторической перспективе было в принципе невозможно («мирное сосуществование»

мыслилось советской властью не иначе, как период накопления сил и внутреннего разложения противника). Естественно, что СССР стремился насадить коммуноидные или во всяком случае антиамериканские режимы по всему миру, а в особенности возможно ближе к американским границам — где-нибудь в Центральной Америке. Понятно, что конфронтация с таким режимом и не могла не носить тотального характера.

Историческая Россия своей веры и государственного строя никому не навязывала. Она не только никогда не претендовала на мировое господство, но и не стремилась, подобно ряду других держав, создавать империи, «над которыми никогда не заходит солнце»; ко всяким заморским проектам российское правительство относилось весьма прохладно. Выход России к ее геополитически обусловленным границам завершился еще до конца XIX века, а в начале XX в. от некоторых территорий (Польша) предполагалось даже отказаться. Неудивительно, что с США у нее были наилучшие отношения, сделавшие даже возможным передачу Штатам огромных заморских территорий (Аляска). Кажется очевидным, что отношения с государством, пусть безусловно «великим», но не ищущим по идеологическим причинам тотальной конфронтации, озабоченного только сохранением спокойствия по периметру своих границ и полагающим «зоной своих интересов» только эти, а не отстоящие от ее границ на тысячи миль территории — это совершенно иной тип отношений.

С точки зрения здравого смысла, исходя только из государственных интересов США, а не примешивая сюда «фобии», порожденные национальными комплексами конкретных политиков, Америке вовсе нет смысла опасаться возрождения исторической России. Вот если США будут руководствоваться не своими естественными государственными интересами, а мессианско-идеологическими, т. е. будут и впредь пытаться навязывать другим чуждую им идеологию, унаследовав таким образом от СССР роль «империи Зла», тогда, конечно партнерские отношения будут невозможны, ибо такие отношения предполагают — отношения равных, а не отношения учителя и ученика.

Можно сказать, что в настоящее время именно США своей политикой поддержания всех и всяческих антироссийских сил в «ближнем зарубежье», объявление «зонами своих интересов» территорий исторической России более всего способствуют консервации советского наследия в РФ, поскольку в условия недопущения альтернативной «державности» для просоветских кругов российского руководства создаются широчайшие возможности мобилизации населения на «отпор американской агрессии», апеллируя к традициям СССР. Именно это в

настоящее время и происходит: неизменные речевые обороты президента о «наших американских друзьях» выглядят комично на фоне ведущейся на руководимом им телевидении кампании по прославлению СССР и мудрых советских вождей, противостоящих «козням ЦРУ». В перспективе — консервация РФ как слепка СССР в уменьшенных границах.

Но и в этом случае США придется считаться с тем, что если красная РФ теперь и не в состоянии насадить коммунистическую идеологию за пределами своих границ, то и уничтожить ее, сколь бы мерзкой она ни была, Штаты также не в состоянии. В некотором отношении положение огрызающегося огрызка СССР даже предпочтительнее. Дело в том, что повредить советскому режиму в РФ США не могут, потому что власть типа путинской способна удержаться при любых условиях. Ни ей, ни населению РФ терять особенно нечего (советское прошлое в смысле «благополучия» для абсолютного большинства населения все равно остается непревзойденным уровнем), тем более, что от «дружбы» с США ничего хорошего в смысле повышения жизненного уровня в стране не происходило и произойти не может. А вот красная РФ способна доставить США весьма крупные неприятности, потому что американская сторона, которой есть что терять, гораздо более уязвима. Если и сейчас мусульманский терроризм оказался способным «поставить на уши» американский образ жизни, то нетрудно представить развитие ситуации в случае, если бы при дальнейшем ухудшении отношений РФ поменяла бы свою позицию «члена антитеррористической коалиции» на «поддержку справедливой борьбы исламского мира против американского империализма».

Так что американским политикам любого настроения следовало бы задуматься, представляет ли для интересов США возрождение исторической России в ее естественных границах большее зло, чем консервация в РФ советского режима. Пресловутый «стратегический союз» между Россией и США возможен лишь как союз двух великих держав, очертивших сферы своих интересов определенными территориальными пределами, а отнюдь не претендующих ни на единоличную мировую политическую гегемонию, ни на тотальное господство своей идеологии. Россия, каков бы ни был жизненный уровень ее населения, геополитически в любом случае такова, что союз с ней не может быть подобен союзу «старшего» и «младшего» — каким является, например, союз с Англией или с другими навсегда «опущенными» и лишенными самостоятельной политической роли европейскими странами.

Но для этого прежде всего необходимо, чтобы США перестали

поддерживать всевозможных «незалежников» и препятствовать попыткам России вернуть свои исторические территории. А это, в свою очередь, зависит от того, придут ли к власти в США те силы, свободные от предубеждений к исторической России, и не склонные связывать национальные интересы своей страны с бытующей ныне на Западе идеологической модой. В принципе известно, что американское политическое руководство может быть достаточно автономно (в гораздо большей степени, чем европейское) от интеллигентских «властителей дум». Например, последние в лице университетской профессуры, журналистских кругов и т. п. уже много десятилетий как крайне «левые», однако же людям реальной политики не приходило в голову к ним прислушиваться и покушаться, скажем, на свободу предпринимательства, проводя социалистические эксперименты, благодаря чему американская экономика всегда оставалась достаточно эффективной, чтобы сносить даже очень крупные глупости в политической сфере. Можно надеяться, что рано или поздно возобладает и прагматический подход в отношении России.

Тогда последней останется пройти свой путь к ликвидации советского наследия и превращения в нормальное государство. Только вот оба процесса — и воссоздание на месте Совдепии исторической России, и изменение американского взгляда на такую перспективу — слишком уж проблематичны, чтобы можно было в обозримом будущем ожидать позитивного результата.

2005 г.

Мародерство на марше

Высшее для низшего всегда предмет не только ненависти, но и вождения. И когда первое чувство удастся реализовать, обычно возникает и желание уподобиться, «быть вместо» своей жертвы. И подобно тому, как Емелька Пугачев, убивая дворян, наряжал в их мундиры свою разбойную братию и именовал ближайшее окружение именами екатерининских вельмож, так и советским не давал покоя блеск императорской России. Несколько лет назад, когда идеологический курс путинской власти вполне обозначился как неосталинистский, развернулись два параллельных процесса.

С одной стороны, пошла массированная пропаганда советского наследия и символики: началось массовое изготовление футболок, кроссовок, кепок и прочей спортивной и молодежной одежды с серпами-молотами, красными звездами, надписями «СССР» и советскими гербами, по «Русскому радио» между песнями стало рефреном звучать «Наша родина — СССР!», «хитом» популярного певца Газманова, раньше выступавшего с очень приличными песнями, стало ностальгическое «Я рожден в Советском Союзе», и даже знаменитый сочинитель блатных песен А. Розенбаум принялся в советской форме капитана 1-го ранга медицинской службы выдавать дипломы выпускникам морского училища, напутствуя их восстановить «славу советского флота». С другой стороны, развернулась настоящая охота за регалиями и раритетами исторической России — в желании все это присвоить, объявить «нашим» и соединить с другим «нашим» (по-настоящему «ихнем») — советским.

При Сталине ограничивались мародерством, так сказать, «эстетическим» — истребив офицерство, нацепили золотые погоны на свои комиссарские плечи (это называлось «быть носителями лучших традиций»), объявили себя наследниками полководцев 1812 г. (вместо более поздних подсунув Чапаева) и т. д. Да и подлинными вещами в эмиграции им бы тогда особенно широко не разжиться: еще живы были подлинные люди. Теперь же принялись подчистую выгребать у недостойных потомков все подряд — личные вещи (которые потом в музее представлялись как «трофеи Красной Армии»), библиотеки, архивы, знамена. И вот дошло дело и до самих останков.

В моду вошло «возвращение на Родину» праха выдающихся соотечественников, которым в свое время повезло избежать чекистской

пули. Наличие этого праха за границей по крайней мере с эры «сталининского ампира» всегда доставляло крайнее неудобство советской власти: человеку, заслуги которого не могли не быть признаваемы и в СССР, полагалось быть «с нами» и покоем если не у Кремлевской стены, то на Новодевичьем — иначе у публики могли возникнуть нехорошие вопросы о безоблачности отношений покойного со строителями коммунизма (а чего это он, такой хороший, оказался где-нибудь во Франции?).

И вот, кого не могли в свое время заманить назад живьем, стали возвращать в гробах. Эти невольные «возвращенцы» призваны были демонстрировать одновременно как «правоту» (для тех, кто не знал об их отношении к большевизму), так и «милосердие» (для тех, кто знал) советской власти. Этот процесс тоже развивается «по восходящей»: начали с политически более «невинных» деятелей науки и культуры, после чего очередь дошла до бывших «сатрапов царского режима», а теперь и до активных борцов с большевизмом.

Недавно привезли из Бельгии прах «оказавшегося после революции на чужбине» генерала Батюшина, которого как военного разведчика посчитало «своим» и решило приватизировать ГРУ (хотя последнее ведомство имеет к русской военной разведке такое же отношение, как Красная Армия — к русской, то есть, мягко говоря, «антагонистическое»). О том, что генерал, прежде чем «оказаться» за границей, воевал против большевиков (в составе Крымско-Азовской Добровольческой армии и ВСЮР) сказано, естественно, не было ни слова.

Флот решил не отстать и привез из Франции на корабле с красными звездами тело морского министра адмирала Григоровича, встреченного в Новороссийске советским гимном. Любопытно, что одна из публикаций особо отмечала тактичность начальника протокола Санкт-Петербурга, которому даже пришлось несколько отступить от традиции: гроб несли, как положено, шесть капитанов 2-го ранга, но без фуражек — он «не мог допустить, чтобы гроб с прахом адмирала несли люди с красными звездами на фуражках».

Но вот тут-то и заключается самое скверное. Дело в том, что в подобной тактичности, вообще-то не должно было возникнуть никакой необходимости: звезды-то на морских фуражках уже несколько лет как официально заменены на подобие нынешнего символа вооруженных сил. Только вот большинство старших офицеров, начиная с командующих флотами, демонстрируя свои идейно-политические предпочтения, это игнорируют, продолжая носить краснозвездные. Если бы адмиральский

гроб несли просто люди в старой, хоть и со звездами, форме, которую еще не успели заменить — это бы еще ничего (во всяком случае, о людях ничего не говорит). Но оказалось, что его несли убежденные «совки», настолько махровые, что демонстративно пренебрегают установленной формой одежды, и вот в этом-то и состоит кощунство.

Но этим двум деятелям еще повезло: их похоронили без особого идеологического «употребления» (кроме самого факта «возвращения»). А вот над людьми, доставившим советской власти больше неприятностей, решили поиздеваться по полной.

3 октября в Донском монастыре погребали останки Антона Деникина и Ивана Ильина с супругами. Так вот — люди, пришедшие поклониться праху этих двух непримиримых антикоммунистов и борцов с советским режимом, оказались участниками... «Акции национального примирения и согласия»! Именно так именовалось мероприятие, 4-м пунктом программы которого значилось захоронение. Билеты от имени полпреда президента, трех министерств, правительства Москвы, РПЦ, РПЦЗ и Фонда культуры именовались не как-нибудь, а «Приглашение для участия в акции (см. выше), которая пройдет в стенах Свято-Донского монастыря».

Обычно наблюдатели обращают в таких случаях внимание на несуразности в символике; это смешно, но ведь не это главное. В данном случае организаторы постарались минимизировать эти эффекты (положенное почетному караулу красное армейское знамя заменили на государственный флаг), но совок есть совок и без исполнения сталинского гимна перед молебном, конечно, не обошлось. К слову сказать, и сам монастырь представляет собой теперь довольно странное зрелище: первое, что встречает посетителя за воротами — танк и другая советская военная техника, почему-то выкрашенная в белый цвет, на газонах возле самого собора, рядом со старинными надгробиями, возвышаются еще две советских пушки того же цвета (в одну из них был зачем-то воткнут трехцветный флаг, в другую — красный).

Выступавшие, согласно программе, «почетные гости» (довольно забавное наименование в свете того, что в билете эти лица значились как приглашающая сторона) распинаясь о достоинствах погребаемых, их любви к России и тяготах эмигрантской жизни, но всячески избегали называть тех, кем они были изгнаны (в этом качестве выступали анонимные «новые правители», «люди, пришедшие к власти» и даже просто «рок»). Понятно, что упоминать о борьбе погребаемых с советской властью было бы на этой «примирительной и согласительной» акции по меньшей мере неуместно. Об этом и не упоминали. Хоронили просто

«русского генерала» и просто «русского философа», по воле судьбы оказавшихся вне России.

Можно, конечно, напомнить, что Деникин и Ильин потому и боролись с большевиками, что выступали за национальное единство против провозглашенного теми лозунга классовой борьбы, и для достижения национального примирения и согласия необходимо прежде всего с корнем выкорчевать советскую «классовую» идеологию. Но у организаторов «акции» на этот счет свое понятие: примиряться-то предлагается с наследием советской власти и соглашаться — с властью ее продолжателей. И исходя из задач организаторов этого действия, никакой несуразности допущено не было.

Кому-то может показаться странным, что славословившие ныне Деникина и Ильина (полпред Полтавченко и мэр Лужков) были именно теми самыми людьми, которые совсем недавно выступали с инициативой восстановить памятник Дзержинскому. Но это как раз совершенно логично: в этом, собственно и заключается «примирение» (точнее — его символическое выражение). Мы прощаем белых (хотя и не всех, а только тех, для кого гражданская война кончилась в 1920-м) — проявляем, так сказать, «милость к падшим», а вы перестаете «чернить советское прошлое». Это как если бы грабитель, успевший пропить награбленное, заявил своей жертве: «А теперь я тебя прощаю, давай мириться, мы же, как-никак, соотечественники».

Останки виднейших борцов с Совдепией были цинично использованы ее последышами для упрочения и облагораживания своей власти. Конечно, эти люди мечтали быть погребенными на родине — но не в государстве же, сохраняющего преемство от большевистского, где на каждом шагу высются ленинские истуканы и половина топонимики представлена именами разрушителей России. И могли ли они представить, что за право упокоиться в русской земле им посмертно придется заплатить тем, что их останки станут разменной монетой в национал-большевистских играх?

Сделан очередной шаг, призванный «закрыть» память о том, чем была Гражданская война и за что в ней воевали. Еще один выступавший «гость» — Михалков (главный организатор всего происходившего), сформулировал мысль, что это была война между двумя правдами, а истина — одна (надо понимать — та, которую утверждает «акция»). Накануне он же заявил по ТВ, что заслуга этих людей в том, что «они были верны России — не императору, не большевикам, а — России». Император и большевики — это, стало быть, «частности» — варианты российской власти. Кто сейчас помнит, что в 20-х годах сам факт службы «старому режиму»

рассматривался как криминальное деяние и сам по себе был достаточным основанием для заключения в концлагерь. Приговоры того времени пестрят формулировками: на столько-то лет «за службу в прежнем аппарате», «за службу в царской армии», «за службу старому режиму». Как тут не вспомнить Ивана Савина:

Всю кровь с парижских площадей, с камней и рук легенда стерла
И сын убогий предал ей отца раздробленное горло.

Забыто все, похоже, настолько, что люди, предающие на поругание чекистам прах своих предков, даже не осознают, что они, собственно говоря, делают, и благодарят «русское правительство» за то, что оно разрешило исполнить волю покойного.

То, что «возвращение праха» с советской стороны изначально планировалось как идеологическая акция, призванная занять свое определенное место среди прочих, особенно и не скрывалось. Накануне комментарии на государственном канале сводились в общем к тому, что «фигура была выбрана правильно» — как будто у них имелся на выбор десяток трупов (хотя, как знать, может и имелось — прах беззащитен, а не только этим деятелям Белого движения не повезло с потомками).

Выбор же призван был работать на «патриотичность» советской власти, добывшей «Великую Победу», в чем «выбранные», якобы были с ней вполне солидарны. И свою задачу выполнил. Публика усвоила, что Деникин желал поражения Германии, но осталась в неведении относительно того, что он рассчитывал, что вдохновленная победой Красная армия свергнет советскую власть, и тем более — его парижской речи 1946 г. На следующий день после «акции» был показан и фильм про Ильина (А. Денисова, в последние годы проделавшего соответствующую эволюцию), сводившейся к тому, что он, конечно, критиковал большевиков, за что был выслан, но в эмиграции боролся главным образом с коллаборационистами, а после войны занимался исключительно тем, что предсказывал возрождение России, которое нынешней властью и осуществляется. Поскольку же число читавших Ильина и смотревших фильм соотносится приблизительно как 1:100000, то и тут все было в порядке.

Но «акцию» все-таки требовалось чем-то уравновесить («мы прощаем лучших из белых, но — не подумайте лишнего — помним о своих корнях») и на следующий день был показан «Чапаев», и вскоре на экран был

выпущен даже представитель «красной оппозиции» Проханов, вопивший против ликвидации Мавзолея.

Начались, кстати, и разговоры о захоронении Ленина. Причем в том духе (тот же Михалков и др.), что если это сделать по-хорошему, по-христиански, то «народ поймет». Появились рассуждения, что это должно быть грандиозное событие, и что не жалко потратить на это столько-то миллионов. Нетрудно себе представить, с какими почестями будут хоронить этого выродка, чтобы только он не колол глаза своей пирамидой за правительственной трибуной (а то все приходится флагами драпировать). После выраженного такими похоронами официального признания ленинских «заслуг», ставить вопрос об истуканах будет неуместно. И вообще проблема будет снята. Исключительного положения его лишили, теперь что он, что Деникин — на равных: деятели нашей трудной истории. Ну чего вы еще хотите? И поскольку ничего худшего, чем такое развитие событий представить себе трудно, именно оно (поскольку идеально укладывается в логику нынешней власти) имеет шансы на осуществление. Ну а на самом-то деле нынешний статус ленинской мумии вполне адекватен ситуации. До тех пор, пока страной правят его продолжатели — его законное место в Мавзолее. Вот при нормальной власти с ним поступили бы, как с Гришкой Отрепьевым — и никак иначе.

2005 г.

К вопросу о «европейских ценностях»

Для современного РФ-ного истеблишмента давно уже стало привычным клясться в приверженности «европейским ценностям». Представление о том, что все лучшее должно непременно иметь приставку «евро» стало с подачи СМИ для массового сознания настолько привычно, что работы, производимые в квартирах российских обывателей молдавскими и украинскими гастарбайтерами, именуются не иначе, как «евроремонт», а реклама неизменно предлагает «евроокна», «евродвери» и т. п.

На политическом уровне в вопросах законодательства, политической и социальной практики нас неизменно призывают брать пример именно с европейских стран, а не с Америки, уподобить свои общественные институты существующим в Евросоюзе, а не в США. При этом не последнее место в обоснованиях такого выбора занимают рассуждения о том, что Россия есть исконно европейская держава, напоминают о том, что в самый блестящий — имперский период своей истории Россия была полноправным членом «европейской семьи» и что европейская культура выше американской.

Утверждения сами по себе бесспорные, но тут в самый раз задуматься, во-первых, над реальным содержанием нынешних (а не сто-двести летней давности) «европейских ценностей», а во-вторых, о политическом смысле этих призывов.

Да, конечно, Русь изначально была чисто европейским государством, не менее европейским, чем всякое другое, но более других пострадавшим от азиатских угроз и на несколько столетий оказавшимся на обочине европейского развития. Конечно европейская, аристократическая по своему происхождению и характеру культура, в принципе бесконечно выше американской культуры «всеобщей полуграмотности» (гораздо более подходящей на советскую, чем на традиционную европейскую).

Дело, однако, в том, что нынешние строители «Единой Европы» от этой культуры и своего великого прошлого полностью отrekliсь, и современная Европа не имеет, кроме названия и территории, почти ничего общего с понятиями и представлениями традиционной европейской культуры и государственности. Для тех, кто ныне определяет, что именно считать «европейством», наследие Людовика XIV, Генриха VIII, Наполеона III, королевы Виктории или Бисмарка — примерно то же, что для советской

власти «проклятый царизм». К людям, которым бы вздумалось пропагандировать связанные с ними культурные, социальные или политические реалии (а тем паче руководствоваться в своей позиции соответствующими предпочтениями), нынешняя «Европа» отнеслась бы куда более истерично, чем к политикам типа Ле Пена, иначе как «фашизм» это бы не квалифицировалось.

И социально, и психологически современная «европейская демократия» не более схожа с традиционной Европой (при всем многообразии последней), чем какое-нибудь совковое «евразийство» с культурными и политическими традициями Российской империи. Грань проходит не между «европейством» и «русскостью», а между общей для всех европейских стран от Португалии до России и от Норвегии до Греции великой цивилизацией белого человека и ублюдочной «цивилизацией масс», поправшей как инославие, так и православие, традиционную государственность как России, так и западных стран.

Политический же смысл призывов «равняться на Европу» и вовсе прозрачен. Европейские страны фактически утратили политическую независимость, перестав играть самостоятельную роль в мировой политике. Германия, несмотря на всю свою экономическую мощь, до сих пор политически «опущена», на ее территории продолжают находиться иностранные войска, а сама она даже юридически продолжает оставаться «побежденной» и лишена тех военных и политических прав, которыми обладают даже менее успешные Англия и Франция. Последние же, еще полвека назад действительно бывшие великими державами, контролировавшими чуть не полмира, лишившись под совместным давлением двух «сверхдержав» (СССР и США) своих колоний, этот статус к началу 60-х полностью утратили, превратившись в младших партнеров США (пусть иногда и несколько капризных).

Называя вещи своими именами, призыв уподобиться им — есть прежде всего призыв отказаться от претензий на роль великой державы, от проведения самостоятельной внешней политики, от попыток реинтегрировать территории исторической России. Нам долго объясняли, что все беды — от слишком больших территорий. Откажитесь от «великодержавия», станьте «обычной европейской страной» — и вам будет сытно и тепло, как какой-нибудь Голландии.

Ключнув пятнадцать лет назад на подобные призывы и утратив половину территории и потенциала, новая Россия, конечно, ничего такого не получила, но, объясняют, — это потому, что не была достаточно последовательна, и все еще слишком велика и заражена «имперскими

амбициями». Вождям РФ, особенно в связи с событиями на Кавказе, в качестве примера для подражания неизменно подсовывается де Голль, якобы укрепивший авторитет Франции, а на самом деле вбивший последний гвоздь в гроб ее величия. В действительности-то авторитет страны определяется не тем, может ли она иногда кого-то «ослушаться», а тем, «слушаются» ли ее.

Утрата статуса великой державы в Англии и Франции мирно привела к тому же результату, что был насильственно осуществлен после 1945 г. в Германии — психологическому слому в сознании служилого слоя страны и фактической его ликвидации как такового. Ибо если офицер (чиновник) великой державы есть сопричастник великого дела (с соответствующим самосознанием и психологией), то в «нормальной европейской стране» это всего лишь клерк, которому все равно — что носить погоны, что холодильниками торговать. Процесс едва ли обратим: с утратой слоя носителей «державного» сознания страна навсегда лишится и возможности вернуть прежний статус.

Так что уж если искать примеры для подражания непременно вне собственной истории, то не лучше ли «равняться» все-таки не на слугу, а на господина, не на Европу, а на США?. В странах, на деле остающихся великими державами, государственная власть крепка, а высшие лица в своих решениях не зависят и не принимают во внимание мнения «властителей дум» в виде каких-нибудь «левых интеллектуалов» (как в той же Франции); хорошо известно, что в США профессура и «культурные круги» — почти сплошь очень левые, но никто не дает им проводить социалистические эксперименты в экономике. Господствующий маразм «политкорректности» не переходит там, как в Европе, на государственный уровень, а преступников-изуверов казнят, а не носятся с ними как с «жертвами социальных обстоятельств». Другую внутреннюю политику страна, желающая оставаться великой, и не может себе позволить.

Не случайно выход США в последнее десятилетие на исключительное положение в мире сопровождался волной протестантского фундаментализма (Буш откровенно опирался на т. н. «консервативные» настроения), а в Европе храмы существуют в основном для японских туристов. Не удивительно, что после «рокового сентября» в США наплевали на «презумпции» и «права» целых стран, предпочтя меры по реальной безопасности, а в Европе после взрывов, напротив, решили смехотворным образом «подлизаться» к террористам, и именовать их не этим словом («вызывающим слишком негативные эмоции»), а «более нейтрально» — «бомбистами».

Так что России, если она хочет обрести достойное место в мире, едва ли следует брать на вооружение современные «европейские ценности». А вот если бы в «нормальную европейскую страну» превратились бы США — это было бы замечательно.

2006 г.

notes

Примечания

Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993, С. 273.

Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. М., 1979, С. 44.

Волков С. В. На углях великого пожара. М., 1990, С. 34–35.

В т. ч. 1645 офицеров Отдельного корпуса пограничной стражи, 997 Отдельного корпуса жандармов и примерно 2,5 тыс. флота.

Точнее — 71298, в т. ч. 208 генералов, 3368 штаб — и 67772 обер-офицера, из последних 37392 прапорщика. См.: Россия в мировой войне 1914–1918 гг. В цифрах. М., 1925, С. 31.

Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг., С. 28

Иногда округленно численность офицерского корпуса оценивается в 300 тыс. (Павлов В. Е. Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1918–1920 годов, Т. 1, Париж, 1962, С. 20, 124; Елисеев Ф. И. Лабинцы и последние дни на Кубани // Вестник первопоходника, № 43, С. 28). Встречаются мнения о 320 (Еленевский А. Военные училища в Сибири // Военная Быль, № 61, С. 26), 400 (Сербин Ю. В. ген. В. Л. Покровский // Вестник первопоходника, № 25, С. 9), и даже 500 тыс. офицеров (Николаев К. Н. Первый Кубанский поход // Вестник первопоходника, № 29, С. 24; Зиновьев Г. Е. Армия и народ: Советская власть и офицерство. Пг., 1920, С. 12), но, либо в этом случае имеется в виду численность с военными чиновниками и врачами, либо это просто недоразумение. Примерно к таким же выводам приходит А. Зайцов; исходя из того, что на 1 мая 1917 г. в Действующей армии состояло налицо 136,6 и по списку 202,2 тыс. офицеров, следовательно, в тылу еще по крайней мере 37 тыс. (при том же соотношении 1:50 солдат), плюс 13 тыс. в плену на август 1918 г. и 40, 5 тыс. раненых, контуженных и отравленных газами, он определяет минимальную численность офицеров в 200, а более реальную — в 250 тысяч (Зайцов А. А. 1918 год. Гельсингфорс, 1934, С. 183). Цифру 250 тыс. называет и Н. Н. Головин (Головин Н. Н. Российская контрреволюция. кн. 1. Ревель, 1937, С. 85). Эту же цифру принимает и А. Г. Кавтарадзе (Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты, С. 28), причем не включает сюда не вернувшихся к тому времени в строй (в т. ч. и пленных). В советской литературе приводятся цифры 240 (Спирин Л. М. В. И. Ленин и создание советских командных кадров // Военно-исторический журнал, 1965, № 4, С. 11) и 275–280 тысяч (Буравченков А. А. Офицерский корпус русской армии накануне Октябрьской революции // Интеллигенция и революция, XX век. М., 1985, С. 147).

На 1 января 1917 в ней было 145,9 офицеров и 48 тыс. военных чиновников, на 1 марта — 190,6 и 56,6, на 1 мая — 202,2 и 60,0, на 25 октября — 157,9 и 107,6 соответственно. Флот в январе 1917 г. насчитывал 5,2 тыс. офицеров, в конце года — примерно 6 тыс., к январю 1918 г. — 8,4 тыс. (См.: *Спирин Л. М.* В. И. Ленин и создание советских командных кадров; *Гаврилов Л. М.* О численности русской армии в период февральской революции // *История СССР*, 1964, № 2; *Гаврилов Л. М., Кутузов В. В.* Перепись русской армии 25.X.1917 гг // *История СССР*, 1972, № 3; *Доценко В. Д.* Эхо минувшего // *Н. З. Кадесников.* Краткий очерк Белой борьбы под Андреевским флагом. Л., 1991, С. 6; *Березовский Н. Ю.* Военспецы на службе в красном флоте // *Военно-исторический журнал*, 1996, № 2, С. 54).

Именно такой состав имела на первых порах Добровольческая армия и аналогичные ей формирования на других фронтах (из 3683 участников Первого Кубанского похода к этой категории относилось более 3 тыс., на Востоке осенью 1918 г. из 5261 штыков Среднесибирского корпуса офицерами были 2929 и т. д.).

По сведениям Украинского Красного Креста общее число жертв исчисляется в 5 тыс. чел., из коих большинство — до 3 тысяч, офицеров (Стефанович М. Л. Первые жертвы большевицкого массового террора (Киев — январь 1918 г.) // Часовой, № 502, С. 15–16). Называются также цифры в 2 тыс. (Мельгунов С. П. Красный террор в России. М., 1990, С. 46; Доклад Центрального Комитета Российского Красного Креста // Архив Русской Революции, Т. VI, С.340), около 5 тыс. (Матасов В. Д. Белое движение на Юге России. 1917–1920 годы. Монреаль, 1990, С. 59) и даже 6 тыс. погибших офицеров (Розеншильд-Паулин В. Участие в Белом Движении. Жизнь за рубежом. // Гоштовт Г. А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. Т. 3. Париж, б.г., С. 131).

Мельгунов С. П. Красный террор в России. М., 1990, С. 87–88.

Нестерович-Берг М. А. В борьбе с большевиками. Воспоминания.
Париж, 1931, С. 39.

Мамонтов С. Походы и кони. Париж, 1981, С. 53.

Николаев К. Н. Первый Кубанский поход // Вестник первоходника,
№ 29, С. 24.

Еленевский А. Перечисление войсковых частей Поволжья и Сибири в 1918–1919 годах // Военная Быль, № 89, С. 38.

Поляков И. Донские казаки в борьбе с большевиками // Вестник первопоходника, № 6, С. 26; Число офицеров в Киеве определялось также в 30 тыс. чел. (Доклад начальнику операционного отделения германского восточного фронта о положении дел на Украине в марте 1918 года // Архив Русской Революции, Т. I, С. 291.).

Критский М. А. Корниловский ударный полк. Париж, 1936, С. 227.

Варнек П. А. Эвакуация Одессы Добровольческой армией в 1920 г. // Военная Быль, № 106, С. 16–17.

Кравченко В. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Т. 1. Мюнхен, 1973, С. 392. По паническим слухам, распространявшимся в невоенных белых кругах под влиянием Новороссийской катастрофы, там было захвачено в плен чуть ли не 10 тыс. офицеров (*Валентинов А. А.* Крымская эпопея // *Архив Русской Революции*, Т. 5, С. 343), причем в советских работах именно эта курьезная цифра часто приводится вместо данных красного же командования.

Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов. М., 1994, С. 62–63.

Там же, С. 10–11.

Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922). Т. 4. М., 1978, С. 274; Военные специалисты // Гражданская война в СССР. Энциклопедия, С. 107; Зайцов А. А., 1918 год, С. 183.

Ефимов Н. Командный состав Красной Армии // «Гражданская война 1918–1921 гг.» Т.2. М., 1928, С. 97, 107.

Она возникла из упоминания в беседе Н. И. Подвойского с Ф. В. Костяевым в 1921 г. о том, что будто бы предложивших свои услуги офицеров было бы достаточно для укомплектования то ли 9–10, то ли 20 дивизий (*Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты*, С. 70, 116, 166, 212).

Армия насчитывала тогда всего 150 тыс. человек и в любом случае не нуждалась в таком количестве комсостава. Те из них, кто не ушли в белые армии, были призваны после начала мобилизаций и вошли в число мобилизованных.

«Известия Олонецкого губернского Совета», 11.10.1918.

Довольно подробный перечень таких мер см., напр.: *Ларин Ю.* Интеллигенция и Советы. М., 1924.

См.: *Ирошников М. П.* Председатель Совнаркома и Совета Обороны В. И. Ульянов (Ленин). Очерки государственной деятельности в 1917–1918 гг., С. 425–426; он же: Председатель Совнаркома и Совета Обороны В. И. Ульянов (Ленин). Очерки государственной деятельности в июле 1918 — марте 1920 гг., С. 281–282.

Данные этой переписи см.: *Бинеман Я., Хейнман.* Кадры государственного и кооперативного аппарата СССР. М., 1930.

См., напр., сообщение о результатах деятельности комиссии, работавшей в АН СССР: «Правда», 20.09.1929.

Мельгунов С. П. Гражданская война в освещении П. Н. Милюкова.
Париж, 1929, С. 70.

Деникин А. И. Очерки русской смуты, С. 225.

Даватиц В. Годы. Белград, 1926, С. 61.

Там же, С. 80–81.

Там же, С. 88.

«Часовой», 1939, № 88.

«Часовой», 1939, № 227, С. 24.

«Часовой», 1939, № 227.

«Часовой», 1939, № 207.

«Часовой», 1939, № 230, С. 2.

«Часовой», 1939, № 234, С. 2.

«Часовой», 1939, № 243, С. 1.

«Часовой», 1939, № 246, С. 3.

Шушарин Д. Возвращение в контекст // «Новый Мир», 1994, № 7, С. 181.

И. А. Ильин не только стал наиболее ярким апологетом Белого движения, но был организационно с ним связан, являясь официальным идеологом Русского Обще-Воинского Союза — организации, созданной ген. бар. П. Н. Врангелем и объединившей в эмиграции чинов всех белых армий. Характерно, что широко известные «Наши задачи» первоначально издавались руководством РОВС «только для единомышленников» — членов РОВС.

См., напр.: *Каграманов Ю.* Империя и ойкумена // «Новый Мир», 1995, № 1.

В России его опубликовали, в частности, «Независимая газета» (25.10.1994), «Экспресс-хроника» (1.11.1994), «Новый Мир» (1995, № 1).

См.: *Авдеев В.* Интегральный национализм // Русский строй. М., 1997, С. 254, а также некоторые другие статьи того же сборника.

Широнаев А. Газета «Наш марш», 1993, № 3.

См.: Поле ответного действия. Тезисы о проблемах национально-государственной оппозиции. М., 1993.